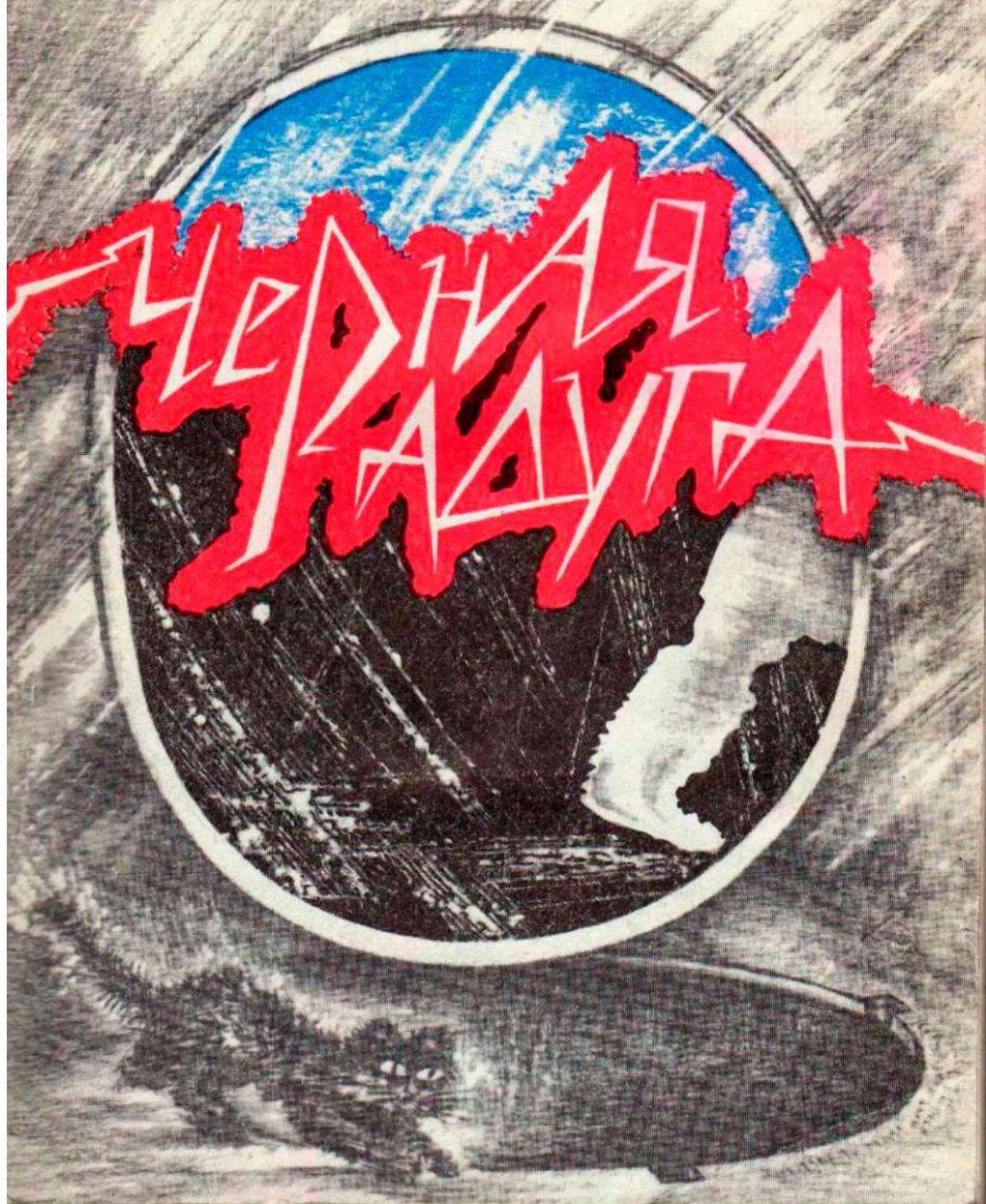


Евгений НАУМОВ



Евгений НАУМОВ



РОМАН

Магаданское книжное издательство
1989

ББК 84Р7-44
Н34

4702010200-027
Ч М—149(03)—89

ISBN 5.7581.0054.4

© Магаданское книжное издатель-
ство, 1989

ВЛАДИМИРУ

ВЫСОЦКОМУ

—

певшему

лучшее

в

худших

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Налей того вина, что если капнуть в Нил,
то пьяным целый век пребудет крокодил.

Рудак

«Но ведь зачем-то я пришел в этот мир?»

Он лежал крепко принайтованный специальными полотенцами к железной койке и смотрел перед собой взглядом хамелеона: один глаз в потолок, а другой в угол. Тот, что был направлен в угол, наблюдал и тоненькую прозрачную трубочку вблизи, как по ней медленно продвигалась желтая жидкость.

Они все-таки настигли его и теперь накачивают какой-то дрянью. «Только бы не заснуть»,— твердил он себе и хорошо знал, что не заснет. Он был сильнее их, выше, умнее и сейчас только ждал своего часа. «В три ночи»,— назначил он сам себе, хотя часов у него не было, да если бы и были, как посмотришь: руки связаны, а шея взята в свободную удавку. Но от тех давних скитаний в тайге у него осталась привычка просыпаться в точно назначенное время. «Даже если меня и сморит дрянь — в три. Они-то к трем обязательно заснут...»

Ноги были прикручены к железным перекладинам, каждая отдельным узлом, а по рукам пропущено поперек одно длинное полотенце, которое образовывало вокруг запястий по узлу и еще двумя узлами крепилось под койкой. Вокруг шеи петлилось третье полотенце, узлы его были где-то там, далеко за головой и внизу.

Система! Или, как говорил бравый солдат Швейк, систематизированная систематическая система.

Они настигли его, связали намертво, но не сломили. У него в запасе был еще припрятан козырь.

Когда они вязали его с деланно-фальшиво-добрыми лицами, со сладенькими искусственными улыбочками, он даже не сопротивлялся. Лег так, чтобы им удобнее было вязать, и слушал приторно-мерзкие прибауточки: «Все будет хорошо... Все будет хорошо... Все будет прекрасно...»

Ах, стервецы! Для них-то все прекрасно: он пойман. Теперь никто не помешает им творить свои гнусные дела, преследовать и убивать людей, пытать их, запугивать, грабить... Никто не обрубит шупальца этой мафии, или, как он ее назвал,— матьее, не разоблачит, не выставит на всеобщий позор и осмеяние.

Так им казалось.

Но он прошел суровую школу. Он видел, как некоторые недоумки сучили ногами и руками, пытаясь высвободиться из «системы», пока не слезала шкура и не обнажалось живое мясо. Но так и не освобождались.

Он умел развязываться за пять минут. Иногда за три.

Но если они обнаружат это, то приставят к нему дежурного санитар-мордоворота. И он будет сидеть рядом всю ночь и стеречь каждое движение. Тогда последний козырь будет бит.

Нужно ждать своего часа.

Он лежал неподвижно, закрыв глаза и специально заострив все черты лица. Это он тоже умел. С виду живой жмурик.

Они стояли рядом и тихо переговаривались.

Кто-то заглянул — потянуло ветром, скрипнула дверь.

— "Что с ним? — спросил высокий испуганный голос.

— Делириум тременс,— ответил один из матьее.— Белая горячка. Алкоголизм третьей степени.

Дверь торопливо хлопнула.

Вот что они придумали, сволочи! Выдать его за алкоголика. Да, это самое безопасное для них. И злободневное. Если сказать, что болен или при смерти,— тогда почему связан? А тут... Ни у одного гуманного человека не поднимется рука в его защиту.

Где-то внизу у борта хлюпала вода. По некоторым неумовимым для обычного человека, но понятным для моряка признакам он определил: трехдечный теплоход. Даже дизель-электроход класса УЛ — усиленно-ледовый. Значит, повезут его куда-нибудь на заснеженный остров или просто выбросят на льдину — поди-ка попляши. И все из-за того, что он перебежал дорогу. Решился выступить против Верховоды.

Верховода ездил по селениям вечно пьяный, со свитой прихлебателей, таких же в дупель пьяных «заготовителей пушнины»: трезвых он не терпел. Выступая перед народом, в своих пространных речах он призывал всех как один наострить лыжи, выйти на белую тропу и снять с каждого песца по две шкурки. А еще лучше—три. Он даже выдвинул лозунг: «Дадим миллион песцовых шкурок!» Миллион — это звучало, впечатляло, с лозунгом долго носились, его всюду вывешивали, упоминали в докладах. Но на всем Крайнем Севере не наскреблось бы, наверно, и полмиллиона песцов, а еще их нужно было поймать да ободрать, а это не так просто, как представлялось пьяному Верховоде. Его

почему-то никто не называл алкоголиком, не старался бороться с ним. Попробуй поборись — самого сразу повяжут. И надолго сунут в заведение, именуемое «нарко», или «дурдом».

Как-то он пребывал в одном таком заведении. Правда, не связанный. Тогда это было предостережением, и он понял. Но исподволь собирал факты и фактики.

В этом заведении вперемешку с нормальными людьми, такими, как он, находились идиоты, дебилы — для камуфляжа. Их называли «свернутые», «гонимые», «перекошенные». Они вечно блажили, орали на весь корпус, ходили с высунутыми толстыми языками. Под шумок хорошо беседовалось в туалете, который одновременно служил и курилкой.

— Про все делишки матеее сдуру я послал в Главохоту телеграмму в три тысячи шестьсот пятьдесят шесть слов,— говорил, поблескивая черными глазами, Николай, похожий на турка.— На почте хай, мокрогубка принимать не хочет. Я к начальнику почты: обязаны! Он вякает: конечно, конечно, примем, только позвольте ваш паспорт, данные в телеграмму нужно вписать. Записали, приняли. Прихожу домой, а там уже караулит группа захвата, и все в белых халатах. Прямым ходом сюда...

— Витя, а ты чего?

Бульдозерист с прииска — поджарый, худой — поморщился:

— Болит... там, где пистолет носят. Нашрапнелили химии, гады.

— А про пистолет почему вспомнил? — подмигнул Николай.

— Дай закурить.

Оказывается, Верховода однажды приехал на прииск агити^и ровать всех «наострить лыжи» и ночью брел через полигон. Как всегда, со свитой и бухой. А друг Вити копался у бульдозера — старье, отказал. Верховода турманом налетел на него:

— Долго будешь здесь соплями трясти? Почему не на охоте?¹

Бульдозерист и так был на пределе. Верховоду в лицо не знал, думал, какая-то приисковая шантрапа набежала, клерки от нечего делать.

— А катись ты... — ответил с сердцем.

Верховода выхватил пистолет и на месте пристрелил бедолагу;. Правда, и сам тут же протрезвел, свита переполошилась. Стали? мараковать, что делать. Накатили на убитого бульдозер, изувечили, вызвали приискового костоправа, тот трясушейся рукой нацарапал заключение: погиб по неосторожности.

А Витя неподалеку был, все видел. Его предупредили: рыпнешься — пропадешь без вести на охоте. Он с горя хлебнул стакаш тормозной влаги, ворвался в медпункт, костоправа хотел взять за яблочко и дагнуть, да не нашел, все вокруг покрошил, вот его> и заперли.

— Да как же костоправ решился такое написать?

— Купили! — Витя приблизил свое лицо, и только тогда стало заметно, что глаза его разъезжаются в разные стороны.— Ты 'что — про силу капитала забыл? Верховода может всех купить)и перекупить! У него соболя, ондатры, песцы.

Витя закурил и со злобой посмотрел на идиота, который стоял перед ним и взирал, словно на богородицу.

— Иди! Паскуда... — он пихнул его так, что идиот шлепнулся в лужу мочи. Поднялся, не отряхиваясь, и в той же позе встал напротив Матвея. В его глазах была покорность затравленной собаки.

— Зачем ты его... — Матвей торопливо затянулся и отдал идиоту сигарету. Тот жадно схватил и облизывал ее толстыми синими губами. Молча отошел и, согнувшись, застыл в углу.

В этом дурдоме Матвею ни одну сигарету не удалось докурить до конца. Даже глубокой ночью, когда он брел в туалет покурить, за ним выскальзывала из палаты идиотов тень и прodelывала 'Один и тот же ритуал: становилась напротив и молитвенно смотрела. Они уже не просили — нет, привыкли, что в ответ на просьбу могут грубо обматерить, толкнуть, ударить или пакость какую сотворить. Просто стояли и смотрели. Но взгляд был такой, что шее удовольствие от курения пропадало, Матвей торопливо затягивался и отдавал.

Хоть идиоты, но быстро усекли, что Матвей дает, и отбоя от молитвенно смотрящих не было. Напротив других алкашей не становились или становились редко, а напротив Матвея всегда было двое-трое молящихся. Один — пожилой, коренастый, с закисшими глазами — «зацеплялся» еще в коридоре и шел следом, крича:

— Папа! А па-па...

Иногда он называл Матвея мамой.

— Ненавижу! И зачем их на земле держат, вонючек? — шипел Виктор.

Алкаши люто ненавидели идиотов, и все время над ними изгалялись. То по шее врежут просто так, то воду или суп выльют на голову. Те покорно утирались и глупо хихикали. Не отставали от них и мордовороты. Идет по коридору, красные ручки в стороны растопырены — мускулы не дают висеть, а навстречу крадется по стене идиот. Мордоворот, проходя, ахнет его от души по загривку, тот — головой в стенку. И — ни звука, торопится поскорее шмыгнуть мимо, пока не добавили. Чисто инстинктивный рефлекс выработался. Или ворвется вдруг мордоворот в курилку, «оглядится налитыми кровью глазами, схватит какого-нибудь идиота и погонит пинками в палату. За что про что — бог ведает.

Однажды Матвей стал свидетелем дикой расправы. С топотом ш мотом мордоворот вогнал в туалет идиота в мокрых кальсо-

нах, лупил его кулачищами по выступающим ребрам, так что эха по стенкам скакало. Потом велел другому идиоту, «активисту», содрать с него кальсоны и стал поливать голого ледяной водой из ведра:

— Обкатался, паскуда? Ты у меня обкатаешься, мать твою!

Он умудрялся и обливать идиота и пинать его тяжелыми ботинками по синему дрожащему телу. Тот испуганно закрывал лица руками, пригибал голову и тоненько повизгивал как несмышленное дитя. Но дитя от такой жестокой науки впредь не ходит под себя, а идиот какую науку извлечет? Ведь он даже не понимает, за что сыплются на него жестокие удары из внешнего, нереального мира, наполненного чудищами и видениями. Наверное, мордovorот и казался ему таким чудищем; впрочем, Матвеем он казался таким же — в нем было мало человеческого.

Правда, и среди мордovorотов попадались люди. Запомнился один, мальчик-картинка. Вьющиеся светлые волосы, лицо — хоть на киноафишу: русское, доброе, с мягко очерченными губами, широкие плечи, тонкая талия затянута в белый короткий халат. Идиотов он никогда не бил, — осторожно прикасаясь коротенькой палочкой, сгонял их обедать или в палату спать.

Как-то, сидя под звездами в маленьком дворике и покуривая, Матвей спросил его, зачем он пошел на такую работу.

— Я-я... оч-чень л-люблю людей, — слегка заикаясь (у него был дефект речи), ответил Виктор (его тоже звали Виктором). Матвей долго думал над его словами.

Конечно, идиотам трудно было вызвать к себе сочувствие. В столовой они сидели отдельно: длинный стол для алкашей и напротив длинный стол для идиотов. Матвей старался садиться! к нему спиной, потому что всякий аппетит, даже волчий, пропадал при виде этих перекошенных, бессмысленных лиц с выпученными глазами, отвисшими челюстями, тупыми взглядами, шишками на лбу и на шее, с шелушащейся кожей... Дантов ад наяву! Кое-кто» сидел голышом: как ни одевали их мордovorоты, как ни лупили,, через минуту они одежду с себя стаскивали. Один такой голыш любил вдруг вскакивать на обеденный стол и вышагивать между мисками. Его сбивали, сдергивали за ноги, жестоко лупили, но» похоже, боли он не чувствовал.

Хотя алкашам и идиотам еду приносили в одних бачках, на дежурные делили ее не по-братски. После того как снималась пенка для обслуживающего персонала, из оставшегося лучшие куски и побольше перепали алкашам, поскольку они все-таки работали и окупали заведение, а идиотам — одни остатки и ошметки. Мяса в супе или борще они никогда не видели, ни масла, ни яиц им не давали, только постную кашу, кусок хлеба и ячменную бурду вместо кофе. Если на второе была подлива с мясом, то

мясо доставалось алкашам, а подлива идиотам. Поэтому они **были** [вечно голодны, похожи на узников Бухенвальда и с радостью набрасывались на любую жратву. Ели без ложек — зачем им ложки? Запускали руки в миски, вылавливали картошку или капусту, а потом выхлебывали содержимое, настороженно кося глазами.

Алкаши, отобедав, устраивали развлечение: швыряли недоеденное на стол напротив, а там расхватывали все жадными руками. Когда Матвей увидел это в первый раз, он проникся к алкашам тяжелой черной ненавистью.

Как-то глубокой ночью он спросил стоявшего напротив идиота — глаза вроде осмысленные:

— Тебе что, курева не приносят?

— Мне ни курева, ни жратвы — ничего не приносят, — доверчиво и торопливо зашептал идиот. — И никто ко мне не приходит.

— Но ведь тебе должны какую-то пенсию платить, хоть на курево хватит.

— Ничего мне не дают, — так же обреченно шептал тот.

— А за что заперли?

— Запчасти украл.

— Гм... за это срок дают, а не сюда.

— Сначала срок дали, а потом сюда.

По вечерам их сгоняли, как диковинное стадо, к одному копыту, и они мыли свои синие ноги в холодной воде, некоторых юкатывали целиком: готовили ко сну. Спали они «покатом» на достеленных на полу матрацах в большой палате и еще в одной — ша койках, по двое и по трое, обняв друг друга. Иногда целовались, влюблялись.

— Что они делают? — спросил Матвей как-то остановившись.

— Им так нравится, — ответила медсестра, проходя мимо.

Из всех нарко Матвею больше всех по душе пришелся львовский. Привезли его сюда из гостиницы, и на третий день, протрезвев до естественного восприятия событий, он огляделся с радостным изумлением:

— Да у вас тут уютней, чем в отеле! Надо было сразу сюда шодаться.

Трехместные, самое большее — пятиместные номера, полированная мебель, радиоприемники, холодильники, цветной телевизор... Койки отдельно, а не попарно и не впритык, чтобы на тебя всю ночь не дышали сивухой месячной давности. Но самое удивительное — контингент здесь держали на беспривязном содержании. Хочешь — иди вечером в театр, в кино, на свидание с любимой девушкой (если какая придет). Но если ноги завернут в пивнушку — пеняй на себя.

Однако именно с этим нарко у Матвея связано самое тяжелое воспоминание.

Поздно вечером в палату ворвался староста Богдан — тихий и вежливый гуцул из Ужгорода и стал шарить под койкой.

— Где? Где штанга — тут лежала?

Глаза у него были побелевшие. Матвей загодя прибрал железную палицу, которую еще раньше приметил: не любил, чтобы среди ночи замахивались таким — не увернешься. От тихих всего ожидай. И вот — не ошибся.

— Ты чего?

Богдан вдруг обмяк, по его лицу покатались слезы,, он сел и обхватил голову руками.

— У меня ведь тоже... двое малых, дивчинка така сама...

— Да что случилось?

Новость рассказал вошедший следом Аркадий — молодой наркоман со стажем. Глотал таблетки, молотый мак, нюхал тряпкк с бензином — зрачки постоянно расширены.

— Привезли там одного... с «белочкой»,— пояснил, похихикивая.— Всю семью побросал из окна, тестя зарубил...

Алкаши повалили в наблюдательную — посмотреть на новичка. Он лежал крепко принатованный и водил мутными бессмысленными глазами. Лицо темное, набрякшее дурной кровью-, на нем какие-то серо-белые потеки. Без конца, как заведенный-, сучил руками и ногами.

Он жил в доме старинной постройки с высокими готическими окнами и мускулистыми львами, подпирающими балконы. Вечером пршел домой уже хороший. А тут тесть прибрел в гости с бутылочкой, сестра заглянула на огонек. Бутылку «раздавили», потом пошла, как водится, семейная дразга. Хозяин схватил топор, ахнул тестя, сестрой высадил раму и пустил ее вниз — охладиться. Завизжала жена — он и ее следом. Дочка только просила: «Папа, папочка, не бросай маму!» Он и дочку—только платьице полыхнуло.

Взрослые женщины поубивались сразу: старинный пятый этаж что современный восьмой или девятый. А девочка, хоть; и переломала все косточки, еще жила. Когда везли ее на «скорой», все повторяла пропадающим голосом: «Мама... мамочка.., я умираю...» А мамочка давно уж сама на асфальте пластом лежала. Умерла девочка спустя два часа в реанимационной.

Мужик забаррикадировался плотно, вооружился топором, приготовился к серьезной осаде. Его пробовали урезонить, уговорить через мегафон. Но через мегафон разве урезонишь — в него только командовать: «Руки вверх!» На все резоны тот'ревел:.

— Только суньтесь... все ляжете!

Один отважный полез было по водосточной трубе, она рядом с балконом проходила. Мужик сшиб отважного мешком не то с сахаром, не то с крупой; хорошо, что невысоко залез - иначе и сам

бы лег рядом с двумя женщинами. Пробовали выломать дверь — дубовая. Хотя штурмовой отряд командос вызывай!

— Как же его взяли? Гранатой, базукой?

— Манной кашей.

— Как-как?

— Он только с соседкой по балкону вступал в разговоры. А она вынесла на балкон кастрюлю с манной кашей — как раз поспела — да и вывернула ему в рыло — шустрая! Пока он ревел да кашу обирал с глаз, дверь высадили и его повязали.

Все алкаши с черной злобой смотрели на корчившегося четырежды убийцу. А тот пучил глаза:

— За... закурить дайте...

Обычно алкаши тихие и послушные. Но нервы всегда обнажены, и достаточно искры, чтобы превратился тихий и послушный в разъяренного зверя, которого и базукой не угомонишь.

— Закурить? — стали придвигаться.

«А ведь это я там лежу,— подумалось вдруг Матвею.— Да, я. Каждый из нас. Перейдешь грань — и там. Кто из этих не мордовал жену, детей, не кидался с ножом на тестя или деверя? Масштабы только разные. Один перешел грань и вот лежит...»

Он повернулся и ушел. Долго лежал на койке, уткнувшись в подушку. Толпа, кажется, тоже рассосалась — сама или мордовороты разогнали. А Матвею долго мерещился далекий детский голос, который все повторял, все звал мертвую маму...

Вскоре из нарко Матвея выпустили — вел себя осторожно, ходил и разговаривал тихо, с врачом-похметологом беседовал «за литературу» — показывал, что интеллект еще не сохся.

— Хемингуэй погиб вовсе не от пьянства, а от системы. У них система «давай-давай», каждый год новую книгу, а у нас спокойно: издал брошюру, пробился в корифеи и заседай, стриги лавры на борщ с мясом.

Есенин тоже мог бы дожить до наших дней, если бы тогда функционировали такие оснащенные нарко с квалифицированным персоналом, который любого алкаша выдернет за уши из самой тяжелой «белочки» и поставит на свое рабочее место.

Врач Евгений Дмитриевич сочувственно слушал, по-доброму поблескивал очками, но за очками чувствовалась отточенная сталь.

— Но вы понимаете, что губите себя? Ведь двадцать дней без просыпу...

Эх, так хотелось рвануть на груди рубашку и крикнуть, выплакаться: «Дорогуша! Да знаешь ли, отчего без просыпу?»

Перед этим к нему обратился муж одной красоти, которую средь бела дня увел у него Верховода. Мужа угонял в командировку, а сам в спортивном костюме с генеральскими лампасами

без стыда и совести рассекал с красоткой на местном катке. Для других посетителей каток на это время закрывали.

— Да плюнь ты на нее,— убеждал он мужа.— Была б порядочная, не ушла б и к самому господу богу.

— Мне она до лампочки! — кричал муж, интеллигент, какой-то там теоретик, бегая по гостиничному номеру.— Но неужели тьма не рассеется?

Матвей постукал себя по лбу и показал мужу на вентиляционное отверстие в стене. Наверняка там были спрятаны микрофоны, и разговор их мог стать началом конца.

— Давай лучше жажнем да расталдычь мне свою теорию.

А сам написал на клочке бумаги и подсунул теоретику: «Готовлю на него компромат».

Вот они и напились. Пили несколько дней, потом теоретик испарился, так до конца и не расталдычив своей теории: то один приходил с бутылкой, то другой... Когда его потом везли в санитарной машине, Матвею казалось, что летит в самолете: все выглядывал в иллюминатор — когда же Иркутск будет?

Но попробуй поведать об этом добрейшему Евгению Дмитриев вичу! Сразу в соответствующей графе «истории болезни» появится^Л запись: «Бред преследования, борьба с вымышленными злодеями», Если бы они оказались вымышленными!

Это был вопрос «на засыпку», из графы «самокритическое отношение». И он стал посыпать голову пеплом и каяться, и блять о том, что поступил безответственно и аморально, а дома бьется как рыба об лед жена с малыми детишками, и никто ей не поможет, а он, как последний обормот, прохлаждается в этом идиотском санатории, то есть санатории с идиотами... И тэ дэ.

Дома никакой жены с малыми детишками не было, но врач не знал об этом, и Матвей припел ее для убедительности. Слушая его кулдыканье, Евгений Дмитриевич одобрительно кивал головой, как профессор на экзамене, когда студент отвечает как надо,

На следующий день Матвея выпустили. Графа «самокритическое отношение» сработала безотказно. Если самокритики нет, будут держать до тех пор, пока не станешь ходить с высунутым языком.

Вместе с ним выпустили и «турка». Тот тоже знал про графу и отрекся от каждого из своих слов, даже от подписи.

Дошли до автобусной остановки. Учреждение дымилось вдали в синей морозной дымке.

— Тыфу! — от чистого сердца послал Матвей туда привет.

— Погоди, погоди, погоди,— остановил его «турок». У него опыта и сноровки было побольше в таких делах, а Матвей всегда признавал этих людей.— Иногда и сюда, на автобусную остановку, высылают группу захвата. И возвращают.

— Почему?

— Вдруг что-то обнаружится в последний момент.

— Что может обнаружиться?

Но «турок» обрадованно сверкнул глазами:

— Автобус!

В тот же вечер он впервые и попробовал этого самого авто-стеклоочистителя «Быстрый». Оказывается, «турок» пил его давно, даже пристрастился к нему и теорию выработал.

— Коньяк, шампанское, цинандали-мунандали — все это водичка по сравнению с «Быстрым». И шестьдесят пять копеек бутылка! Дегустируй!

Он притартал штук с десятков бутылок — нес их, зажав за горлышки, двумя пучками, как редиску с базара. Стакана не было — нашли и вычистили пластмассовый для бритья. «Турок» налил синеватую жидкость, сказал интернациональный тост:

— Ну, будем!

Жахнул — и не поморщился. Закусил соленой горбушей, налил:

— Глуши.

«Если уж «турок» пьет...» — подумал Матвей. Выпил. В сознаний возникла фраза из древнего северного эпоса: «И огненное копье вошло ему в горло...»

— За... запить, — он пытался прохрипеть, но, наверное, так и не прохрипел. В обшарпанной комнатухе «турка» был все же ручной мойник с краном, он кинулся к нему, отвернул кран, хлебнул воды и почувствовал, как отпускает сведенное судорогой горло.

— Я никогда не запиваю, — сказал «турок», посмеиваясь и пожимая горбушу.

— Ф-фу... Это — да! — Матвей вернулся, поставил стаканчик на стол и тоже стал закусывать, — Идет — невпроворот!

— В первый раз, — пояснил «турок».

Матвей мог бы пойти и взять вина — деньги были, но северяне уж так устроены: что пьет один, то и другой. Да и пасовать перед каким-то «турком»...

Но действие «Быстрого» было в самом деле ошеломляющим, как у ракеты. Поплыли сразу. Целоваться не стали — Матвей этого не любил, по поглядывали друг на друга влюбленно.

— Тебя как зовут? — спросил «турок».

— Матвей Капуста. Фамилия моя Капуста. А тебя как?

— Я же говорил: Николай. Зови Колей. Или Коляшей.

— Коляшей? Так ты не турок, а, наверное, вятский или пензяк?

Почему? — обиделся тот.

Там любят такие окончания: Коляша, Маняша...

Может, и вятский. Хотя на самом деле я подданный страны

Занзибар,— зашептал Коляша, поблескивая глазами.— Потому и фамилию не называю — несколько их у меня, а какая настоящая, и сам не знаю. Запрещено.

— Да ты что?! Да ты как... как здесь очутился? — Матвей попятился назад вместе с табуреткой.

Но Коляша приложил палец к губам и метнул взглядом по стене, по батарее отопления. «Микрофоны»,— понял Матвей. Что ж, даже если Коляша и брешет насчет Занзибара, за одну его телеграмму тут вполне могли сунуть «жучок». И теперь где-то разговор их терпеливо прослушивает скучающий молодец с прилизанной прической под полубокс. Придумали тоже: полубокс. Одним кулаком боксеры мылят друг другу морды, что ли?

«Турок» Коляша из Занзибара взял стаканчик, чтобы налить по второй, и стаканчик распался в его руках, съезжился, как бумажный.

Минуту они растерянно смотрели на стаканчик, или, точнее, на то, что от него осталось, потом грохнули здоровым молодецким смехом.

— Что же там внутри нас деется, а?

Нашли емкость покрепче — медицинскую баночку, закатившуюся под батарею. Ставили Коляше, когда он был молод и здоров, простужался. Теперь-то уж ничем не болеет, «Быстрый» все болезни из организма выжег начисто. Вытравил микробов, как тараканов.

Допили бутылку, горло у Матвея уже не перехватывала судорога, оно обмякло, стало пропускать жидкость. Кувыркнули вторую.

Почувствовали оба, что вошли в форму, обменные процессы, видать, стабилизировались, пошли по знакомому руслу.

— Ну вот,— прохрипел «турок» Коляша.— А то капельки-таблеточки, уточки-клизмочки... Да провалитесь вы!

Он упер вдруг похитревшие глаза в Матвея.

— А ты кто? В какой фирме работаешь? Не в клубе, где глухие охотоведы? Может, приставлен?

Матвей мудро покачал головой:

— А ты подумай.

— Правильно,— похвалил «занзибарец».— У приставленных на «Быстрый» кишка тонка. Здоровье берегут, чтоб медали носить.

— Был моряком. Теперь вот карьерист.

— Из бюрократов, что ли?

— Нет, из тех, которые с места в карьер срываются. Я девушку одну ищу. Ленной зовут.

— Запала в душу,— понимающе покачал головой «турок»,— А приметы помнишь?

— Как не помнить? Глаза серые.

— При чем тут глаза?

— Все остальное женщина изменить может.

«Турок» приблизил вывернутые губы к уху Матвея.

— А теперь срываться надо.

— Куда? Ночь ведь.

— Вот по ночам они и берут,— шептал «занзибарец», косясь на батарею.— Небось усекли уже, что мы вмазали, и сейчас приедут. Мы для них опасные, много знаем. У меня в одном месте папка припрятана, так они бегают, вынюхивают, никак вынюхать не могут. Повяжут — и опять пойдет морока про румынский Бангладеш.

Он нашел не то полотенце, не то пеленку — хотя откуда тут взяться пеленке? — увязали оставшиеся бутылки.

— Не в дверь,— остановил «турок» Матвея.— Мы туда, а они навстречу: банзай!

Мерзлое окно открылось с таким звуком, будто его выломали. Первый этаж, вылезли прямо в глубокий снег, приладили кое-как фрамугу, прислушались.

— Тихо. Пошли.

Шагали, петляя по переулкам, покуривали, морозный воздух промывал горевшее горло.

— Ты где так хорошо наш язык изучил? — спросил Матвей.

— Как где? — гоготнул «турок». — Сам говорил, из-под Пензы я.

— Ну а подданным Занзибара как стал?

— Сказали: надо, Коляша, надо. Вот и стал.

— Кто сказал?

— Не балабонь лишнего. Сам знаешь, кто может сказать.

— Ну а раз подданный, почему там не живешь?

— Погорел. На чем горят мужики? Бабы — водка. Влюбился в одну москвичку — такая с кудряшками, а мне говорят: нельзя, вы подданный другой страны. Я паспорт занзибарский в клочья порвал, мне справку выдали, теперь вот по справке еле-еле временный паспорт получил. И северную прописку, тоже временную.

— Все мы тут временные,— Матвей хлопнул его по плечу.— Через сто лет, например, никого из живущих сейчас на Земле не будет. Ну там, десятка два-три грузин из Осетии наберется — тех, которые в горы повыше залезут.

— А что? — остановился пораженный этой мыслью Коляша.— Ведь верно! А мы колотимся, правду какую-то ищем...

Остановились в безлюдном месте, даже домов вокруг не было.

— Здесь,— сказал Коляша.

— Всю ночь плясать здесь?

— А хоть бы и плясать,— Коляша стал на канализационный люк, ударил каблуком и сплясал замысловатую чечетку. Внизу заскрипело, люк стал подниматься.

— Влезай скорее,— просипел изнутри голос, будто изъеденный сыростью.— Холода напустишь.

На ощупь спустились по лесенке, люк захлопнулся, заскрипел запор.

— Вот и попался, карьерист,— сказал рядом Коляша.— Тут тебе и крышка.

— Войлок не забудь подпереть! — загрохотало в темноте. Голос Матвей узнал сразу — такого голоса ни у кого до самого Уральского хребта не было. А может, и дальше. Сочный — пропитый, прокуренный, как бы настоящий на спирту. Им можно было глушить волков без ружья в морозную ночь.

— Роман Эсхакович! — закричал Матвей в темноту.— Академик!

Разом вспыхнуло несколько сильных фонарей. «Морские,— определил он.— Краденые».

— Это же Быстрый! — раздались голоса.— Да еще со своим пойлом. А там кто маячит?

— Привел одного фертика,— сказал «турок», осторожно опуская узел с бутылками.— Шибко любопытный... проверить надо.

К ним приблизился — по виду ни дать ни взять профессор или директор крупного завода: очки в толстой оправе, шнобель, реденькие волосы, экономно уложенные по всей лысине. Роман Эсхакович, бессменный староста, бугор наркодиспансера,— какого, Матвей уже не помнил. Помнил лишь, что тот восемнадцать раз проходил курс. Он возвращался туда с регулярностью магнитной пудьки.

Увидя его первый раз, Матвей изумился. Среди людей этой национальности, как правило, алкашей не было. Даже умные, истинноискатели, воплотившие в себе мировую скорбь, отчаянно стремящиеся выжить в этом враждебном мире, они не засоряли мозги сивухой. А вид Романа Эсхаковича вообще исключал какие бы то ни было подозрения о пьянстве или других пороках: важный, деловитый, он проходил по палатам и отдавал распоряжения своим командирским басом: таких-то на кухню, растаких на завод, разэтаких на уборку помещений. «Начальника занесло,— подумал Матвей,— Перебрал на симпозиуме...»

Романа Эсхаковича выпустили через несколько дней — у него как раз окончился срок. Он обошел палаты, раскланиваясь, пожимая всем руки. Матвей даже не расспрашивал алкашей, кто есть кто,— у него была депрессия, не хотелось ни с кем общаться. Только подумал вяло: «Этот больше сюда не залетит...»

Романа Эсхаковича привезли через неделю. Но в каком виде! Исхудавший (он сразу вошел в сухой запой — в штопор: только пил, а ничего не ел), совершенно голый, завернутый в одеяло, но в очках, хотя с разбитыми стеклами.

Первая мысль была: «Пожар!» В глаза ярко било багровое пламя, качался огонь.

— Вздынь! — он узнал неповторимый голос Романа Эсхаковича.— Ну тебя и дотолкаться... Спишь как министр.

— Что? Горим? — от «Быстрого» и другой сивухи его была неудержимая, такая знакомая дрожь.— Опохмелиться осталось?

— Будет тебе опохмелка... — Фонарь, на стекло которого был надвинут почему-то красный светофильтр, качнулся вправо.

- Слышишь, мусора ломаются?

Со стороны люка доносилось негромкое, но какое-то злое, напористое позвякивание.

— Мусора? Значит, и тут меня нашли... — Он мигом вскочил, но тут же чуть не упал.

— Эге... — в красном свете он различил протянутую кружку, поймал ее и выпил залпом. Ожгло, зажгло.

— Ну, спасибо! Куда тикать? У вас должны быть запасные выходы...

— Они не из балетного кружка. И у запасных выходов стоят. Только тут он заметил, что вокруг ничего не видно. Пригнулся. Что-то капало. Мысли привычно путались.

— Где все? Где «турок» — Коляша из Занзибара?

— Идем.— Он двинулся вслед за покачивающимся красным кругом фонаря. В голове в такт шагам ухало.

— Вот.

Красный блик осветил сбоку в стене овальную дверцу, вроде бы железную. «Как на подводной лодке»,— вспомнилось.

— Приложи руку.

Он приложил крупно тремирующую руку к дверце и ощутил сухой холод гранита. Вдруг на дверце зажглось изумрудное изображение Зеленого Змия!

— Теперь дохни сюда. От души, не как в нарко.

Он фукнул в какую-то решетку. И дверца тотчас распахнулась — массивная, толстая, но поворачивалась легко на смазанных шарнирах. Только они пролезли внутрь, как дверца захлопнулась, будто сквозняком. Пролезая, Матвей слышал, как где-то вдали загредел вышибленный наконец люк.

— Уже ворвались,— хмыкнул Роман Эсхакович.— Теперь пусть ищут. Эту дверку разве что из пушки прошибешь, а пушку сюда не втащишь.

Низкое помещение было слабо освещено, но в нем чувствовались простор и ширь.

— Что это?

— Бывшие подземные склады Свенсона. Ну, помнишь, когда-то работал тут с размахом американский купец. Говорят, ты на него очень похож — такой же широкомордый, шкиперская борода.

Матвей вспомнил, как приветливо здоровались с ним глубокие старики в селениях и, подойдя, ласково пожимали руку:

— Спирт привез?

Потом ему разъяснили, что его принимали за вернувшегося наконец Свенсона.

— Нет, вот это, что это было?

— Ну, среди алкашей тоже есть светлые головы. Вот и приспособили простейшие реле: пропускают сюда только наших. Два фактора — тремор руки и концентрация сивухи в организме.

Матвей чуть не повалился на бетонный пол от смеха.

— Значит, трезвый мусор сюда не проникнет? Аха-ха-ха! А если все же наладится во имя высокой цели? Чтобы искоренить алкашей?

— Долго ему придется лакать... Со службы пять раз успеет вылететь. Кстати, знаешь ли ты, что слово «мусор» в смысле «мильтон» пришло к нам из древнего языка иврит? Так же, как и немало других слов, о происхождении которых мы и понятия не имеем.

Разговаривая, они медленно шли по, казалось, нескончаемому бетонному помещению. Под ногами что-то скрипело, и тут Матвей понял: это не бетон, а скала. Не раз бывал в рудниках. Хотел спросить, вырубили или пещера естественная, но раздумал. Откуда-то шел свет. Прошагали какой-то штрек.

— Ну, вот и пришли.

Они стояли в небольшом помещении или пещере, толком не разобрать. Роман Эсхакович несколько раз качнул фонарем, и из глубины неслышно выплыли две фигуры, вроде бы женские. Когда они появились, показалось, будто открылась дверь в помещение, где гудит веселье. Потом как отрезало.

— Матюша! — с чувством сказал Роман Эсхакович. — Выбери. Или ты идешь туда, — он махнул фонарем в сторону уютного веселья, — к нам... Но там жизнь коротка, горим, словно электродуга. Или выпустим тебя наверх — тлеть, коптить, лечить геморрой. Протянешь, а конец один. Впрочем, я не агитатор. Ты понял, что я давно раскусил тебя, алкаш ты башковитый.

— Но ведь башку-то мы и губим...

— И ты поверил в эту галиматню! — Он так и сказал: «галиматню», даже в само слово вкладывая невыразимое презрение, — Настоящую башку никакая сивуха не возьмет! Губит она те башки, которые и так ни на что не годны. И в этом главная загадка алкоголя. Кто разгадает — король!

В полумраке раздалось сдержанное хихиканье, по голосам Матвей вдруг понял: девчухи! Стал с интересом приглядываться.

— А это кто?

— Да погоди! Говори свое решение.

— Но что у вас там?

— Страна Гамаюн! Помнишь, Володя пел про птицу счастья? Вот она, мы ее создали! Но экскурсантов не пускаем. Или ты с нами, или уходи к геморроям.

— Эта птица еще называется Каган...

— Знаю. Но Володя называл ее Гамаюн.

Матвей угрюмо сказал:

— До геморроя мне еще далеко. А вот дело одно наверху есть. Поклялся: доведу. Дай только опохмелиться.

Голос Романа Эсхаковича дрогнул:

— Только жаль, что не хочешь под крыло птицы Гамаюн. Она многих оберегла... А за тебя боюсь. Там, наверху, люди злые к нашему брату, оборотистые. Выдадут и продадут.

Он махнул красным фонарем, и только теперь Матвей понял, что это, видимо, был символ верховной власти тут, в темном подземелье.

— Гамаюнчкн! Приведите его в форму, сделайте все, что нужно, дабы там, наверху, его сразу же не забарабили.

Он повернулся, но Матвей его остановил:

— Роман! Скажи, сколько ты за свою жизнь выпил?

И ответ прозвучал громом в подземелье:

— Я выпил столько, что тебе не переплыть!

Матвея снова начала бить дрожь, но ласковые ладошки справа и слева подхватили его и повели. Куда, он не разобрал, потому что всматривался в девичьи силуэты. Одна вроде была яркой блондинкой, другая — чернокудрая. Временами чуть более сильный свет обрисовывал красивые личики, но черт не разобрать. Одна благоухала вроде бы ландышем серебристым, другая — красным маком.

«Виденица? — напряженно соображал. — Или живу?»

Резко повернули и куда-то вошли. Матвей сначала рванулся, как конь, — показалось, что в манипуляционную нарко. Кушетка, по углам поблескивают никелированные инструменты. Но девушки разом прильнули с обеих сторон, гладили лицо, голову — успокоили. Быстрые руки ловко расстегивали, рассупонивали от тяжелой неуклюжей одежды. «Раздевают? — смирился он, — Сейчас пижаму принесут или свяжут?»

Ручка скользнула по его щетине.

— Сначала побрить.

Одна светила фонарем, другая проворно намылила его щеки и брила безопасным станком. Он сидел смирно голышом на кушетке и чувствовал, что она мокрая, деревянная — в нарко таких не бывает, там все обтянуто клеенкой. Было тепло, как-то парко, вроде в предбаннике.

— Стричь не будем? Прическа нормальная.

— Молодчик...

Повинуясь их рукам, он улегся на топчан, и они принялись растирать его какой-то едко пахнущей жидкостью. Тут же он опередил: перцовая.

— Дайте лучше хлебнуть! — рванулся он.

— Нет, нет. Это сильная, не та...

«Почему они говорят шепотом?» Все тело начало гореть приятным огнем. В нос вдруг шибануло так, что он чуть не свалился с топчана. «Нашатырь!» Потерли и виски.

— Лежи, лежи... Ты когда из нарко?

— Вчера, — прохрипел Матвей. — Но вчера же и успел...

Он глубоко, прерывисто вздохнул.

— Вот что значит вернуть мужика в форму... А я-то думаю, почему от вас по-разному пахнет? Разные одеколоны глушите?

И тут они засмеялись в полный голос. Голоса хоть и хрипловатые, но приятные. «Почему же говорили шепотом? Стеснялись? Или создавали настроение?»

— Теперь поднимайся и стань вот здесь.

Они отошли в разные углы комнаты, и вдруг из углов по голому незащитному телу Матвея ударили мощные струи тепловатой воды. Душ Шарко или черт знает что? Наверное, подключились прямо к городскому водопроводу, мелькнула мысль. Струи становились все горячее, ошпаривали с ног до головы, но он терпел. Пусть делают что хотят. Он уже понял, что дело свое они знают. И вдруг чуть не закричал: струи разом стали ледяными.

Потом его растирали жесткими полотенцами — такие Матвей видел только в английской гостинице, а тут долго искал и не нашел.

Тело горело, вернулась ясность мысли, хотелось двигаться, появилась давно не ощущаемая энергия. Он сам быстро оделся, причесался.

— Ну, гамаюночки! Ну, родные...

— Вот тебе еще на посошок.

И в свете фонарика перед ним заблестал гранями полный стакан — и спрашивать не надо чего. Другая протянула бутерброд.

— А уж после этого... — он прожевал бутерброд, — я на телевизор залезу и буду кричать, какие тут чародейницы. Эх, если бы так в нарко приводили в форму, все бы туда рвались... Вы каждого так ублажаете?

— Сказано было: ты наш почетный гость.

— Хотел лица ваши посмотреть, хотел имена спросить... Не буду. Пусть все остается так, как в сказке. Только... рановато вы на одеколон перешли.

И тут же почувствовал, как зло напряглись их нежные тела.

— Не был бы ты почетным гостем, я тебе ответила бы...
прошптала одна. А вторая добавила:

— Рановато? Да мы из-за этого слова из дому сбежали! То рановато, это рановато. И ты гусь!

— Все, все, молчу,— взмолился Матвей.— Ляпнул не подумав. Дайте мне по морде, ежели в обиде.

Гамаюночки обмякли и снова ласково засмеялись. Как всегда, вовремя сказанные покаянные слова разрядили обстановку.

Ему указали выход. Матвей вынырнул в развалинах какого-то недостроенного дома. Вышел оттуда с деловитым видом — почти центр города. Поймал несколько взглядов, безразличных, дежурных. Значит, ничем не привлекает внимания. Гамаюночки сделали из него человека за каких-то полчаса. Он представил, в каком виде вылез бы из канализационного люка, если бы не они. Да его* первый тимуровец отвел бы в ближайшее отделение! Хотя теперь тимуровцев уже нет... Ну, повзрослевший бывший тимуровец.

Значит, все в порядке.

Но он ошибся. Они уже шли по его следу. И взяли его, когда он совсем расслабился.

Теперь он ждал своего часа.

Как-то в одном нарко он развязывался пять раз, но не успевал выйти из палаты — уже летели медсестры:

— Матвей Иванович, опять?! Да что же это такое?

— Не могу.

— Вам покой нужен, понимаете, покой!

— Какой покой может быть у связанного человека?

Продавали свои же братья, алкаши-доброхоты, которые таким гнусным образом зарабатывали себе льготы, поблажки, а то и досрочное освобождение. Придя в отчаяние, медсестры пригласили - из трезвария по соседству амбалов, и те, кряхтя, матерясь и дыша сивухой, связали его какими-то жесткими лошадиными узлами, а уходя, пообещали:

— Теперь не рыпнется.

Лошадиные узлы он развязал почему-то еще быстрее. И только после пятого раза понял, что нужно выждать,—гнусные доброхоты то и дело шастали мимо палаты, карауля момент, когда можно побегать с новым доносом и заработать свой иудов горшочек каши. Он дождался трех часов ночи, развязался и ушел.

Академик преподавал ему немало ярких запоминающихся уроков. Неизвестно, почему называли его Академиком. За то ли, что превзошел все алкогольные науки, а может, действительно им был,— теперь по новым порядкам и академиков не жалуют: если замешан, так и загремишь вниз по лестнице, ведущей наверх. Но дело свое знал. У него уже было вшито три торпеды, и он с гор-

достью называл себя: «трижды торпедоносец». Известный поэт погиб от одной торпеды, кинорежиссер — от двух, а вот Академик преспокойно глушил алкоголь во всех видах, кроме «Быстрого», — берег горло.

Тут были свои секреты.

— Все дело в том, что они принадлежали к элите, к аристократии, — говаривал он, подняв вверх растопыренную пятерню. — Вшивали им профессора в отдельных покоях и небось кулдыкали: ни в коем случае не пить, иначе гибель! А душа, видать, горела...

И добавлял печально, опустив голову:

— Эх, Володя, эх, Вася, попали б вы сюда на денек, прошли бы мою школу, до сих пор творили бы свое бессмертие! Кому поверили?

Он научил Матвея имитировать белую горячку («С «белочкой» безопаснее, ответственности никакой, а все хлопочут над тобой, потом заморятся, ты — вжик в щель и был таков, даже если изловят, все равно на «белочку» спишут»), развязываться из самой сложной системы, правильно отвечать на каверзные вопросы-тесты психиатров.

— Они ведь по учебникам шуруют, а эти учебники я сам писал, — добавлял он мимоходом. Кто его знает, может, и писал. Для того чтобы писать, вжиться надо. Некоторые так вживаются, что потом их не выживешь.

— Когда мне вкатили в ангар первую торпеду, — он хлопал себя по ягодице, — я притих, затаился. Думаю, чем черт не шутит: хлебнешь — и вперед пятками понесут. Залег на дно. Другьям говорю: печатайте объявление в прессе: «Ушел из жизни». А оно ведь и верно — перестали люди со мной общаться — непьющий. Ни ко мне, ни я никуда. О чем говорить? В шахматы играть? И я пошел в народ. Народ вразумил, поддержал. Снова вписался в меридиан, глушу ее, родимую.

— И не влияет? Сивуха-то? — осторожно придвинулся из дыма безликий бич.

— Сивуха ни на что не влияет, — авторитетно заявлял Академик. — Все это ученая брехня. Другое дело, что глушим ее без меры. Выпей махом ведро воды — тоже повлияет...

Он брал с полочки над головой потрепанную книжку. У него была тут даже небольшая библиотечка.

— Читаю английский роман. Один граф говорит другому: «За ужином я съел лишнюю дольку вишневого пирога, боюсь, как бы это не повредило моему пищеварению...» А вот тот глушит стеклоочиститель, от которого пластмассовые стаканчики рассыпаются, и не боится, что это повредит его пищеварению. Вот в чем корень зла! Ничего мы уже не боимся, все нам до лампочки.

Он помолчал и продолжал задумчиво:

— Ведь торпеды рассчитаны на французов и прочих европейцев. Делал ее француз и мыслил по-французски. Шутка ли сказать: в случае употребления — смерть! А нашего соотечественника разве смертью испугаешь? Вот сейчас выстрой роту молодцов и скажи: требуется выполнить смертельно опасное задание. И все как один шагнут! Да-а... нас хлебом не корми, а дай погибнуть. Зачем такая жизнь? Одного боимся — что своего не допьем...

Раздался голос безликого алкаша:

— Вот ты рассказывал про какого-то заморского миллионера, который ел только манную кашку...

— Миллиардера,— поправил Роман Эсхакович.— И кашку ел овсяную. Его еще называли «миллиардер, который боится микробов». Он велел все вокруг себя стерилизовать, чтобы ни один микроб не проник,— так берег свою драгоценную жизнь.

— Вот-вот,— подхватил безликий.— А почему она у него драгоценная? Потому что миллиард стоила! И он это чувствовал. Берегся, чтобы дольше протянуть. А сколько стоит моя персона? Да у меня в базарный день пятаков на пиво столько никогда не было, сколько у него тех миллионов. А за жизнь мою ломаного гроша не дадут!

— Т-ты сам сделал ее такой,— послышалось из табачного тумана кваканье.— М-мог бы... и большего д-добиться...

— Кто там под похметолога работает? — рявкнул безликий.— Нишкни, таскуда! Чего большего? Горбатиться с утра до вечера, доскрестись до того, чтобы моя пожелтевшая морда висела на районной Доске почета? А народу плевать, какой я герой. В автобусе так же давят бока и топчут мозоли, как и негерою, и в очереди за колбасой млеешь наряду с другими жителями. Настоящие герои в очередях не жмутся, в автобусах не давятся, и портреты их нигде не висят. Оки в лимузинах с затемненными окнами проносятся мимо, а все нужное им приносят холуи прямо на дом в аккуратных сверточках: вот коньячок, вот копченушка, буженинка, Я понимаю, когда для всех не хватает, а когда одному требуха, а другому... Вот если бы я почувствовал, что и моя жизнь чего-то стоит, да не в пустопорожней брехне: «хозяин земли», «его величество», а в материальном воплощении, в благах, то не глушил бы всякое лютное пойло.

Он еще долго бухтел, и Матвей уже начал было подремывать, когда Роман Эсхакович позвал:

— Иди. Послушай, что человек глаголет.

В кругу мрачный мужик в драном ватнике, разрывая черными руками жареную оленину, зыряка из-под шапки спутанных черных, с густой сединой волос, повествовал сипло:

— ...а жил я в балке. Отдерешь от пола доску, а под доской —

хоть на коньках раскатывай. Детишки — двое их, заболели ревматизмом, как ночь — воют, крутит им ножки неокрепшие. Но я терпеливо жду — вот-вот. Обещают, успокаивают, рисуют перспективы. Скоро вселитесь и Маяковского будете цитировать, когда в ванну влезать. Пять этажей счастья. Крикливый такой репортаж был в нашей брехаловке... А тут начальником нарисовался Шипилкин, ставленник Верховоды. Сразу же окружил себя лизоблюдами, подносчиками хвоста... И вот сдали пять этажей счастья, да моей семье оно не досталось, хотя на очереди был четвертый, десять лет мантулил механизатором на морозах как проклятый. Что же такое? Смотрю в списки: я снова четвертый! Тридцать две квартиры сдали, а четвертый не попал!

— Кто же попал?

— Все они, подносчики шипилкиного хвоста, да еще налезли всякие... хрен разберешь.

Ждать своего часа. Академик научил Матвея, как это делается:

— Нужно вызвать виденицу. Для алкаша это очень просто...

И он снова оказался в родном селе под Ждановом, где прошло его нерадостное детство.

Как ни странно, от войны у него не осталось никаких воспоминаний, хотя она прокатилась через его село дважды: и тогда, когда село оккупировали, и тогда, когда немцы драпали «нах Запад». Может, потому, что маленький был, а может, потому, что из-за незначительности села его сдавали без боя. Зато потом шли яркие воспоминания.

Голод. Они ели щавель, варили крапиву, лебеду, почти все, что растет под ногами, любой бурьян. Картофелины, которые изредка добывали, варили и ели прямо со шкурой — не чистили, чтобы не потерять и крошки драгоценной мякоти. Он помнит съедобные баранчики какого-то растения, которые они постоянно выискивали. Дикие пчелы запечатывали мед с личинками в камышинках крыши одной старой хаты. Дети заметили это — чуть всю крышу не раздергали — выгрызали мед вместе с личинками. На двоих с сестрой у Матвея были старые полуразвалившиеся сапоги¹ вот зимой и гуляли по очереди в уборную во дворе, подвязывая отпадающие подметки веревками, а летом — босиком.

Помнит он коньки и санки той поры. Их мастерили старики и подростки. Из деревянных обрубков вытесывали две колодки в виде лодочек, понизу пропускали вдоль по самой середине толстую проволоку, поперек колодки просверливали два отверстия для веревок-креплений, — вот и коньки готовы. Но и такие коньки были далеко не у всех.

Зато санки готовили просто: в таз наливали жидкий коровий навоз, затем его выставляли на мороз. Утром замерзшее содержимое вытряхивали — вот и санки. В навоз вмораживали веревку,

чтобы держаться за нее, скатываясь с горы, а потом тащить санки на гору. И как лихо летали они на этих навозных санках! Как весело катались на деревянных коньках!

А сейчас? — уныло размышлял он, пока накатывались волны виденицы. «Не хочу эти, купи лучшие!» Все дело в том, что тогда не было зависти. Вернее, она носила другое обличье. Завидовали только тому, что у кого-то есть, а у тебя нет, а не тому, что у кого-то лучше.

Потом скитания беспризорника. С раннего детства в ушах его стучат колеса поездов... Ездить тогда было легко — общие вагоны, давка, всеобщая неразбериха. Маленькому хлопчику ничего не стоило прошмыгнуть между ногами, а потом отчаянно завопить в лицо затюканному проводнику: «Ой, мама уже села, мама-а-а!» Люди на руках вносили его в вагон. Пока проверка, пока разберутся, много километров останется позади.

Вскоре он уже знал все крупные города Украины: Киев, Харьков, Донецк, Львов, Станислав (ныне Ивано-Франковск), но не по учебнику географии. Правда, ни в одном из них он не был дальше вокзалов, куда прибывал без железнодорожного билета и отбывал без него.

Но поездки становились все короче — порядок налаживался, за беспризорников взялись всерьез.

— Облава! Атас!

За воротник сыпануло морозом. Шайка беспризорников, в которой оказался и Матвей, как раз чистила чей-то сад. Кубарем слетев с дерева, он бросился через забор, забыв, что тот усеян по гребню битым стеклом: есть же свинорыла, что оберегают свое проклятое добро таким вот людоедским способом. Острие распало ладонь почти до кости. Стараясь не закричать, Матвей прыгнул с забора и попал прямо в чьи-то жесткие объятия, в лицо пахнуло табаком.

Детдом... Этой виденицы он не хотел, но она наплывала — пошло все неразрывной цепочкой. Послевоенный детдом в Западной Украине. Опять постоянное чувство голода — обслуга воровала почем зря, и дети получали скудные порции, «пайки», как их называли, — с ударением на первом слоге. За каждую двойку, принесенную из школы, воспитатели щедро награждали их увесистыми оплеухами. Может, потому Матвей и учился с тех пор всегда на «отлично» — очень неудобно, когда взрослый с размаху лупит тебя по морде, даже если этот взрослый и женщина: ручки у них тоже не легкие были.

По лесам еще вылавливали и отстреливали бандеровцев, иногда их трупы привозили на центральную площадь города Косова, чтобы опознали родственники и забрали. Но их не спешили забирать: при этом самих могли забрать. Детдомовцы тоже бежали

смотреть на мертвецов. Грязные, небритые, засаленные, почему-то всегда без обуви, с синими пятками, они лежали рядом, как братья. Не зря ведь называли себя «лесными братьями».

Но самое яркое воспоминание — директор детдома Дудко. До сих пор Матвей хорошо помнит его фамилию. Лихой парень, футболист. Бывший фронтовик, демобилизованный из интендантов-ефрейторов, выдававший себя за боевого офицера, с жидким рядом медалей на груди, несмотря на молодость уже раздобревший от краденых продуктов.

В детдоме была самая лучшая футбольная команда из старших подростков. Она часто выступала против других футбольных команд — боролась «за честь детдома». К футболистам директор благоволил, подкармливал их дополнительными пайками. Но того, к кому он не благоволил...

Он вызывал такого к себе в кабинет, и каждый детдомовец знал, что это означает. Директор спокойно запирает дверь на ключ, закладывает руки за спину и своими начищенными хромовыми сапогами начинал методично гонять провинившегося по кабинету, словно футбольный мяч. Бедный серый полуголодный затюканный сиротка! И летал он, заливаясь слезами и соплями, иногда красными, по кабинету и вопил благим матом: «Ой, бильше не буду! Ой, видпустить, дядечку!»

— Знаю, что больше не будешь,— удовлетворенно говорил директор, закончив «футбольный матч», и открывал дверь кабинета.— А если будешь, еще вызову.

Матвейку он невзлюбил сразу. Наверное, потому, что во время «футбольных матчей» тот не вопил и не летал по кабинету, а стоял на месте, бледный, сцепив зубы. С таким в футбол играть неинтересно. Попинав его два раза, директор перестал вызывать в кабинет. Но при каждой встрече обязательно напоминал:

— Учись, учись, отличник. А в колонию, как подрастешь, обязательно запру.

С тех пор Матвей футбол видеть не может, даже по телевизору.

Удивительны были не порядки в детдоме — детьми они воспринимались как должное. Удивительно было, как ни в районо, ни в органах местной власти не проводали об этих порядках, насаждаемых твердой рукой (или ногой) директора-футболиста. Ведь были же проверки!

Но кто скажет правду проверяющим — затюканные, запуганные детдомовцы или разжиревшая обслуга, специально подобранная футболистом? Да и кому она нужна, эта правда? Наскоро закончив проверку, очередная комиссия Тянулась в столовую на обед, а пайки сирот, и без того урезанные, становились еще скуднее.

На проверяющих напускали «активистов» — тоже категория! Это были либо те же обласканные директором футболисты, либо приближенные балбесы — «бовдуры», как их тут называли, еле переползающие на троечках из класса в класс. В детдоме существовало твердое правило: после окончания семи классов воспитанников направляли в разные профтехучилища. Оставляли учиться только круглых отличников, вот почему директор скрепя сердце оставил и Матвейку — против похвальной грамоты не попрешь! А главное, воспитанник Капуста давал «показатель». Все были тогда рабами «показателя». Но «бовдуров» директор оставлял своей властью. Это были его порученцы. Они верно выполняли все его распоряжения, организовывали массу на мероприятия, а главное — доносили. И проводили «предварительную обработку». Не каждого провинившегося директор удостаивал высокой чести быть вызванным в кабинет пред его высокие ноги. И не сразу. Сначала били морду «бовдуры», иногда секли розгами — лозинами. И то, что директор больше не вызывал воспитанника Капусту в кабинет, воЕсе не означало, что он прекратил в отношении его «воспитательную работу». Ее продолжали верные «бовдуры». Матвейка помнит, как один из них — Виктор Начиняный перетянул его лозинкой поперек голой спины так, что в первый миг показалось: перерезал. Натренировался, видать...

И однажды Матвейка не выдержал — сел и написал письмо: «Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину». Кому же еще писать?

За ним приехали в тот же вечер и, дрожащего, перепуганного насмерть, повезли. Ну казалось бы, что взять с ребенка, который излил свои беды и горести вождю и учителю? Но, оказывается, взять было что...

Во-первых, письмо оказалось чересчур грамотным, складно написанным. Дело в том, что Матвейка много читал, перелопатил всю детдомовскую библиотеку, да и сызмальства любил читать. И даже тайком написал свою первую повесть. Толстая тетрадка в коленкоровом переплете хранилась у него под матрасом. Повесть была так себе — разная фантастическая белиберда. Чингисхан нападает на Русь, а его встречает Чапаев с пулеметами и косит всю татаро-монгольскую рать. Таким простым путем автор пытался восстановить историческую справедливость.

Вот почему он написал письмо, необычное для ребенка. Ребенок напишет: «А нас бьют. А нас плохо кормят. Приезжайте, Иосиф Виссарионович, к нам и посмотрите, что у нас делается...» Как будто у вождя и учителя только и дел, что ездить по детдомам. Но в такое тогда верили.

Во-вторых, в письме были мысли. Ну это еще куда ни шло, у ребенка мысли тоже есть, но одна мысль подействовала на тех,

кто перехватывал и перлюстрировал почту, словно красная тряпка на быка. Мысль была крамольной. Это Матвей понял уже много лет спустя после разоблачения и обнародования. Он не только описал порядки, царившие в детдоме, но и просил выпустить его мать, чтобы она забрала его из детдома. (Мать в то время находилась в заключении.) А дальше и шла та крамольная фраза: «Мало того, что война сделала многих сиротами, их еще прибавляется, когда сажают в тюрьму матерей и отцов». Как это стукнуло ему в голову — одному богу известно, все-таки верно, что устами ребенка глаголет истина.

Но те, кто читал письмо, были совсем другого мнения. Для них было совершенно очевидно, что устами ребенка глаголет какой-то затаившийся враг.

— Кто диктовал тебе письмо? — орал, стуча кулаком по столу, человек с четырьмя звездочками на погонах. — Говори!

В кабинете директора Матвейка не плакал, а тут сидел, заливаясь слезами. Наверное, подсознательно чувствовал: это не шутки. За ним приехали на машине военные, привели в кабинет, лица у всех сумрачные, строгие, а этот прямо разъярен, в глаза бьет нестерпимый свет... Может, сейчас выведут и расстреляют. И будешь лежать на площади с синими пятками.

— Я... я сам! Я сам! — повторял он, рыдая. — Сам писал!

— Врешь! Не мог ты сам написать! Тебе кто-то диктовал! Говори, кто!

И опять это страшное стучание кулаком по столу. Или капитан считал, что на ребенка больше всего воздействует стучание кулаком, или у него вообще была такая манера допроса, но стучал он почти беспрерывно часа два. Наверное, кулак у него опух. А может, натренированный был.

В конце концов Матвейку вывели из кабинета в соседнюю комнату, уже не плачущего, а судорожно вхлипывающего. *Может* быть, капитан позвонил своему начальству, а может, ему самому пришла в голову простая и здравая мысль, которая должна была прийти еще два часа назад. Подследственного заставили написать свою биографию. Точнее, автобиографию.

Уж Матвейка и выложился! Уж и постарался! Смекнул, в чем дело, и, чтобы доказать, какой он грамотный и глубокомысленный, даже такие словечки ввертывал, как «вышеуказанный», «упомянутый», «нижеозначенный». Корпел целый час...

После сравнения текстов стало ясно капитану, что сирота — вовсе не затаившийся буржуй, а писал он сам и от детской дурости, а может наивности, поделился своими мыслями.

Его выпустили глубокой ночью. Матвейка так приурезал по улицам, будто за ним гнались на машине. И на бегу повторял: «Мамочка! Мамочка! Мамочка!», хотя теперь уже было ясно, что

мамочки ему не увидеть, что письмо его так и не дойдет до вождя и учителя.

Но нет худа без добра. Не было бы счастья, да несчастье помогло. До вождя и учителя письмо не дошло, хоть и было шибко грамотное, поскольку тогда на местах решали, что положено ему читать из почты своего народа, а что не положено, и направили послание по соответствующим инстанциям. А так как исходила бумага из весьма авторитетной конторы, то реакция последовала молниеносная. И зря радовался на следующий день Дудко, потирая руки: «Ну, теперь тебе конец, отличник! (Видимо, к отличникам он с детства питал глубокое отвращение.) Колонии не миновать! Он уже там побывал, видали?»

Сразу после обеда приехала какая-то комиссия, заняла кабинет директора, и воспитанников по одному стали вызывать и спрашивать. «Бовдуры», шедшие первыми, старательно донесли директору, какие вопросы задают члены комиссии, и вскоре он уже имел бледный вид. В составе комиссии были, наверное, опытные педагоги, потому что на сей раз многие запуганные воспитанники отвечали на вопросы откровенно. И даже отказалась комиссия от пышного ужина в летней столовой, который спроворил директор, быстро покормив детей постной овсяной кашей.

Обслугу разогнали, директора выставили с треском, кажется, потом судили, Матвейка не знает, потому что как раз пришел вызов из Ленинграда, из речного училища, куда он еще раньше послал документы,— сам решил не доучиваться до десятого класса, затерроризировал его угрозами директор.

Жребий был брошен, и ветер странствий ударил в его грудь. Тогда он мыслил такими книжными фразочками, сплошь возвышенными.

...Дверь снова открылась — это он почувствовал по изменению воздуха. Прозвучали быстрые легкие шаги. Сердце вдруг замерло... Шаги... Такие знакомые.

На его лоб легла прохладная твердая ладонь.

Он широко открыл глаза.

Перед ним стояла Лена в белом халате. Она ничуть не изменилась. Та же летящая тоненькая фигурка, смелые блестящие глаза и детские припухшие губы. В профиль она напоминала Нефертити, анфас — Кузнечика. Того кузнечика, что малюют в мультфильмах,— наивного и трогательного. Что ему нравилось: она всегда улыбалась. И все воспринимала с юмором, даже свои беды.

Но теперь на ее лице отражались печаль и сострадание. Он рванулся, забыв про «систему», но удавка отбросила его назад.

— Лена?! Ты —тут? На службе у матеев?

Она молчала, все так же внимательно, изучающе глядя на него. Он заговорил расслабленно, чуть не плача:

Я искал... по всему белу свету тебя искал...

Она присела рядом. Наверное, там стояла табуретка, но он ее не видел.

А я удирала,— на губах ее появилась знакомая улыбка, которую он так любил.— Все боялась, что ты меня настигнешь и я тебя прощу.

Мост Поцелуев... Она, конечно, не забыла.

— Но ты простила?

— Вот до чего ты себя довел,— не отвечая, заговорила она чуть насмешливо.— Если бы тебя сейчас побрить, постричь, умыть, а то испугаться можно.

— Ты не видела меня в понедельник утром,— в тон ей ответил Матвей.— Но все это из поучений мордоворота. Ты по его заданию работаешь, что ли?

— А ведь я тебе говорила... тогда, на мосту. Теперь ты мои мотивы понимаешь?

— Думаешь, сейчас крикну: «Это все ты виновата!» Нет, я про графу «самокритическое отношение» помню. Сам, сам во всем виноват. Родители у меня алкоголики, в детстве я с чердака упал на темечко — травма головного мозга тоже усугубляет тягу к си-водралу...

Не отвечая, Лена профессиональным жестом взяла его за руку и начала считать пульс.

— Скажи: кризис миновал,— попросил он.

— Кризис миновал! — громко сказала она, и оба рассмеялись.

— Ты правда здесь на службе?

— Меня вызвали,— уклончиво сказала она.

— Вызвал? Кто? Из клуба... глухие охотоведы пронюхали. Как зацепили?

— Ты так часто в бреду повторял мой адрес, что они подумали: мать. И дали телеграмму. Вот я и приехала.

«Брехня все это! — хотелось крикнуть ему.— Я не бредил,, я все время начеку».

— Если это правда,— сказал он.— Если это правда...

— Я никогда не обманывала.

— Знаю. Потому и мотался за тобой. Но если это правда, достань какую-нибудь робу и повесь там, на вешалке. Робы в каптерках. Сейчас который?

— Три часа ночи.

Три! Он это чувствовал.

— Значит, через час жди меня у трапа. Я буду нести трубу.

— Но... но... — она изумленно скользнула взглядом по узлам, оплетавшим его, как кранец.— Как же ты?

— Не беспокойся. Придет один друг. Поможет. Мордовороты где — справа или слева?

— Санитары-то? Один меня встретил, сонный... проводил сюда и пошел куда-то по коридору,— она слабо махнула рукой.

— Так я и знал,— он удовлетворенно откинулся назад. Петлю, гады, все-таки туговато подвели.— Иди, если не спит, займи его разговором, потом поищи робу и повесь на вешалке. В четыре я понесу трубу.

Она послушно пошла к двери. У порога обернулась:

— А труба зачем?

— Для отвода глаз... вахтенного. Если удастся, достань брезентовые рукавицы.

Тихо прикрылась дверь.

Вот и нашел он ее... нашел. Наконец.

Правда, свидание состоялось не-так, как он рисовал много раз в своем воображении. Он — загорелый, обветренный, в морской парадной форме и с букетом цветов подходит к ней; она в светлом воздушном платье, а может быть, в белых джинсах, которые так ей шли. Они долго смотрят друг другу в глаза. Потом камера переходит на их ноги: она поднимается на цыпочки...

Каким же она увидела его теперь?

Он взглянул на себя со стороны и мучительно содрогнулся. Видок — и душок... душок из канализации, мигом въедается в тело. Но ничего, уже сегодня он предстанет перед ней другим.

Но не сейчас.

Он точно рассчитал время. Минуты три—пять на поиски мордоворота, две минуты на доклад ему, а потом они прибегут сюда, чтобы дежурить всю ночь и не дать ему уйти.

А его уже не будет.

Они вязали его по одной из привычных схем, досконально изученных Академиком. Привычка. Вот где их ахиллесова пята: закоснелость, консерватизм, привычный бег по кругу...

Руки были связаны скользящими узлами на равном расстоянии друг от друга. Он давно ослабил их, и теперь обе ладони скользнул к краям койки, нащупали толстые узлы вниз. Они распускались легко. Один, второй опали.

Осторожно вывел шприц из вены и зажал ее тампоном, который фиксировал иглу. Одна минута, за это время кровь закупоривает прокол сгустком. Так и есть, теперь руки свободны.

Он закинул их за голову и принялся освобождать удавку. С ней *особой возни не было. Оставались ноги.

Их притянули полотенцами к перекладинам, которые находились далеко вниз. Для того чтобы достать узлы, нужно сесть и спустить ноги вниз. С удавкой это сделать невозможно. Но теперь... Узлы ослабились.

Он встал и прислушался. В глазах заблестало, потом пелена стала рассеиваться. Еще не бегут, все тихо. Прошлепал босыми

ногами к двери. В углу стояли тапочки. Он надел их, осмотрел себя: рубашка, трусы, тапочки. Небогато для прогулок по улице в тихую зимнюю ночь. Но сойдет.

Вышел из двери и, не оглядываясь, пошел влево по коридору. Никто не окликал, тускло горели лампы ночного освещения.

Вот и знакомый выход, сюда алкоголики выходят покурить даже ночью, поэтому дверь закрыта только изнутри на крючок.

Он откинул крюк, вышел и пошатнулся, — но не от свежего морозного воздуха. В сознании разом все сместилось!

Он находился не на трехдечном дизель-электроходе, а в нарко на улице Мира. Не успели переправить? Отложили на утро? Значит, он их опередил.

Теперь нужно взять скорость и не давать им форы. Снег под тапочками поскрипывал, но холода не чувствовалось. Быстро дойдя до угла, завернул и рванул к парадному подъезду. Такой наглости они не ожидают. Кинутся ловить его прежде всего по задворкам, а не на центральной улице. Правда, на центральной улице сейчас его вид в трусах и тапочках шагающего по снегу мог бы вызвать удивление. Но не у кого.

Улица совершенно безлюдна, по трассе не идут машины. Он в темпе пересек ее и нырнул между большими многоэтажными домами. Все. Теперь они побегают.

Пьянящее чувство свободы охватило его. Выстраданная! Ни с чем тебя нельзя сравнить! Это знает тот, кто был ее лишен.

Холода он по-прежнему не ощущал. Но почему зима такая мягкая? Где он — на Севере или на Украине? Все вроде такое знакомое, даже улицу Мира вспомнил, а в географии никак не ориентируется. Всему виной то, мрачно подумал он, что его запутал этот дизель-электроход. Но ведь он чувствовал, как мягко покачивается на волнах судно, слышал, как хлупает вода у борта, даже гул моторов внизу. И топот матросни, и матерщину боцмана...

Скорей всего не на Севере. Там зимой в тапочках и трусах не побегаешь. А если и побегаешь, то очень недолго.

Нужно решить вопрос с экипировкой. Он вошел в первый попавшийся подъезд и поднялся на третий этаж. Три — его счастливое число. Магическое.

Послышались шаги, дверь открыл мужик тоже в трусах и тапочках, но он вписывался в обстановку — ночью в собственной квартире в чем хочу, в том и хожу. А Матвей никак не вписывался — посетитель, стоящий на лестничной площадке, да еще в такое глухое время.

— Извините, — сказал он, кашлянув, — меня только что ограбили. Возвращался с вечеринки, встретили трое... наставили... джинсы, югославские туфли... кинули вот тапочки, чтоб не простужался.

Свинные глазки мужика ошарашенно ощупывали его фигуру.
— Вы... — выдавил наконец он, — в милицию хотите позвонить? У меня нет телефона!

— Что там милиция, — махнул Матвей рукой. — Мне домой как-то добраться нужно. Живу далеко. Не найдется ли у вас каких-нибудь старых штанов? Завтра я вам обязательно занесу.

Мужик сразу же подобрался.

— Нет. Ничего нет. Ничем не могу помочь.

И тут же испуганно захлопнул дверь, будто и его собирались ограбить. Теперь Матвей точно знал, где находится.

Нет, он не на Севере. Там и квартиры, и души людей нараспашку. Он вспомнил, как ему передали ключи от квартиры совершенно незнакомого человека, и он жил там полгода, пока хозяин находился в отпуске. Даже мелочь, рассыпанную на телевизоре, с места не стронул! Честность человека там считается аксиомой, и нужно сделать что-то недостойное, чтобы тебя стали считать жуликом. А тут все наоборот. Сколько бы честных и благородных поступков ты ни совершил, все равно тебя считают жуликом. «Не может быть, чтобы не крал. Все крадут...»

«Свинорыло! — думал Матвей, спускаясь по лестнице. — Таких здесь тьма. «Ничем не могу помочь» — вот их жизненное кредо. Машина, дача, десять или двадцать тысяч на книжке, а ничем не может помочь... Рваных штанов у него нет!

У меня ни гроша, у всех моих знакомых по нарко — вошь на аркане, сколько же тогда лежит в чулке у этого?» И тут его осенило: «Как же он отдаст свои рваные штаны, если сам всю жизнь в них ходит? Что завтра натянет?»

Он горько рассмеялся, стало немного легче.

Нужно было начинать с другого конца. Он вышел и окинул взглядом фасад многоэтажного дома. Ага, одно окошко светится! «Если там гудят, то меня встретят нормально. Может, и допинг получу...»

Вошел, вычислил квартиру и позвонил. Открыла пожилая женщина с заплаканными глазами. И даже не удивилась.

Матвей, стуча зубами, — холод уже начал действовать, — повторил байку про ограбление. Выглядело — вкупе со стучащими зубами — правдоподобно.

— Может, у вас муж есть, так какиенибудь штаны...

— Мужа у меня сейчас нет, — ответила она печально. — Но штаны я вам дам.

Ушла и вынесла... новенькие джинсы в целлофановом пакете, сквозь который виднелись разные блямбы «Made in...».

— Может быть, такие, какие с вас сняли, — она вдруг посмотрела на него мудрым всепонимающим взглядом. — Кажется, пойдут.

Матвей трясущимися руками разорвал пакет, натянул джинсы точно, впору. Блямбу на нитке не стал срывать, засунул внутрь — Я никогда никого не обманываю,— сказал он, — Завтра их верну. И с процентами.

Она слабо и неопределенно махнула рукой:

— Носите...

Потом посмотрела на его ноги:

— У вас, кажется, и ботинок нет?

— Югославские были... отобрали,— когда-то у Матвея действительно были югославские ботинки, вот и запомнил.

Она молча ушла и вынесла коробку с новыми туфлями. Импорт.

— Не югославские, но все же...

Матвей смотрел то на нее, то на коробку. Все плыло перед глазами.

— Да где ваш муж-то?

— Далеко... Там, где и другие мужья.

Надел туфли — и они по размеру.

— Ну... ну,— он не находил слов.— Вы сами не знаете, какая вы женщина! Какой человек!

Она только покачала головой.

— Спасибо! Завтра принесу! Землетрясение не остановит.

На пороге он задержался.

— Скажите хоть, как вас зовут?

Не получив ответа, он вышел и посмотрел вокруг словно бы обновленными глазами. Оказывается, и здесь люди живут.

Теперь он был полностью экипирован. Правда, на нем одна рубашка, но она плотная и темная, издали смахивает на куртку.

Пошел не на центральную улицу — там уже могли барражировать группы захвата, а нырнул в чахлый скверик, пересек его, осторожно огляделся на выходе. Вернулся и сел на крайнюю скамейку, в нагрудном кармане рубашки нащупал сигареты, даже мордовороты их не отбирали, и спички.

Он закурил, голова приятно закружилась. Стал засовывать спички в карман джинсов, и рука вдруг сбоку ощутила что-то. Он посмотрел.

На скамейке стоял черный портфель.

Почти новый, но уже измятый, слегка обшарпанный — видно было, что владелец его не жалуется, таскает всюду с собой, набивает чем попало. Руки прыгали, когда он привычно отщелкивал замок.

Так и есть. Внутри две «бомбы», или два «гуся», их по-разному называют, эти большие бутылки вина, мрачные, с таким же мрачным содержимым — низкосортной, но крепкой «бормотухой»

местного производства. стакан, пачка вафель. Больше ничего.

Это был его портфель.

Знаменитый, известный всем не только по виду, но и по содержанию. В одной конторе как-то нарисовали шарж: «Портфель М. Капусты в разрезе» — бутылка водки, огурец, стакан. Только они допустили маленькую ошибку: по одной бутылке он никогда не носил. Иногда в портфель входило до восемнадцати бутылок, почти ящик, и... одна тонкая противоалкогольная брошюрка.

А вот сейчас — два «гуся».

Но почему портфель здесь? Кто его принес, кто оставил? Кто-то знал, что он здесь пройдет?

Ладно, сначала допинг.

Сорвал тугую пластмассовую пробку, налил полный стакан вина. От него ломило зубы — уже заглодело, значит, принесли его сюда два-три часа назад. Лена?

Но откуда она могла знать? Она ведь осталась на дизель-электроходе... тьфу! на улице Мира.

Как бы то ни было, идет темная игра. И эта женщина — джинсы, туфли, все подогнано по нему, и она будто ждала его. «Носите...» Интересно, а если бы он попросил пальто?

Надо уходить. Ударом ладони он снова впечатал пробку в горлышко, зашелкнул замок и, привычно подхватив портфель, быстро пошел из парка.

Не озираясь, пересек улицу, инстинктивно свернул направо и остановился, потрясенный.

Перед ним высился Дальневосточный университет.

Значит, он не на Украине, а во Владивостоке, во Владике, как называют его все моряки!

Не рассуждая, он свернул налево и пошел вдоль пологого парапета вниз. Навстречу ему кто-то поднимался. По конфигурации, расслабленной походке и склоненной набок голове он уже знал, кто это. В ушах зазвенело.

Удрав с «дизель-электрохода», он собирался поехать или в крайнем случае пойти к знакомому художнику, который всегда радушно принимал его. В тесной мансарде, почти сплошь заставленной картинами, эстампами, обломками гипсовых фигур и прочей дребеденью, он жил, уйдя от жены и всего мира, сам варил себе на электроплитке какую-то бурду и самозабвенно творил, веря в свою звезду. Когда пил, когда не пил, но выпить у него всегда имелось.

И, бывая у него, Матвей часто вспоминал своего владивостокского друга, тоже художника. Впрочем, все художники чем-то неуловимо похожи.

Теперь этот друг брел ему навстречу.

Через несколько шагов он уже различил черты склоненного

к правому плечу лица, характерной особенностью которого был свернутый набок нос. Неизвестно, то ли разбили ему нос в пьяной драке, то ли с таким он родился,— Матвей не расспрашивал, не принято это среди культурных людей.

Как-то в одном городе он познакомился со студенткой художественного училища с экзотическим именем Искра. Искра Ким. На самом деле это была не искра, а целый пожар. Она все делала самозабвенно: училась, любила, ненавидела. В ее миндальных глазах горела такая любовь и ненависть, когда она смотрела на него, что ему становилось неуютно. «А ведь я перекасти-поле,— думал он уныло.— Опять сорвусь, что ей останется? Ребеночек? Невелико утешение...»

Однажды он проболтался ей, что знает всех художников города. Она так и вспыхнула. Кумиры! Ее кумиры, которых она видела только издали, изучала манеру каждого как откровение, кое-кому подражала...

— Познакомь! — попросила,— Проведи по их мастерским. Мне бы только посмотреть, как они работают...

В мансарды художников они пошли вечером. Или вечер такой был неудачный, или такая уж сложилась традиция. Когда они прошли три этажа мансард и выбрались наконец на улицу, Искра спросила:

— Скажи... скажи, тут есть кто-нибудь трезвый, а?

Он и сам уже набрался во время визита — там хлопнул рюмку, там стакан: художники люди гостеприимные, да и слушать их рассуждения о кубизме, квадратизме, трапециизме на трезвую голову муторно, невмоготу. Как-то не усваивалось.

— Должен быть,— ответил Матвей твердо — нужно ведь обнадеться.— Но не попался. В другой раз...

Времена были!

В одной мансарде шел важный производственный разговор. Сюда как раз заглянул на огонек художественный редактор местного издательства, или, как его называли, «главный художник» Горбунков. Родом откуда-то из-под Перми, это прямо на лице его было написано — нос сапожком, губы врасшлеп, лопоухий. Его еще называли ласково: пермяк — солёны уши. Но малый усидчивый, работающий — даже когда выпивали, не выпускал из рук штихеля, все долбил свои гравюры.

— Разве можно так работать? — спросила Искра, когда они медленно шли по набережной. В ее голосе звенели слезы.

— А ведь натворили! Видала, сколько работ? И каких! Но в конце дня нужно снять напряжение. А может, у них праздник какой? День святого Рублева... Нужно было спросить.

Он напомнил ей о том, что творческие люди своеобразные, трудные. Они выкладываются без остатка, а потом чувствуют себя

канов? Техника, допустим, им позволяла, но гуманизм препятствовал или какие-то космические законы. И тогда они, гады,— шепот алкаша-ученого становился хриплым,— дали людям алкоголь. Повсеместно научили гнать брагу, самогон, делать вино, бормотуху. Насаждали, нащептали традиции. И когда человечество ударились в повальное пьянство, улетели — теперь люди сами себя изведут.

Может, они и делали попытку уничтожить человечество — устроили потоп. А когда обнаружили, что кое-кто спасся, тут же его и напоили. Да еще запас сивухи подсунули. Вот почему Ной и наклюкался. А ведь ему было тогда уже шестьсот лет! Шестьсот лет жил человек трезвенником, капли в рот не брал — и все коту под хвост. С чего бы это он на шестисотом году трезвой жизни ударился в пьянство?

— А может быть и другое,— продолжал далее ученый-алкаш.— Взяли они на борт детей разных народов, изменили им хромосомы — генная инженерия такое допускает — и привили наклонность к пьянству. Заложили, так сказать, мину в представителей рода человеческого. От них и пошли дети-алкоголики, дебилы, кретины. С тех пор и пьем...

Когда же я напоминал ему о животных-пьяницах, он и этому находил объяснение:

— Могли сделать еще проще: заложили предрасположенность в простейшую клетку, праматерь всего живого. Не надо и с де-тишками возиться...

Действительно, думал я, даже если рассматривать этот эпизод с Ноем с религиозной точки зрения, он тоже ни в какие ворота не лезет. Бог избрал праведного человека, самого достойного, чистая анкета, морально устойчив — шутка ли, шестьсот лет не замечен! А тот и оправдал доверие — едва вылез из ковчега, вошел в штопор. И видимо, в затяжной — по опыту, я знал, что у алкаша желание раздеваться догола появляется где-то на седьмой—десятый день штопора.

А что такое нектар богов, нирвана, как не иносказательное обозначение алкоголя и пьяного кайфа? Наверное, инопланетяне, соблазняя людей выпивкой, указывали на небо, откуда прилетели и обещали после смерти беспробудное пьянство. Дескать, там никакой борьбы и постановлений, пойло бесплатное без наценок и очередей. Только скорее спивайтесь. Одно совершенно ясно: алкоголь был изготовлен специально. Но кем и для чего?

От напряженных раздумий в голове у меня слегка гудело, но мысли были ясные, четкие. Тремор — характерное дрожание рук после затяжного пьянства — давно прекратился, похмельный синдром и тяга исчезли. Чистый таежный воздух, напоенный ароматами лечебных трав и цветов, тяжелая физическая работа и ку-

пание в ледяной воде Бикина сделали свое дело. Уже несколько дней я засыпал мгновенно, без всяких седуксенов, элениумов, триоксазинов и сны были легкие и ясные.

Я вспомнил кошмары, сопровождавшие каждый выход из штопора, и поежился. То я брожу среди осклизлых туш лошадей, коров, свиней, с которых содрана шкура, сочится кровь, но они живые и очень злобные — то и дело бросаются на меня, оскалив зубы, безглазые и жуткие, а я удираю и падаю, никак не могу удрать. То без конца гонится за мной кто-то безликий и мохнатый, с клыкастой пастью, распахнутой прямо на животе. Из ямы выскакивает осьминог и оплетает меня щупальцами, кривым клювом ищет сердце. Наплывают звериные хари, и некуда от них деться...

Особенно запомнился один кошмар. Мальчишка, коротко остриженный, как стригли нас когда-то в детдоме, валялся в пыли посреди дороги лицом вниз, а его терзала бешеная собака. Вокруг стояли люди, но боялись подойти. Я бросился мальчишке на помощь — даже в снах, даже в кошмарах срабатывала эта дурацкая черта моего характера — бросаться другим на помощь. Но собака вдруг обернулась и с такой невыразимой злобой, полыхавшей в желтых глазах, оскалила два ряда острых зубов, что я застыл, парализованный страхом. Так и осталось в памяти: ледяной взгляд бешеных глаз, ряды острых, блестящих, как у акулы, зубов. Мальчишка с разорванной в клочья спиной, весь в крови...

Изучив всю литературу, какую мог достать, много раз беседуя с врачами, алкоголиками, бросившими и не бросившими пить, я понял, что обречен: наследственность, обстоятельства, обстановка... «Никаких лекарств от алкоголя нет», — сказал один. «Из единоборства с зеленым змием еще никто не выходил победителем», — сказал другой.

«Итак, что же мы имеем, как говорят на производственных совещаниях? — уныло думал я, сидя в заливе пантачей ночью, под крупными таежными звездами. — Алкоголизм в какой-то стадии. Правда, я еще здоров, ничего не болит, но это может быть лишь преддверием грозной болезни, которая положит в одночасье, как моего друга Альберта Евина, или просто так называемым алкогольным здоровьем...»

Как-то пришлось беседовать с одним экспертом.

— Вот вы постоянно делаете вскрытия...

— Тридцать пять лет! — подтвердил он с гордостью.

— Скажите, что показывает вскрытие алкоголиков? Какой у них наиболее типичный букет болезней?

— Никакого, — твердо сказал он. — Организм у пьяницы — во! — Он показал большой палец, — Только переполненный алко-голем.

канов? Техника, допустим, им позволяла, но гуманизм препятствовал или какие-то космические законы. И тогда они, гады,— шепот алкаша-ученого становился хриплым,— дали людям алкоголь. Повсеместно научили гнать брагу, самогон, делать вино, бормотуху. Насаждали, наштапали традиции. И когда человечество ударились в повальное пьянство, улетели — теперь люди сами себя изведут.

Может, они и делали попытку уничтожить человечество — устроили потоп. А когда обнаружили, что кое-кто спасся, тут же его и напоили. Да еще запас сивухи подсунули. Вот почему Ной и наклюкался. А ведь ему было тогда уже шестьсот лет! Шестьсот лет жил человек трезвенником, капли в рот не брал — и все коту под хвост. С чего бы это он на шестисотом году трезвой жизни ударился в пьянство?

— А может быть и другое,— продолжал далее ученый-алкаш.— Взяли они на борт детей разных народов, изменили им хромосомы — генная инженерия такое допускает — и привили наклонность к пьянству. Заложили, так сказать, мину в представителей рода человеческого. От них и пошли дети-алкоголики, дебилы, кретины. С тех пор и пьем...

Когда же я напоминал ему о животных-пьяницах, он и этому находил объяснение:

— Могли сделать еще проще: заложили предрасположенность в простейшую клетку, праматерь всего живого. Не надо и с де-тишками возиться...

Действительно, думал я, даже если рассматривать этот эпизод с Ноем с религиозной точки зрения, он тоже ни в какие ворота не лезет. Бог избрал праведного человека, самого достойного, чистая анкета, морально устойчив — шутка ли, шестьсот лет не замечен! А тот и оправдал доверие — едва вылез из ковчега, вошел в штопор. И видимо, в затяжной — по опыту, я знал, что у алкаша желание раздеваться догола появляется где-то на седьмой—десятый день штопора.

А что такое нектар богов, нирвана, как не иносказательное обозначение алкоголя и пьяного кайфа? Наверное, инопланетяне, соблазняя людей выпивкой, указывали на небо, откуда прилетели и обещали после смерти беспробудное пьянство. Дескать, там никакой борьбы и постановлений, пойло бесплатное без наценок и очередей. Только скорее спивайтесь. Одно совершенно ясно: алкоголь был изготовлен специально. Но кем и для чего?

От напряженных раздумий в голове у меня слегка гудело, но мысли были ясные, четкие. Тремор — характерное дрожание рук после затяжного пьянства — давно прекратился, похмельный синдром и тяга исчезли. Чистый таежный воздух, напоенный ароматами лечебных трав и цветов, тяжелая физическая работа и ку-

пание в ледяной воде Бикина сделали свое дело. Уже несколько дней я засыпал мгновенно, без всяких седуксенов, элениумов, триоксазинов и сны были легкие и ясные.

Я вспомнил кошмары, сопровождавшие каждый выход из штопора, и поежился. То я брожу среди осклизлых туш лошадей, коров, свиней, с которых содрана шкура, сочится кровь, но они живые и очень злобные — то и дело бросаются на меня, оскалив зубы, безглазые и жуткие, а я удираю и падаю, никак не могу удрать. То без конца гонится за мной кто-то безликий и мохнатый, с клыкастой пастью, распахнутой прямо на животе. Из ямы выскакивает осьминог и оплетает меня щупальцами, кривым клювом ищет сердце. Наплывают звериные хари, и некуда от них деться...

Особенно запомнился один кошмар. Мальчишка, коротко остриженный, как стригли нас когда-то в детдоме, валялся в пыли посреди дороги лицом вниз, а его терзала бешеная собака. Вокруг стояли люди, но боялись подойти. Я бросился мальчишке на помощь — даже в снах, даже в кошмарах срабатывала эта дурацкая черта моего характера — бросаться другим на помощь. Но собака вдруг обернулась и с такой невыразимой злобой, полыхавшей в желтых глазах, оскалила два ряда острых зубов, что я застыл, парализованный страхом. Так и осталось в памяти: ледяной взгляд бешеных глаз, ряды острых, блестящих, как у акулы, зубов. Мальчишка с разорванной в клочья спиной, весь в крови...

Изучив всю литературу, какую мог достать, много раз беседуя с врачами, алкоголиками, бросившими и не бросившими пить, я понял, что обречен: наследственность, обстоятельства, обстановка... «Никаких лекарств от алкоголя нет», — сказал один. «Из единоборства с зеленым змием еще никто не выходил победителем», — сказал другой.

«Итак, что же мы имеем, как говорят на производственных совещаниях? — уныло думал я, сидя в заливе пантачей ночью, под крупными таежными звездами. — Алкоголизм в какой-то стадии. Правда, я еще здоров, ничего не болит, но это может быть лишь преддверием грозной болезни, которая положит в одночасье, как моего друга Альберта Евина, или просто так называемым алкогольным здоровьем...»

Как-то пришлось беседовать с одним экспертом.

— Вот вы постоянно делаете вскрытия...

— Тридцать пять лет! подтвердил он с гордостью.

— Скажите, что показывает вскрытие алкоголиков? Какой у них наиболее типичный букет болезней?

— Никакого, — твердо сказал он. — Организм у пьяницы¹ — во! — Он показал большой палец. — Только переполненный алко-голем.

И это была еще одна загадка. Алкоголь, как рак, предпочитал безраздельно владеть организмом. Человек мог спать в холодной луже, на снегу, есть тухлятину, получить тяжелые ушибы — от всего этого нормальный человек долго бы маялся, но с алкаша все как с гуся вода, пока белая горячка не заставляла его выскакивать голышом и с топором гоняться за воображаемыми чертями.

Осознав грозящую опасность, я разработал свои методы борьбы и на время затаивался, ложился на дно, покидая собутыльников. Это называлось «период зализывания ран». Изменить образ жизни я не мог, для этого нужно было сменить работу, а я ее любил. Если я брошу ее и вернусь на флот, то в первый же срыв с треском вылечу. Сейчас на флоте порядки куда строже, чем тогда, когда я начинал, но даже и тогда эти штучки не проходили. Значит, после этого прямой путь — на дно, в бичи. А я еще кое-как барахтался на поверхности, и на дно мне не хотелось. Не потому, что там очень уж неуютная жизнь,— в конце концов ко всему привыкает, со всем смиряется человек, особенно пьющий, но передо мной стоял пример отца, вдруг исчезнувшего без вести (в последние годы жизни он был настоящим бичом, однажды явился к сестре оборванный и в дамских туфлях), и это в наше мирное время! Мне не хотелось так бесславно исчезнуть, чтобы никто не знал, «где могилка моя», я должен еще кое-что в жизни сделать.

Да, я должен это сделать. Даже если дойду до красной черты, остановлюсь, не переступлю. Разыщу Лену, вытравлю из себя алкоголь и воспитаю детей. Но не таким примером, каким воспитывали патриции из Древнего Рима. Дети и знать-то не будут, какие круги ада прошел их отец. И, может быть, узнают лишь тогда, когда я завершу это. Но тогда они поймут. И простят. Зато никогда не будут пить. Вырастет новое поколение — здоровое, жизнерадостное, не знающее, что такое похмелье, синдромы, треморы, нарко, ЛТП, не ощущающее унижительного чувства бессилия и беспричинного страха.

Я сделаю это.

...Просидев совершенно неподвижно и беззвучно более двух часов, я не чувствовал ног и решил возвращаться. «Разомнусь на косяке, потом снова вернусь».

Но когда начал выгребать из укрытия, единственный негромкий звук пронзил меня, как выстрел. Я замер...

Так и есть: звук повторился. Словно в конце залива плеснула крупная рыба. Раз, другой, третий... Потом явственно донеслось: по воде кто-то бредет. От этого звука охотника обсыпает жаром, перехватывает дыхание. В заливе пасся изюбр.

Не вытаскивая весла из воды, я погнал оморочку в конец за-

Лива, К источнику звука. Но раза Два или три все же хлопнул веслом, и, кажется, снова скрипнула проклятая оморочка. Этого было достаточно: когда я приблизился к концу залива, меня встретили безмолвные кусты. Луч фонаря, вспыхнув толстым белым конусом, осветил мутные облачка ила в воде у берега, там, где только что пасся изюбр. Он услышал меня и ушел.

Когда спустя полчаса я вышел в Бикин и, преодолев сильное течение, пристал к косе, там разгорался небольшой, но жаркий костерок. Июльская ночь у горной реки холодная, стылая. Мой напарник, а точнее, наставник и проводник Дмитрий Симанчук быстро оживлял костер. По своей привычке он молчит, зато весело бормочет пламя и недовольно пыхтит чайник. Потом, на удивление, разговорился и Симанчук.

— Что, ушел изюбр? А-а, ты как хотел? Его трудно подкараулить.

Мы лежали на камнях, сонно шумел Бикин.

— Вот ты, охотничек, думаешь: взял карабин, патроны, засел в заливе и свалил пантача? Не-ет, так не бывает.

— Да знаю я, Митя! Стараюсь. Вот и на оморочке насобачился ходить. На веслах, правда.

В селе Красный Яр я подрядился к знаменитому охотнику Симанчуку, который согласился доставить меня в Улунгу при условии, что мы будем по пути охотиться в тех заливах, которые он укажет. Он дал мне свой карабин и заставил стрелять в консервную банку, стоящую на пне метрах в пятидесяти. Когда с трех выстрелов я трижды сбил ее (пригодились уроки стрельбы в училище!), он остался доволен. Взял под свое поручительство у охотоведа еще один карабин, патроны и вручил мне. Вместе набрали продуктов: консервов, крупы, сухарей, мешочек муки и бидончик подсолнечного масла,— и рано утром отчалили.

Вечером, конечно, посидели, но скромно — бутылка на двоих, а наутро я постановил: напрочь забыть о сивухе. И забыл. Будто не существовало ее никогда.

— Оморочку освоил верно,— продолжал зудеть Симанчук,— Только еще многому надо научиться, очень многому! На оморочке надо неделю тренироваться, две недели, месяц...

— Может, скажешь, год? — глаза у меня слипаются, и я никак не могу взять в толк, чего разворчался старый,— Я тут ненадолго. Но пантача хотел бы увидеть.

Охотой я не на шутку увлекся. «Может быть, действительно осесть тут, построить избушку на берегу Бикина да и... существовать?» Но сначала надо увидеть Лену. А перед этим — пантача. Что же это за зверь такой? Мне казалось: разгадав его тайну, я узнаю что-то важное.

— Уви-и-идеть! Смотри...

Я смотрю на его лицо, освещенное красным пламенем. Оно хмурое, даже недоброе. Нет, оно совсем не похоже на лукавое и приветливое лицо того Дмитрия Афанасьевича, с которым я познакомился в Красном Яре. Даже подумал тогда книжной фразой: «Судьба давила и мяла его, как медведь-шатун. Но когти оставили только добрые следы на лице охотника. Это видно, когда он улыбается, а улыбается он почти всегда».

Теперь Симанчук не улыбается. И никакой доброты не написано на его лице, только хмурость и озлобление. Выдумал я эту доброту. Показная она, только для знакомства. А прижмет жизнь, вот тогда и появляется истинное лицо. Оно уже не лучится лукавой добротой старого таежника-всеведа.

Я забываю о том, что не лучится добротой и мое лицо. А будь передо мной зеркало, увидел бы физиономию помрачнее, чем у своего напарника. Потому что не везло нам. А должно было повезти. Обязательно.

Тут все вроде наверняка. Охотнику Симанчуку, как сказали мне в селе, всегда везет. Есть такие везучие охотники. Пойдет кабана искать — стадо встретит. Это про них поговорка: «На ловца и зверь бежит». А за Симанчуком везение чуть ли не закреплено официально. «Уж если Симанчук не добыл, то...» безнадежно машут рукой.

Я тоже сейчас везучий: первый раз на охоте, а новичкам в игре и охоте обязательно везет. Неизвестно, как потом, а в первый раз должно повезти. Мне не нужно даже уметь стрелять, ездить на оморочке и часами сидеть в засаде не шелохнувшись. Это уж чересчур, все равно что, сидя в машине, падающей в пропасть, взять да и застрелиться.

И казалось, если две такие везучие личности выйдут в тайгу...

Правда, звери попадались. На второй день, когда мы отошли только километров на тридцать от Красного Яра и даже не зарядили карабины, лодка вошла в ущелье. Бикин здесь стиснут сопками, струится плавно, весь налитый мощной силой.

Впереди шла лодка, и с нее вдруг закричали, замахали руками, шапками. Посреди реки виднелась черная голова с торчащими круглыми ушами. Она плыла прямо к лодке, у которой, как водится, в такой момент заглох мотор. Там сидели старик Лабало со старухой и парни с метеостанции.

— Медведь! — крикнул Симанчук и в азарте выключил мотор.

Я схватил карабин. Он был незаряжен, но в нагрудном кармане лежало два патрона. Медведь уже подплывал к лодке. Я выстрелил, и бурунчик воды вспыхнул неподалеку от ушастой головы. «Еще пару метров, и буду целиться по ушам», — я сунул второй патрон. К счастью, медведь сразу же повернул от лодки Лабало, но, не сказать, что к счастью, направился к нашей лодке.

Симанчук ожесточенно дергал заводной шнур. Мотор рыкнул, но не завелся. Услышав звук, голова моргнула маленькими глазами и снова повернула — на этот раз к берегу. Когда медведь вылезал, я снова выстрелил для острастки, и топтыгин, рвякая, пустился наутек. Через пару минут лодку прибило течением как раз к тому месту, и на толстом стволе похилившегося тальника мы увидели белые длинные царапины. Вдали затихал треск, отмечавший передвижение удиравшего зверя.

— Да,— сказал Симанчук.— Теперь мотор заведется,— он дернул, и послышался мерный рокот. Вот так всегда.

— Медведи сейчас злые — страсть! У них гон. На всех кидаются. Птичка пискнет в кустах—кусты дотла изломают. Но это гималайский, белогрудка, его можно отпугнуть. А бурый нас и под водой нашел бы...

Вечером мы пристали у табора охотника Дунповича, чем вызвали его бурный гнев.

— Всех пантачей мне распугали!—кричал Дунпович, бегая у своего балагана.— Ездите вечером, гремите мотором... Кто ездит вечером?

— Мы,— Симанчук устало вытащил нос лодки на берег.— Ну, угощай. Что там у тебя на ужин?

Над лениво дымившимся костром коптились багровые щучьи тушки. Дмитрий сиял, попробовал, скривился: еще не готова.

— Вот рыба пареная,— захлопотал Дунпович, пододвигая большую закопченную кастрюлю, до половины наполненную рассыпчатыми кусками рыбы.— Чай уже вскипел, кажется.

Он мелко нарезал бок сырого ленка, освобожденного от костей, присолил:

— Ешьте талахон! Хороший, вкусный талахон.

И сырая рыба, и сырое мясо, мелко нарезанные и посоленные, называются у охотников талахоном.

Дунпович внимательно рассматривал мой карабин, пока мы ели.

— Хороший карабин. Новый. Охотовед дал? А потом его сдашь? Та-ак... Запомню его номер: пятнадцать пятьдесят восемь. Приеду в село, скажу охотоведу: давай мне карабин пятнадцать пятьдесят восемь, мой уже старый,— поднялся в волнении и вышел из балагана, повторяя цифры с нежностью, как имя любимой.

— Я тебе запишу, сказал я.— Чтобы не забыл.

— Я не забуду!

Тут вдалеке зарокотал мотор, и Дунпович опять забежал по берегу в озлоблении:

— Кто это едет? Совсем без головы едет! Пантач в залив идет, а его мотором пугают!

Лодка мягко ткнулась в берег, из нее выскочил коренастый

охотник с широким скуластым лицом. Дунпович сразу замолчал. Что-то в облике новоприбывшего показалось мне странным, но лишь полчаса спустя я понял: он был одноруким. Осознав это, я оторопел: как же он ездит по бурной реке, как управляется с мотором, как стреляет из карабина, как, наконец, разделявает зверя?

— А что? — ответил он, когда я набрался наглости спросить. — Как за столом, так и в тайге. Управляюсь...

Он действительно стал быстро управляться с ужином Дунповича, пока тот сетовал на поздних бродяг и развивал проект ограждения своего участка большими плакатами: «Позже восьми часов не ездить, штраф... тюремное заключение...» и т. д.

Собственно, Дунпович — это отчество, а звали его Дмитрий Канчуга. Однако в Красном Яре половина жителей носит фамилию Канчуга. А скажи: Дунпович — сразу станет ясно, о ком речь.

Прибывшего охотника звали Гришей. Суанка Григорий Чунчеевич. Воевал, был снайпером. Потом ранило, оторвало руку осколком. Получает пенсию, мог бы сидеть дома, но тайга зовет. Да и не удержишь на пенсии. Вот и охотится. С одной рукой.

Но этой рукой он очень умело управляется. Снял с лодки мотор, вынес на берег, прислонил к коряге, принялся копать.

— Давай помогу, — сунулся было я.

— Сам справлюсь, — отмахнулся он.

Все сам, да так ловко, что мне вдруг подумалось: вторая рука у человека лишняя. Он успевал даже в затылке почесать и задумчиво побарабанить пальцами по кожуху мотора.

Незаметно, но ему стали все-таки помогать. По ходу ремонта Гриша просил у Дунповича то запасную свечу, то шнур, то какую-то шестеренку, так что тот опять поднял крик:

— Ты что, грабить меня приехал?

Однако давал все, что просил Гриша. Вскоре мотор был полностью отлажен.

Стемнело. Вечером мы едва втиснулись в балаган Дунповича. Балаган — это несколько жердей, поставленных конусом и крытых корьем. Перед входом в балаган день и ночь дымится костерок, разгоняя комаров.

— В четыре пойдем в залив, — сонно пробурчал Симанчук.

— А как проснемся? — заворочался я. — Будильника-то нет.

— Я подниму, — успокоил охотник. Потом, помолчав немного, сказал вдруг ясно и бодро: — Пора вставать.

— Да ты что? — я разлепил глаза и посмотрел на часы: четыре.

Высоко в кронах шумел ветер, и только теперь я почувствовал, как промерз. Костер у входа погас, на его пепле спала собака. Дрожа, мы стали собираться. Лодка, мокрая от росы, тяжело от-

валила от берега, и Симанчук, стоя на корме, неслышно погнался ее шестом в залив.

О, эти необыкновенные, словно сказка, заливы! Они навсегда остались в моей памяти. Посмотришь с реки — небольшое устье, иногда совсем закрытое кустом или нависшей кроной дерева. Протискиваешься в него — и попадаешь в неведомое царство, тридевятое государство. Вода совершенно прозрачна и спокойна, ее тесно обступили деревья, густой кустарник и трава в рост человека. Колонны стволов — как органичные трубы. Каждый звук гулко отражается от них, потом дробится в мелком кустарнике. На воде слоями лежит туман. Лодка идет и идет, и за каждым поворотом открывается новый плес, и кажется, что десятки глаз смотрят из густой чащи. Руки судорожно сжимают карабин, в воде у берега тянется пунктир взбаламученного ила.

— Опоздали... — Дмитрий плюнул в воду.

Дикая и своевольная река Бикин. Сквозь сопки, сквозь тайгу пробила себе путь. Но тайга тоже умеет воевать. Вот выдвинула она авангард: деревья, крепко вцепившиеся в берег корнями. Они не дают размывать грунт, стойко держатся до последнего и, даже погибая, падают в воду, пытаются преградить ей путь. Но ревущий поток отшвыривает их в сторону, на многочисленные заломы. Там, причудливо переплетаясь, трупы погибших деревьев высыхают, отбеливаются солнцем и дождями. Устья многих проток закрыты заломами. Вода перед ними вздувается прозрачным горбом и с ревом уходит под залом. Горе пассажирам лодки, если внезапно здесь откажет мотор! Как скорлупку, перевернет ее водоворот, захлестнет волна, а пассажиров затанет под залом. И будет биться о мертвые деревья пустая, осиротевшая лодчонка, теперь никому не нужная...

Правда, людей, не знакомых с рекой, местные власти попросту не пустят без опытного сопровождающего. А тот хорошо знает, как вести лодку, чтобы не угодить под залом. Однако существует опасное место, которое никак не обойти. Это горб вспученной воды перед заломом, по которому нужно обязательно промчаться, чтобы вырваться на стрежень. И в этот-то момент...

Как раз в этот момент мотор, четыре часа работавший без единого чиха... замер. Сквозь рев воды я услышал крик и обернулся. Симанчук бешено работал веслом, стараясь преодолеть засасывающую тягу воды. Я схватил шест и, окунув его в воду, чуть не вывалился за борт — шест не доставал дна.

В конструкции местных лодочек, при всех их недостатках, есть одна счастливая особенность. Они настолько узки и обтекаемы, что почти не оказывают сопротивления воде. Я судорожно ухватился за веточку, жалкий прут, и... удержал лодку. Тогда стал подтягиваться, чтобы вцепиться в более надежный сук.

В ту же секунду шедший за нами Гриша выскочил на горб перед заломом и... у него тоже заглох мотор. Мы оторопело смотрели на него, упуская драгоценные мгновения.

Зато ни одного не упустил Гриша. Он словно ожидал, что мотор откажет. В его руке мгновенно очутилось весло. Зажав его левой кулеть, он сильно гребанул, потом схватил шест, упер его в залом и стал отталкивать лодку, изогнувшись над ревающим потоком. Лодка отходила по сантиметрам... и вдруг скользнула в сторону, за корягу. Даже не привязав лодку, Гриша замотал шнур за стартер, дернул, мотор заработал, и охотник промчался мимо, международным жестом покрутив пальцем у виска.

Тут и мы зашевелились. Симанчук оживил мотор, и мы пошли в кильватере за Гришей, благополучно добрались до следующей стоянки-табора и высадились. К нам подошел хозяин Александр Сигдэ.

— Ба, ба, ба,— сказал он, широко улыбаясь.

— Что «ба, ба, ба»? — Гриша обнял его за плечи и вместе с ним вошел в зимовье — настоящий рубленый дом. Внутри — широкие нары по стенам, в углу составлены ружья, есть полка с книгами, висит бинокль, на столе навалены сухари, мешочки с сахаром, мукой, крупами... Хозяин радушно предлагал чай, закуску, не произнося ни единого слова,— он был глухонемым. В детстве чем-то переболел, оглох и так и не научился говорить.

Сначала я не поверил.

«Тут какой-то подвох,— думал, хрустя сухарями и напряженно наблюдая за ловкими движениями Сигдэ, открывавшего банку сгущенки.— Ведь охотник — это прежде всего острый слух! Чингачук... хрустнувший сучок. Если бы Чингачук был глухим, его ухлопали б на первой странице, и не родилось бы многотомное повествование. А охотиться на пантача в полной темноте без острого слуха—бессмыслица!»

Но вот они висят на стене — распятые свежие шкуры двух пантачей. Другие промысловики еще и одного не видели, а он сдал уже две пары пантов.

За чаем Гриша поведал, как охотится его друг. Ставит оморочку носом к берегу у тропы, по которой ходят изюбры в залив. И зверь выходит прямо на него... Однажды перепуганный бык, внезапно увидев перед собой человека, прыгнул не назад, а вперед и угодил в оморочку охотника. Опрокинул ее, но оба спаслись: зверь тут же удрал, а Саша вылез из воды.

Прежняя жизнь казалась сейчас мне маленькой, словно смотрел я на нее в перевернутый бинокль. Вдруг подумалось: «Вот этих двоих куда-нибудь бы в нарко, алкашам показать. Те чуть невзгода — за стакан. А эти вон в какую беду попали, а не сломались, не стали топить ее в сивухе...»

Захрустела галька на берегу. Какой-то человек с бородой лопатой, в рваных парусиновых штанах и такой же куртке, надетой прямо на голое тело,— она была полураспахнута,— остановился у окна и, задрав голову, долго смотрел на дерево.

— Рыбный филин...—зашептались охотники, пересмеиваясь.

Человек в парусине вошел и с порога радостно объявил:

— Уже шестьдесят гнезд нашли! —он подсел к столу и налил себе чаю, будто продолжая прерванный разговор со старыми друзьями, не смущаясь тем, что видит нас впервые.— Причем тех птиц, которые живут только здесь, на Дальнем Востоке. А их очень много. Вот, например, иглоногая сова...

Он прочитал небольшую лекцию. Обследованы Силаншанская, Кедровая пади, теперь перешли в Дутовское урочище.

Потом он заговорил о рыбном филине, и охотники переглянулись.

— Ну, кто из вас видел рыбного филина?

— Как его увидишь,— Симанчук отвел глаза.— Он по ночам промышляет...

— Мда-а... — огорченно вздохнул парусиновый ученый.— Интересная птица. Водится в Индии и Китае, а у нас только на Бикине. В научной печати он не описан, ничего не известно об его образе жизни, да что там образе жизни — нет ни одной фотографии. Но я его найду! — сверкнул он голубыми глазками.— Вот,, уже нашел несколько перьев, подбираюсь к гнезду.

И он показал три грязных измятых пера, смутно похожих на куриные.

...Ничто так не требует бессмысленного выматывающего терпения, причем без особой надежды на успех, как охота на пантача. За любым другим зверем можно гоняться, находить его следы, обнюхивать их или красться за ним, но с пантачом эти штучки не проходят. Нужно тихо, не дыша и не шевелясь, сидеть в оморочке в самом глухом и сыром месте залива и вздрагивать от капель, падающих за шиворот, мысленно материться, осторожно сгребая с лица комаров и мошек. Почитайте этот унылый дневник:

- 1-го. Приехал в Гонготу, видел изюбра и не стрелял.
- 2-го. Чистил заливы. Видел медведя бурого. Он меня не видел.
- 3-го. Болел. Целый день лежал.
- 4-го. Ремонт мотора. Ночевал Зой.
- 7-го. Шел дождь.
- 8-го. Ночевал залив Чуфилин и ничего не видел.
- 11-го. Ходил на солонцы. Результата нет.
- 12-го. Опять солонец. Результата нет.
- 14-го. В Конском ночевал.
- 17-го. Ночевал Зой.
- 20-го. Ночевал Зой, видел два сохатых, изюбра маленького.

И так целый месяц. Один из лучших охотников Бикина Владимир Канчуга ходил на солонцы, сидел в засадах на заливах Чуфилин, Конский, Зой, но так и не увидел пантача. Попадались либо матки, либо детеныши. Записи становились все реже, энтузиазм уступил место апатии и злобе. Тем более что был «результат», но иной: клещи так искушали его, что не мог он ни сидеть, ни лежать. Спал на животе и ежеминутно просыпался от боли.

Он не спал, и мы не спали. Смеркалось. Лежали в зимовье, снаружи монотонно зудел дождь. Двери закрыли (впрочем, комары преспокойно лезли в разбитое окно), горела лампа, в железной печке чадили дрова. Вспомнилась байка: «Какие самые лучшие дрова в тайге?» — «Сухой тальник». — «А какие самые плохие?» — «Сырой тальник». Вот уже целый час не можем вскипятить чай.

Володя рассказывал в перерывах между стонами:

— Что за зверь пантач? Даже не веришь, что тот же изюбр, которого зимой бьешь. Зимой подходи, бей — не трудно. Осенью, во время гона, так прямо на охотника лезет, драться хочет. Стукнешь котелком — он сердится. А как панты полезут из лба, совсем другим становится. Прячется где-то, ходит черной ночью и через каждый шаг слушает, нюхает. Бережет панты. Большую силу они имеют. Если талахон из пантов изюбра поешь, кровь из носа пойдет.

Когда охотник добудет панты, он бросает все дела и стремглав, не останавливаясь ни на минуту, спускается в Красный Яр. Там панты сразу начинают консервировать — варят десять суток в воде, которую постоянно держат на грани закипания. Делают это самым верным, дедовским способом. Два опытных пантовара Николай Канчуга и Сусун Геонка, подменяя друг друга, не отходят от большого котла, обмазанного глиной, поддерживают огонь и, как только в воде появляются пузыри, выливают туда кружку холодной воды. Просто, надежно, без всякой электроники. Да и зачем она? Электроника сюда еще сто лет не дойдет.

— Почему панты изюбров такую силу имеют?

— Старики говорят: изюбр-пантач траву какую-то ест. Днем ходит далеко, ее ищет, ночью водяной мох ест для приправы, траву-лапшу в протоках. Вот панты у него и целебные.

Ударом ноги Дмитрий вдруг распахнул дверь зимовья, встал на пороге и дурным голосом заорал:

— Го-о!

С того берега кто-то откликнулся. Он еще прислушался. Где-то подняли свару вороны.

— Эхо откликается, птицы кричат, — дождь скоро кончится.

Он удовлетворенно вернулся на нары, прилег. Я смотрел на него: по виду типичный ороch, а фамилия у него откуда? Видать,

соблазнил его черноглазую прабабку некий казак-переселенец.

— Все же раньше они не такие пугливые были.— Вечером, когда наступает пора неторопливых разговоров, Симанчук не говорит, а поет. Получается: — Все же раньше они не такие пугливые были. По-о-омню, лет десять назад то-о-олкался я на бате вверх по Бикину. Зашел в залив Чубисин, а они сто-о-оят.

— Кто?

— Шесть маток и три пантача. Сто-оят себе, тра-авку шиплют»

— Ну и ты стрелял?

— Зачем? — хохотнул.— Тогда и у дома можно было настре-

А где этот залив Чубисин?

Да рядом... километра два ниже.

Чего же мы сидим тут кукуем? — я и с нар соскочил.—

Едем!

Куда?

— В этот залив. Может, и сейчас там стоят.

— Не-е-ет, теперь они не стоят,— он криво улыбнулся.

— Все равно, поехали! — бездействие давно мне надоело. Стал шарить патроны в рюкзаке. И, как всегда, не нашел.

С ругательствами я пнул рюкзак. Огромный, тяжелый, пузатый, он был моим проклятием. Чтобы найти там что-нибудь, нужно было перевернуть все содержимое — и не один раз! Искомое обязательно оказывалось на дне. Но если я хотел сократить поиски и сразу запускал руку на дно, то вещь, как назло, находилась сверху. Однажды я положил катушку с леской на самый верх, чтобы была под рукой, и через минуту попытался ее забрать. Но не тут-то было. Катушки на месте не оказалось. Я нашел ее через полчаса в самом дальнем углу, между мешочками с крупой. Как она могла туда попасть? Но мало того, некоторые вещи исчезали в рюкзаке бесследно, и больше я никогда их не видел, судьба их становилась еще одной мрачной загадкой зловещего рюкзака.

— Ну ладно, поехали,— Симанчук широко зевнул и сполз с нар.

Еще светло, берега видно. Спустились километра на два — островок. В сумерках чернеют бороды выброшенных на берег вместе с корневищами стволов. Охотник толкает лодку к ухвостью острова, пересекаем небольшую протоку и оказываемся в сонной тишине залива. Лодка, с маху войдя в спокойную воду, шумно плеснула кормой. Мы вытащили специально заготовленные шестики и, бесшумно опуская их в воду, отталкивались от дна. В заливе охотники не гребут веслами: с них падают капли. Для заливов у них короткие шестики.

За поворотом открылся второй плес. Он был затянут сумерками и холодным туманом. Слева тянулся берег, густо поросший

кустарником и деревьями, справа в плес вдавался низкий клин кочкарника с высокой травой.

Вдруг кто-то дико рванулся от воды, ломая сучья и топая, вымахнул на обрывистый берег. Сиплый лай разорвал ночную тишину. Лаял какой-то здоровенный полкан — злобно и гулко. Человек, не знающий, что так может лаять кроткая, грациозная, с большими глазами косуля, наверняка бы струхнул.

Дмитрий с шумом выдохнул воздух ноздрями — это означало проклятие. А той было мало, что она следовала за нами по берегу и облаивала нас как хотела. От возмущения она еще и прыгала, неистово топая копытцами. Шум стоял такой, словно в кустах дралась стая собак. Ни о какой охоте не могло быть и речи, но мы упорно толкались все дальше и дальше.

И — чудо! Едва отвязались от рассвирепевшей косули и выплыли на последний плес залива, как услышали заветные звуки: хлюпанье и чмоканье. Изю всех сил мы толкали лодку вперед, а хлюпанье неторопливо, по достаточно быстро удалялось от нас. Наконец смолкло, и Симанчук тотчас развернул лодку.

— Сполохнула, проклятая, — невнятно прошипел он.

Мы притянули лодку к берегу и расслабились. Но ненадолго. Нас накрыло облако мокрецов. Это самое гнусное насекомое из всех, что породила тайга. Невооруженным глазом мокреца почти не видно, и проникает он, кажется, даже сквозь швы одежды. Но жалит эта мельчайшая тварь будто раскаленной иглой.

Как по команде, мы вытащили тюбики с мазью «Дэта», которые я захватил из Владика, и принялись намазывать ею лицо и руки. Густой едкий запах пополз по заливу. Зато теперь эта мерзость отвяжется. Ничуть не бывало. Мокрецов стало даже больше — отовсюду прибывали новые и новые эскадрильи, а те, что жалили нас, не могли улететь, завязнув в толстом слое мази. Поминая недобрым словом творческий коллектив, создавший «Дэту», мы нанесли на кожу такой толстый слой снадобья, что в нем увяз бы и шмель.

Только закончили, как на мыске раздался страшный треск и шум. Кто-то молился с бешеным топотом. Охотник включил фонарик — оказывается, лодка приткнулась как раз к тропе изюбра. В темноте мы ее не разглядели. Наверное, изюбр незаметно подобрался к нам, и тут его накрыло облако «Дэты».

Пришлось убираться. Хотя тропа со следами копыт ясно видна, охотник редко отваживается караулить зверя близко от нее. Ветерок может перемениться, и тогда зверь учует человека. На тропах охотился только глухонемой Саша Сигдэ — ну, ему деваться некуда.

А от нас не просто шел характерный запах человека, мы еще и на всю тайгу смердили «Дэтой». Вернулись на косу, продремали

там до рассвета. С трудом разлепив веки, снова отправились в залив. Кожа нестерпимо чесалась: «Дэта» разъедает даже стекла наручных часов. Правда, гнус хорошо отпугивает одеколоп или духи «Гвоздика», но ни один охотник не берет с собой в тайгу одеколон. Для зверя он все равно что громадный плакат ОРУДа на дороге: здесь человек

— Разве это мазь от гнуса? — уныло спросил Дмитрий, рассматривая тюбик. — Тут нарисована муха!

Да, мух эта мазь, возможно, и отпугивает. Но не всяких.

В самом конце залива двигалось что-то рыжее. Я вскинул было карабин, но Симанчук молча качнул лодку: нельзя.-Косуля. Наверное, та самая, что лаяла ночью и испортила охоту. Она мирно щипала травку, обмахиваясь коротким хвостиком, и вообще чувствовала себя в безопасности. Я оценил искусство Симанчука: он гнал лодку шестиками совершенно бесшумно. Как призрак, как тень, скользила она по сонной глади воды. Вот уже видно морду косули, облепленную раздувшимися клешами — серыми и розовыми. словно гроздьями бородавок. Слышно недовольное фырканье...

Тут она насторожилась. Подняла голову и уставилась на нас. Мы замерли, лодка продолжала скользить вперед, а в больших агатовых глазах косули метнулся отчаянный вопрос. Высокие уши стояли торчком, стараясь уловить малейший шорох, чтобы тотчас определить природу предмета. Может, коряга?

Не шевелясь, мы злорадно наблюдали за ней. Испортила нам охоту, теперь помучайся... А вдруг это не она? И разрыв маленького трепещущего сердечка останется на нашей совести. Не выдержав муки в ее глазах, я стукнул шестиком о борт. Косуля взвилась и сгнула в кустах.

Можно подойти вплотную к изюбру, косуле или лосю на лодке, если не издавать никаких звуков. Но достаточно стукнуть, и зверь, еще не видя нас, удерет. Ни одно животное не издает такого специфического звука, как стук. Если он раздался, зверь знает: это человек. В заливе Гошкино мы подошли засветло к молодому лосю. Огромный, горбатый от собственной мощи и в то же время по-звериному изящный, он неторопливо передвигался по колею в тумане и, булькая, пожирал водоросли, равнодушно косясь па нас лиловым глазом.

Еще один железный закон соблюдается при охоте в заливах. Ни при каких обстоятельствах охотник не должен выходить на берег. На воде не остается следов и запахов, но достаточно ступить одной ногой на берег, и на заливе можно ставить крест — распечатан. Пантаци, во всяком случае, надолго будет обходить его десятой дорогой — у них в это время сильно обостряется слух, а запах на земле долго держится, только дождь его смоет. Даже

убить изюбра охотник старается так, чтобы он упал в воду, и за-
таскивает тушу в лодку, не ступая на берег.

Спугнув косулю, мы выбрались на Бикин и тут поссорились.

— Нам надо разделиться,— сказал Симанчук, глядя в сто-
рону.

— Зачем?

— С тобой я не подстрелю и бурундука.

— Почему? — изумился я.

— С тобой не пройдешь в мелкий залив — ты сильно погру-
жаешь лодку. С тобой не пройдешь в узкий залив — ты только ме-
шаешь управлять. И много шумишь. На оморочке я прохожу не-
слышно, как выдра.

Я выслушал этот приговор со спокойным лицом.

— А когда в Улунгу пойдем?

— Улунга потом. Сначала охота. Дни уходят...

— Ладно. Охоться один. Бери оморочку, я возьму лодку.

— Я бы взял оморочку, но с лодкой ты не справишься, она
тяжелая. Распугаешь зверей в заливах.

— Что же мне, оморочку брать?

— Бери,— охотник невозмутимо пошевелил угли в костре.

Я молча подошел к воде и посмотрел на оморочку. Скорлупа
уссурийского ореха, увеличенная примерно вдвое. Это была самая
капризная оморочка на Бикине. Я слышал, как осыпал ее прокля-
тиями Дунпович, у которого она была во временном пользовании:
«Что за оморочка? Ее гонишь в одну сторону, а она идет в дру-
гую. Никогда не видел такой!» Она настолько озлобила охотника,
что он свалил липу и за два дня выдолбил новую оморочку. А эта
вот лежала рядом и вдохновляла. Он смотрел на нее, когда слиш-
ком уставал, и тогда откуда только силы брались.

Вода в Бикине совсем ледяная. Зачерпнешь кружкой, напьешь-
ся — зубы ломит. И течение очень быстрое. Учítывая эти два
фактора, я разделся как для купания и сложил одежду на берегу.
Паспорт положил наверх, чтобы сразу нашли адрес, как только
перевернусь и нужно будет отсылать куда-то вещи.

Бросил последний вопросительный взгляд на охотника. Он ле-
жал кверху животом и равнодушно курил. Тогда я начал втиски-
ваться в посудину. Ощущение при этом было такое, будто я пы-
тался влезть в картонный кораблик. Это продолжалось примерно
полчаса, и когда я наконец уселся не дыша, приняв невообрази-
мую позу Будды, оморочка оказалась до половины наполненной
водой. Я сделал попытку вылезти и вычерпать воду, но обнаружил,
что две перекладки зажали меня, как в капкане. От моей возни
оморочка накренилась, и вода с шумом сомкнулась надо мной.
Захлебываясь, рванулся и освободился от мертвой хватки..
К счастью, здесь было мелко.

Поднялся, держа в одной руке весло, а в другой — оморочку. Перевернув ее, потряс, потом опустил и попытался сесть, но снова перевернулся. Оморочка все казалась мне какой-то ненастоящей. Вдруг она скользнула, и я оказался на середине Бикина. Я сидел, подняв весло над головой и боясь пошевелиться, а стремительное течение все дальше уносило меня от косы. Наконец осторожно гребнул веслом раз, второй... и врезался в противоположный берег.

— Не напрягайся,— подал совет хозяин, пока я выбирался из ила. От ледяной воды сводило ноги.

Целый день я гонял на посудине взад-вперед мимо косы, на которой мы расположились табором, и к концу дня научился довольно прилично управлять ею.

Когда мы вернулись в зимовье, Канчуга, небритый и сонный, сидел со страдальческим видом на нарах.

— Уезжаю,— сказал он.— Лечиться надо. Нет мочи в залив ходить.

Клещей он нахватался на солончаках. И я в который раз поразился, что не пошел в Улунгу напрямик, как предлагал охотник Могильников, соблазняя лабазами. На лабазах у Могильникова стоял аккумулятор, а с собой он таскал мощную фару. Услышит зверя, включит фару и бьет с дерева.

— И не убегают звери от света?

— А чего им убежать. Они думают, что это молния. Поднимут голову, я выключаю свет. И все тихо.

— А пантаци ходят?

— А как же! Они любят солончаки...

Тогда я чуть не решился. А теперь, глядя на мучения Володи, поблагодарил случай, который свел меня с Симанчуком. Явиться в Улунгу увешанным гроздьями клещей... Бр-р-р!

Могильников любил повествовать о своих охотничьих подвигах. Похожий на Дон Кихота, только без усов, но с трехдневной щетиной на щеках, в кепочке-восьмиклинке с пуговкой, в порывавшем пиджачке и болотных сапогах с раструбами. Каждый его рассказ заканчивался неизменно:

— Я прикладываю карабин, ка-ак врежу! И тр-р-рупом!

Однажды на лабаз вышли сразу четыре медведя. Он успел свалить одного, остальные удрали.

— Если бы ветер не потянул в их сторону, все бы они легли у меня тр-р-рупами... Там мой лабаз на двадцатиметровой липе.

По некоторым неуловимым признакам, крикливой манере рассказывать, отставив ногу в сапоге, жестикуляции и бегающим глазкам я вдруг определил: трепач. Охотники подтвердили:

— Это брехун номер один. Все жениться приезжает, да никто за него не идет.

Едва затих вдали стук Володиной моторки, Симанчук стал быстро-быстро собираться.

— Куда? — спросил я. Не хотелось слезать с нар.

— Залив один посмотрим,— он почему-то озирался,— Быстрее!

Стоял еще день, и было непонятно, к чему такая спешка. Мысленно заставив, я поплелся за ним.

Симанчук обладал удивительной способностью находить нам работу. То он рубил дрова («про запас», хотя какой запас лужен в тайге — кругом дрова!), то копал червей, то мастерил удочки. То вдруг останавливал лодку и лез в глухомань искать топор, оброненный якобы здесь неизвестно кем еще при царе Горохе. Не буду же я сидеть сложа руки, когда рядом кипит бурной деятельностью мой напарник и наставник!

Тот самый охотник, почетный стрелок Дима Пикунов, которого я расспрашивал, как добраться до Улунги, посоветовал идти с пантовиками:

— Охотиться по ночам, а днем отсыпаться, идти вверх. Такова пантовка.

Наверное, он никогда не охотился с Симанчуком. Я не помню, чтобы мы спали днем. Ночью тоже. Поэтому я все время был в сомнамбулическом состоянии. Как-то за кормой упало дерево. Оно рухнуло в воду, подняв фонтан брызг, и переломилось от удара надвое.

— Вовремя проскочили! — обрадовался Симанчук, и мне пришлось мучительно размышлять, чему он радуется, пока не догадался, что с тем же успехом дерево могло свалиться на лодку.

Вот и теперь я никак не мог понять, куда так торопится охотник. Тем более что и залив был никудышный, на мой взгляд. Вход в него оказался настолько узеньким, что его целиком заслонял куст ивняка, и посторонний никогда не догадался бы, что за ним что-то есть.

— Ишь, куст не рубит, прячет залив, думает — не знаем,— бормотал Симанчук, пока лодка продиралась под ветвями. Потом ее понесло течением, и мы оказались в протоке. Но вот справа опять появился куст, прикрывающий другой ручеек, по которому лодке пришлось ползти по песку, как угрю. Вдруг Дмитрий выдохнул:

— Вот его залив!

Я оглянулся, и сонливость слетела с меня, как паутина.

Это был неопишуемой красоты залив. Лодочка стояла на краю громадного глубокого плеса. Вокруг, как колонны в соборе, уходили ввысь стволы исполинских деревьев, кроны которых целиком заслоняли солнце. Только лучики его сеялись сквозь сетку листьев, зайчиками ложась на гладь воды, покрытую тальниковым пухом.

Полутона, полумрак... Мы оказались в одном из тех скрытых от глаза уголков тайги, где невольно испытываешь трепет.

Симанчук напряженно всматривался в берега, испещренные многочисленными следами. Лодка оставляла в тальниковом киселе темную тропинку, которая быстро затягивалась.

— Ходят пантаци... и не один,— чуть слышно шептал охотник.

За первым плесом открылся второй, потом за узенькой перемычкой— третий. Лодка лавировала среди черных коряг с седыми и зелеными бородами.

У берега в воде расплывались облачка ила.

— Недавно был здоровый... ходил тут. Пасся. Почему же Володя не свалил ни одного? За-а-агадка...

Мы вернулись в протоку с быстрой водой, потом — на Бикин.

— Ну что,— деланно-безразличным тоном спросил Симанчук,— будешь в одиночку охотиться? Можешь в этом заливе...

— Если позволишь... — голос у меня осекся.

— Ладно.

Тогда я ничего не понял. Но потом, во время бессонных ночей в нарко, когда вспоминал и перебирал в памяти радостные мгновения светлой полосы, открылись и стали понятны странности Симанчука. Ведь он по-своему, по-таежному приучал меня к самостоятельности, без которой не может быть охотника. Потому и ссору затеял, а затем показал прекрасный залив.

Вечером мы поставили на косе палатку. Охотник, толкаясь шестом, чтобы не пугать зверей мотором, ушел вверх, а я на оморочке подался в залив.

Внутри оморочки имеется несколько поперечных перекладин — говоря по-морскому, ребер жесткости. Охотник садится в центре посуды, поджав под себя ноги. Две перекладки перед ним имеют чашечкообразные впадины. На них кладут карабин. Охотник гребет веслом на глубоком месте, а войдя в залив, орудует короткими шестиками. Как только он увидит зверя, шестики тотчас оставляет в воде, класть их в лодку нельзя: стукнешь — спугнешь. Поэтому в оморочке всегда несколько пар шестиков, вырезанных из тальника.

Я решил не брать столько «оборудования». Оморочка у меня так качалась и ходила ходуном, что шестики гремели по дну, а карабины : грозил свалиться в воду. С этим-я ничего не мог поделать, поэтому пошел на хитрость. На перекладки я положил какую-то тряпку, так что и карабин, и пара шестиков, и весло ложились на них совершенно беззвучно, не скользили. Я очень гордился своим изобретением, носился с ним и рассказывал всем охотникам, предлагая перенять ценный опыт. Но они почему-то смущенно переглядывались и переводили разговор на другое. Лишь много позже я понял, какой дурацкой оказалась моя выдумка.

Второе, что меня беспокоило,— ноги. Поскольку я не мог сидеть поджав ноги — к этому местные жители приучаются с детства,— то заталкивал их под перекладину. Это была тяжкая процедура— вбить ноги в резиновых сапогах в проем, не рассчитанный и на тапочки. По окончании процедуры я составлял с оморочкой единое целое. Я был забит в нее, как жакан в патрон, и мог уже называться оморочкочеловеком или человекооморочкой. И старался не думать о том, что будет, если вторая моя часть перевернется. Случись это на мелком месте, я мог бы выползти на берег, волоча за собой оморочку, как улитка свой домик. А если на глубоком? От подобных размышлений спасало старинное русское «авось».

Поэтому я всячески старался ладить с посудиною, хотя такая задача, казалось, выше человеческих сил. Оморочка Симанчука была самой капризной и самой скверной из всех оморочек, выдолбленных за всю историю человечества. Я допытывался у него, где он ее взял, но он бормотал что-то о весеннем половодье, с которым ее принесло. Видимо, от нее просто избавились, швырнув на середину Бикина, а Симанчук соблазнился дармовой посудиною — себе на голову. Ее мог соорудить только косоплечий, косорукий человек, косой на оба глаза. Она была чувствительной, как сто принцесс из сказки. Малейший грубый толчок или нетерпеливый гребок — и она, осатанев, уже лезет на берег или в кусты. То и дело мне приходилось хвататься за пучки травы, чтобы остановить ее. Она не могла миновать ни одну корягу на пути — сталкивалась с нею или со скрежетом влезала на нее. А когда я оморочку стаскивал, она недовольно скрипела. Если я отталкивал ее правым шестиком влево, она лезла вправо, и все силы я затрачивал на то, чтобы хоть по миллиметру продвигаться вперед. Конечно, при этом поднималось столько шума, что не только звери, но и пернатые удирали прочь.

Нет, наверное, в мире другого более своенравного плавучего сооружения, чем оморочка. Ее иногда сравнивают с индейским каноэ, но это глубоко ошибочное сравнение. Каноэ по сравнению с оморочкой — крейсер. В фильме «Чингачгук — Большой Змей» показана сцена драки в каноэ. В оморочке не то что драться — ругаться нельзя.

С веслом я еще кое-как заставлял ее подчиняться. Когда вышел на плес, то со вздохом облегчения ухватился за весло и еле заметными толчками погнал лодчонку вдоль берега, мимо высоких доисторических папоротников и могучих стволов, между которыми таился мрак. На плес ложились сумерки, навстречу им поднимался туман. Где-то, словно цикада, короткими очередями цвиринькала бледноногая пеночка.

Захлюпало. Я остановил оморочку под ветвями и огляделся.

На соседнем плесе в сумраке что-то смутно рыжело. Изюбр! Я изо всех сил таращил глаза, пытаюсь разглядеть, есть ли у него рога или это качаются ветви. Ошибиться нельзя — подстрелишь матку. До него было метров двести, но, знай я точно, что это бык, я сумел бы его выделить.

Тихо стал сдавать оморочку назад, чтобы под прикрытием мыска подобраться ближе к зверю, и вдруг новый звук донесся с плеса: сильный плеск струи. Изюбр мочился в воду. Сомнений не было — пантач! Володя говорил: «Если бык заметит опасность, он первым делом начинает мочиться».

Весло дрожало у меня в руках, пока я мчался к мыску. Оморочку я разогнал с таким расчетом, чтобы внезапно вынырнуть на большой скорости из-за мыска с карабином наизготовку. Бык вскинет голову, я увижу рога и сразу же выстрелю.

Но проклятая гнусная оморочка рассудила иначе. Как только я положил весло и взялся за карабин, то заметил неладное. Она круто забирала влево, вместо того чтобы идти прямо. Поправлять было некогда — нос лодки поравнялся с мыском. Перед зверем я появился внезапно, но в каком положении?! Вместо изюбра я держал на мушке противоположный берег. А когда с трудом повернулся, то стрелять все равно было нельзя — отдачей сбоку меня мгновенно кувыркнуло бы на глубоком месте. Пантач спокойно уходил в конец плеса, опустив голову. Он даже не оглядывался. Человек, который выскакивает из-за мыска в такой нелепой позе, не заслуживает никакого внимания. Я так и не увидел, есть ли у него рога.

Чувствуя отвращение ко всем плавучим сооружениям на свете, я снова взялся за весло. Пересек плес и, едва подошел к перемычке, заметил, как рыжее полыхнуло за густым кустом. Тут уж я не дал себя одурачить. Вывел оморочку из-за куста с разными поправками, как по ниточке, совершенно бесшумно и так близко от зверя, что если бы хорошенько потянуться, то можно было ткнуть стволом карабина ему под лопатку. Все оказалось напрасно. Когда изюбр поднял голову и уставился на меня обезумевшими от страха глазами, я чуть не застонал от досады. Безрогая голова,, матка!

Она молча рванулась на берег и там подняла несусветный лай и топот. Несколько раз подбегала к берегу, чтобы удостовериться, что пугающее создание не привиделось, а действительно, треща, продирается к перемычке. И снова поднимала гвалт. Раза два я видел между папоротниками ее ушастую голову и черные испуганные глаза. Рука так и тянулась подстрелить эту истеричную даму с хвостиком и хриплым собачьим голосом, но мысль о маленьком изюбрёнке, который бродит где-то поблизости, поджидая свою глупую маму, останавливала меня.

Охота была безнадежно испорчена. Я вернулся на первый плес и засел в проточке, дожидаясь, пока утихнет переполох.

Часа три спустя я пошевелился, точнее, пошевелилось то, что от меня осталось. Ноги совершенно не чувствовались. Медленно двинулся я на плес. И тотчас услышал в конце его чавканье изюбров. Судя по звукам, их было несколько! Все во мне сразу ожило, как можно быстрее погнал я лодочку.

Но именно этого и не следовало делать. Настоящий охотник скрадывает изюбра медленно, очень медленно, настолько медленно, что его выплывающую из тумана или мрака лодку можно принять за влекомую слабым течением корягу. А я метался по заливу как на состязаниях. К тому же забыл о коварстве оморочки. И когда оказался метрах в пятнадцати от пасущихся изюбров, положил весло, взял карабин и нащупывал кнопку прикрепленного к нему фонарика, оморочка, шедшая по инерции, вдруг страшно заскрежетала, вылезая на корягу. Откуда взялась тут коряга? Днем я все тщательно осматривал — сплошная чистая вода! Изюбры один за другим скакнули на берег и, как водится, залились нервным лаем. Я плюнул и погнал оморочку обратно, лелея замысел по приходе на косу изрубить ее в щепки и сжечь.

Но пока я строил планы мести, оморочка не дремала. У нее кое-что было в запасе. Я плыл и плыл, а маленькой проточки все не было. С размаху вылетел на берег... Включил фонарик... и волосы зашевелились под капюшоном. Вместо того чтобы подойти к выходу залива, я оказался в километре от него, на последнем плесе. Здесь стояла приметная, расщепленная молнией сосна, она смутно белела во мраке.

В довершение в кустах вспыхнула и погасла пара ярких огоньков. Желтые! А глаза изюбра, на которого направлен свет фонаря, отливают фиолетовым, малиновым, только не желтым. Вспомнилось, как Володя жаловался, что вокруг его залива бродит тигр, и стало неуютно. Берег рядом, тигру ничего не стоило протянуть лапу и выдернуть меня из воды вместе с оморочкой. Дикие мысли полезли в голову, и, когда я выключил фонарь, коряги, проступившие в темноте, уже казались хищными притаившимися зверями.

Посмотрел на небо — звезды исчезли, было темно, как в погреб. Летучие мыши с форканьем проносились у самых глаз, густая паутина то и дело наплывала на лицо. Опять уткнулся в берег. Посветил: вместо одной проточки оказалось две. По какой плыть? Вдруг послышался протяжный свист. «Митя знаки подает!» — обрадовался я и замолотил веслом. Но не прошло и десяти минут, как протока кончилась, — старица. Вода уходила куда-то в заросли болотной травы. Свист неся теперь из чащи, слева. Спину обсыпало морозом.

— Эй! Митя! — заорал я что было сил. Бухнуло эхо. Прислу-

шалея. «У! — крикнуло глухо в ответ. И потом протяжно: — У-у-у!» Казалось, кого-то душат в тайге, и он тяжело, жалобно стонет. Когда я почувствовал, как само собой задержалось веко, то понял, что нужно брать себя в руки. Сделал несколько глубоких вдохов, расслабился, сгруппировался. Не включая фонарика, остановился опять на развилке и пристально вгляделся. Увидел знакомую корягу, похожую на оленя. «Отсюда поворот налево, а не направо!» Посмотрел, куда тянется белый пух по воде, и поплыл вслед за ним.

Вскоре я очутился на косе и увидел чернеющую палатку.

— Митя, ты здесь? А?

— Зде-е-есь,— пропел охотник изнутри.

— Ты свистел? Вот только что? И гукал? Вот так: «У-у!»

— Не-е-ет, то рыбный филин. Детишки у него вывелись, вот и свистя-а-ат. А сам гу-у-укает. Залезай, сейчас дождь накроет.

И будто в подтверждение его слов молния пролилась на тайгу белой огненной рекой. Я пригнулся и шмыгнул в палатку. Тотчас парусину затрепало, будто набрел на нее медведь-шатун, подергал, потом забарабанил когтями. Хлынул ливень. Вокруг палат™ бормотала галька.

«Как странно,— думал я, засыпая.— В нарко после очередного штопора я боялся выйти в туалет, дрожал и обливался потом от ужаса. А тут, в ночной тайге, среди диких зверей... Вот что значит нервы, не отравленные сивухой...»

Очнулся от тревожного голоса охотника.

— Что делается! — почему-то голос доносился снаружи, Я схватил лежавший под боком карабин и высунул голову. Мрак, ничего не видно. Стал вылезать и захлюпал руками по воде.

— Откуда вода?

— Прибывает... Ливень-то какой прошел.

Я стоял у палатки на карачках, ничего не понимая. Дико захотелось спать.

— Сниматься надо, затопляет.

Край неба чуть посветлел, когда мы ошупью свернули палатку и уложили ее в лодку.

Это было невероятное путешествие — ночью, в полном мраке, по вздувшейся от дождя таежной реке, которая и в спокойном виде не подарок. Симанчук не включал мотор, и мы летели со скоростью экспресса, а в ушах полоскался ветер.

— Куда мы?

— В залив Чубисин... укроемся!

Впереди нарастал рев.

— Залом! — я всматривался, но ничего не видел.

— Бей влево! — закричал охотник. Я греб так, что тоненькое весло гнулось. Рев прокатился мимо, но впереди возник новый.

— Бей вправо!—Действительно, когда несешься по такой осатанелой реке, нужно не грести, а бить, ударять веслом по тугой воде, отталкивая лодку от опасного места.— Бей вправо!

По-прежнему ничего не видно. Митя не филин, вряд ли он видит лучше меня. Как же ориентируется? К тому же, будь он хоть трижды всевед-таежник, он не может знать, если впереди только что упала лесина и перегородила реку или корягу сорвало и несет по камням.

Но эти рассуждения пришли потом. А тогда меня охватило несравнимое ни с чем чувство восторга, слитности с окружающим миром, скорости и острой опасности. Мы летели вперед, охваченные каким-то первобытным звериным чувством. Это была настоящая жизнь!

Справа смутно забелело узкое, длинное. Коса. Лодка с ходу влетела в залив, вода шумно плеснулась за кормой. Здесь тишина... сонная вода. Иной мир.

Тучи ушли за перевал, и ярко-звездное небо опрокинулось на залив. Казалось, лодка плывет по светлому небу, усеянному яркими точками, а над нами течет река с их отражением.

В заливе падали капли с листьев, булькали сонно рыбы. Кто-то завозился на берегу, потом стихло.

— Ушел... — прошептал охотник.

Рассветало, когда вышли из залива. Симанчук вдруг включил мотор и на полном ходу погнал лодку вверх. Это было еще покруче: летящие в глаза смутные тени, ревущий ветер и светлая дрожащая тропка впереди...

Опять высадились на той же косе, выбрав местечко повыше.

Постелив палатку, лежали на камнях и дремали, ожидая, когда рассветет. Мокрец, комары и прочий гнус навалились черной тучей, я полностью законопатился в капюшон, дыша куда-то в камни, а Симанчук колотил их на себе — глухие монотонные удары. Я задремал, но вскоре проснулся. Казалось, рядом забивали молотом быка.

— Ты бы закутался... всех не перебьешь.

— Пора уже... — со злостью буркнул он. Коса стала хорошо видна, даже разноцветная галька на ней различалась.

И вот я снова в заливе пантачей. Где же они, эти неуловимые сторожкие существа? Гребу, стараясь зевать без хруста в челюстях и без подвывания. Прошел залив из конца в конец, но никого не увидел. Пришлось возвращаться.

Никогда бы не подумал, что встречу его на обратном пути. И, повернув с последнего плеса в протоку, растерялся от неожиданности: сразу за поворотом стоял пантач.

Он стоял по колено в темной тяжелой воде, подняв голову, и редкие капли срывались с его бархатной нижней губы. Теплый

рыжий мех на спине и боках был густой, ухоженный, будто оленя ежедневно расчесывали щетками. На животе он темнел от росы. На панты я не посмотрел, лишь осталось впечатление чего-то массивного, изящного, что венчало голову... А глаза... Глаза зверя полыхали темно-фиолетовым огнем и, неподвижно сосредоточившись на мне, будто вопрошали: «Кто ты, чего можно от тебя ожидать?»

И тут дало о себе знать мое дурацкое изобретение. Вместо того чтобы бросить шестики и схватить карабин, я осторожно вытаскивал их и принялся укладывать на тряпку. При этом я заискивающе-глупо улыбался пантачу, словно улыбка могла усыпить его подозрения.

Но едва моя ладонь коснулась карабина, глаза зверя сверкнули. В тот же миг большая мокрая ветка хлестнула меня по лицу: то оморочка, верная себе, полезла в кусты. Когда я открыл глаза, пантача не было. Только вода на том месте дрожала...

Но никогда я не пожалел, что карабин мой так и не выстрелил. Видение прекрасного зверя ранним утром в заливе, чуть затянутом кисеей тумана, навсегда осталось в душе и вспоминается теперь в самые тяжкие минуты, согревая сердце.

Симанчуку я ничего не сказал, и вскоре мы отправились вверх. Кончались продукты, и мы взяли наконец курс на Улунгу. Тяжело забилось сердце.

Река на глазах становилась мельче, заломы попадались чаще. Здесь тянулись высокие глинистые берега с тонким слоем плодородной почвы сверху. Вода подмывала их, обрушивала. На перекатах мне приходилось ложиться на нос лодки, чтобы поднималась корма с винтом: слишком мало воды.

Рубленые, почерневшие деревянные домики, там и сям разбросанные по берегу, открылись за поворотом.

— Улунга!

У крайнего домика нас встретил старик с дремучей бородой, в серых вылинявших штанах и расстегнутой клетчатой рубашке, бо-сой, несмотря на морозящий дождь.

— А-а, гости! Милости просим! — тоненько протянул он и указал на крыльцо. — Садитесь, чего стоять! — вдруг басом добавил он.

— Где тут метеостанция? — голос мой прерывался.

— Во-она каменка под антенной, — снова фистулой пропел старик и тут же перешел на бас: — Только там сейчас никого нет — они на измерения ушли.

— Как нет? А врач?

— Девчонущка-то? Хо-о-орошая девчонущка... м-да. Улетела она. Как меня привезли, с тем же вертолетом и улетела.

Без слов я опустился на крыльцо. Старик, не замечая моего

состояния, продолжал говорить. Он из старообрядцев-раскольников, которые конфликтовали с кем-то еще в библейские времена, бежали в тайгу, и «всех она укрыла, родимая». А недавно у него заболело горло. Девчонущка-врач осмотрела его и сказала, что немедленно нужно ехать в краевой центр.. Вызвали вертолет. Она и сопровождала его. В краевой больнице ему немедленно сделали операцию. Полежал немного и стал проситься назад.

— Не могу, понимаешь, без тайги, задыхаюсь в городе...

Теперь у него два голоса, но врачи и «девчонущка» сказали, что это со временем пройдет.

— Все со временем пройдет, и я сам... пройду... — вздохнул он.— А девчонущка-то этим же вертолетом и улетела. Что-то узнала в городе, сильно расстроилась... Эх, дела сердешные!

«Может, меня искала? — обожгла мысль.— А я тут комарье кормлю... »

Как бы понимая мое состояние, Симанчук в тот же вечер выехал из Улунги. За два дня, остановившись лишь на ночевку, стремительно облетая заломы, мы спустились в Красный Яр. Оттуда я снова выехал во Владик.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

...В бродильных чанах спирт-сырец отливал синеватым огнем. Черпали котелками, пригоршнями, картузами, санюгами, а иные, принав, пили вино, как лошади на водопое... Во дворе унывшиеся не падали — падать было некуда,— стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некоторые умудрялись и все-таки падали; их затапывали насмерть.

Артем Веселый

Что охотнее всего мы клеймим? Наши недостатки и пороки — у других.

...Итак, его владивостокский друг неторопливо брел ему навстречу.

Вот так же когда-то они и познакомились темной ночью у этого самого парапета: один — измученный алкоголем, другой — переполненный им. Оба находились на грани белой горячки, но не сознавали этого. Окружающий мир был условен, по условность его выглядела у них несколько иной, чем у обычных людей. Где-то он читал, что Вселенная не одна, а делится на множество сопредельных Вселенных, достаточно шагнуть — и очутишься в соседней.

Они были в соседней Вселенной, поэтому, встретившись, ни-

сколько не удивились, что сели вдруг рядом на парапет, закурили, поднося огонек друг другу, и заговорили, даже не познакомившись.

— Рассказывай,— предложил один.

— Обстановка напряженная,— ответил другой.

— Как общее состояние?

— Вскрытие покажет.

Оба удовлетворенно замолчали. Так и должен протекать разговор в соседней Вселенной.

— У тебя дома, кажется, кошка есть?

— Кошек не держу. Они алкашей не терпят.

— Но кто-то у тебя есть?

— Ты не смотри, что я такой невзрачный, у меня дома телефон есть. После дождика в четверг звоню в Чили, Гоналулу, Парагвай, Уругвай...

И так же, не сговариваясь, они стали шарить — один в боковом кармане, другой в портфеле. Художник вытащил плоскую бутылку в ярких наклейках.

— Какая-то бренд из-за бугра... кэп знакомый одарил,— по-нюхал.— А у тебя что?

— Родимая бормотуха. Портфель-33. Тройка — моя любимая цифра, все удается только с третьего захода.

Художник подал ему плоскую бутылку:

— Возьми, не люблю. Портфель мягче. Давай. Из горла?

— Я не так грубо воспитан. Вот стакан, закусь.

— Это хорошо,— одобрил художник, набулькивая себе в стакан.— По сколько булек?

— По полному.

— Значит, по девять. В темноте я по булькам наливаю.

— Погоди,— сказал Матвей.— Есть более верный способ. Переверни бутылку строго вертикально горлом в стакан.

— Ну? Выльется ведь.

— Как только уровни сойдутся, можешь держать хоть час. Весь фокус в том, чтобы вывернуть из стакана.

Показал для наглядности. Выпили, согрелись душой. Рассказали друг другу то, что и маме родной не поведали б. Впрочем, у обоих мам не было. Как и отцов. Потом поплелись в мансарду художника, заваленную какими-то плакатами ГАИ, художественно написанными сообразительностями, призывами вперед и выше. Посреди высился бюст лысого типа с мефистофельским профилем.

— Где-то я его видел,— сказал неуверенно Матвей.

— Давыдюк. Ты его должен знать.

Он ахнул:

— Обессмертил наконец!

Давыдюк, матерый начинающий поэт, годами вел тяжбу из-за ломаной строки с издательством, выпустившим его книжку. Он

доказывал, что каждая ломаная строка, разделенная на несколько, должна и оплачиваться как несколько строк — и Маяковскому так платили, а издательство стояло на своем: ты не Маяковский, оплачивается только рифмованная строка, иначе можно столько их наломать, что нечем платить будет.

— А вообще, ваши ломаные строки гроша ломаного не стоят! — заявил однажды на очередном суде бухгалтер, озлобленный на писателей за то, что они получают тысячные гонорары за какие-то там ломаные строчки, а он, который тянет такой бюрократический воз, прозябает на жалкую твердую зарплату.

У Давыдюка уже дважды был инсульт, и он с восторгом рассказывал в литературном закутке местным писателям:

— Самая легкая смерть. Идешь, дышишь, живешь — и вдруг нет тебя. Мгновенно! Как в колодец оборвался...

Каждый раз врачи, выписывая его из больницы после спасения, строго-настрого наказывали не пить. И каждый раз, продержавшись немного, он осторожно начинал с сухача — ничего. Нарачивал дозу, интенсивность, переходил на крепчайшую сивуху, ввинчивался в штопор, пока наконец где-то посреди оживленной улицы не падал, сраженный очередным инсультом.

— Мне понравилось в нем бесстрашие, — погладил художник бюст по лысой макушке. — Смотри, каким орлом смотрит!

— А это что? — указал Матвей на плакаты и призывы.

— Мой хлеб. Я ж грахвик, как говорит товарищ, который заказывает эту музыку.

— У тебя один выход? — Матвей тревожно смотрел на дверь. — А какой этаж?

— Пятый.

— С пятого не сиганешь... С третьего удавалось. Нужно переходить на другую явку.

Нисколько не удивившись, художник сказал:

— Ну тогда двинем к Толе Рыбаченку. У него собственный дом, а живет один как перст. Жена ушла, детей уж давно нет, собака — и та сбежала — не кормит. В случае чего оттуда можно уйти огородами. Или в бурьян нырнуть, бурьян у него — во!

До Толи было далеко, и они поехали на такси. По пути Матвей все допытывался у шофера, почему у него светятся глаза.

— Отгорбаться две смены, и у тебя засветятся, — добродушно ворчал тот.

— Нет, это неспроста, — Матвей смотрел вслед удалявшимся красным огонькам. — Хотел бы я знать, куда он поехал.

— Ты же слышал — в парк.

— Но в чей парк?

— А ты думаешь, я лаптями щи хлебаю? Мы на соседней улице высадились.

Короткими перебежками они двинулись вперед. Вдруг послышался звон, топот — они едва успели броситься под плетень. Трое стражников с алебардами и в каких-то рогатых шлемах, четко выделяясь на фоне светлеющего неба, вели связанного человека.

— Тележкин! Это ж Тележкин... — горестно прошептал Матвей, когда дивная группа скрылась. — Взяли все-таки!

— Видал, видал? — дохнул ему художник в ухо. — У него кляп во рту! Вот до чего дошли, гады!

— Это не кляп, — Матвей сел и стал грызть травинку. — Это язык. Когда он напивается, язык распухает и на ладонь вылезает изо рта. Жену как-то до смерти перепугал. А отойдет, снова балабонит почему зря, порет всякую чепуху.

Но оба они умолчали о самом удивительном: за спиной каждого стражника колыхались широкие перепончатые крылья, словно у летучих мышей.

По верху плетня, как маленькие котят, бесшумно носились туда-сюда чертенята. Художник пытался поймать одного, но только с треском повалил плетень. Где-то гулко забухала собака.

Из широкого пня рядом с домом Толи высунулась черная рука с растопыренными пальцами, махнула и ушла вниз.

— Толя приглашает! — с широкой улыбкой, обнажавшей реденькие почерневшие зубы, обернулся художник. — Все окна светятся!

Несмотря на глухое утро, окна довольно приличного, но вроде бы растрескавшегося деревянного дома ярко светились, будто внутри шел бал. Матвей попятился:

— Может, его уже берут?

— Ты что! Они только в темноте берут. Ну зажгут какую-то плошку, чтобы протокол писать.

Осторожно постукали и напряженно прислушались, рассредоточившись по простенкам. Раздались легкие шаги, и в проеме возникла высокая фигура с растрепанными седыми волосами.

— А я вас жду! — сказал Толя — это был, конечно, он. — Думаю: кто-то должен обязательно забрести.

Они зашли. Посреди абсолютно голой комнаты стоял круглый полированный стол, грязный, изрезанный ножами. У стола сидела ослепительной красоты девушка. Может, она такой им только казалась. Белая блузка, белая короткая юбка, точеные ноги скрещены, прическа «конский хвост» из черных смоляных волос и жгучие, какие-то жаркие глаза. Матвей внезапно почувствовал обиду.

— Ну почему ты не мне досталась? — спросил он с порога.

— Может, и достанусь, — тут же ответила она бархатным, чуть хриловатым голосом. Рука ее держала стакан, и видно было — привычно. Глаза обещали.

— Познакомьтесь: Лариса, моя поклонница, волейболистка, —

возгласил театрално Рыбаченко, повел рукой, его самого тоже повело, но удержался.— Пришла посмотреть мои картины, а их нет — раздарил или пропил. Мольберт в углу стоит да палитра вон...

У Рыбаченко было серое лицо с утиным носом, на щеках ярко горели два красных пятна. Деловито поинтересовался:

— Пойло принесли? А то у нас уже высыхает.

Бутылка водки и бутылка рислинга были наполовину опорожнены. Лариса пила рислинг.

Матвеевы «бомбы» они уже давно прикончили, однако оставались еще заморская брендь во фляге и несколько горстей аптечных пузырьков луковой настойки по пятьдесят граммов каждый.

— У нас, знаете ли, пойло для мужчин,— выгружая пузырьки на стол, сказал Матвей.— О даме мы не помышляли.

Лариса с любопытством взяла один, посмотрела:

— Бр-р-р! Но пить можно.

— И еще как пить! — с восторгом подхватил кривоносый художник — Матвей так и не познакомился с ним.— Это ведь от желудка, ничего вредного: спирт и лук.

— А дозы?

— Доза обычная —по четыре пузырька зараз.

— Но тут написано: каплями.

— А куда я буду закапывать — в глаза, что ли? Закуски не надо — выпил, и будто луковицу съел. Постоянно злоупотребляю и, как видите, еще очень живой.

Матвей вытащил из кармана брендь.

— Ну, это для дамы.

— Уже лучше,— она жарко повела на него глазами.

Рыбаченко стоял посреди комнаты и декларировал:

— Говорят: великий — это один процент таланта, а остальное труд. А я что делаю? Сколько помню себя, спины не разгибал. И что же я такое? Член творческого союза, местная величина. А обо мне вспоминают, когда консервные банки надо рисовать. Конференции, форумы — это не для моей неумытой хари, это для тех... Братья по кисти, нос по ветру держат, за полированными столами сидят, знают, какое пятно где посадить и чтобы пятна на действительности не было. У них все права, у меня — обязательно. Ну разбирался я... с этим реализмом — фантазмагория. Реально! Но чтобы никакая реальность на холст не просочилась. Клеймят кубистов, футуристов, имажинистов — дескать, оторвались от жизни, а сами — абстрактнее свет не видывал абстракционистов... И эквилибристов. Эх!

Он махнул рукой и засуетился, разогревая что-то в кастрюльке на электроплитке. Они сели на страшно заскрипевшую тахту.

— Слышите? — сказала Лариса, — А мне музыкальное сопровождение никогда не нравилось.

Закурили.

— Чего он? — спросил Матвей. — В теорию ударился?

— Глаза раскрылись, — коротко сказал кривоносы. — И увидел свет. Пытался передать на холсте — затоптали.

Он мутно повел глазами по облупленным стенам.

— Но почему именно черти? — повернулся он к Матвею. — Я ведь комсомолец пятидесятых годов. И ты, наверное, тоже. Выросли в наше время, в церковь ни ногой, да и где они, эти церкви? Библии тоже не читал. А показываются обязательно черти.

— У меня они постоянно группируются на палитре, — живо откликнулся Рыбаченко. — И краску жрут, сволочи. Особенно любят алую. Прямо дерутся за нее. Пасти будто в крови, пищат... А один любит спать на электроплитке. Вылезет, свернется калачиком... на ночь я все с нее снимаю, — он рассказывал, словно про любимую кошку или собаку. Матвей содрогнулся: где он?

— Наверное, что вопрос философии, — заметил Матвей, взяв себя в руки. — У каждого из нас черти в душе. Но сидят до поры до времени. А спустишь тормоза — откуда что полезет.

Хозяин торжественно водрузил на стол закопченную кастрюльку.

— Суп с крабами! Вчера посетил выставку рыбной продукции и получил там заказ на этикетку: «Камбала, обжаренная в масле». Выдали аванс морожеными крабами.

... В замызганные, давно не мытые окна пробивался рассвет, загаженная мухами лампочка под потолком потускнела. Художники лежали внахлест на тахте, выхрапывая густые луковые пары.

Матвей поднялся.

— Пойдем?

— Пойдем, — просто ответила она и легко поднялась. Он обнял ее и поцеловал. Она тоже попробовала луковой — из любопытства, от нее пахло остро, но приятно. «Женщина облагораживает любой напиток», — мелькнуло, когда она вдруг ответила на поцелуй.

Они вышли на крыльцо, вдохнули утренний воздух. Из огорода, заросшего бурьяном, наплывали свежие запахи, но там что-то подозрительно мелькало, шуршало. Он попытался сфокусировать взгляд.

— Я, наверно, на грани, — пожаловался он. — Никогда «белочки» не случалось, а вот...

— Не печалься, я тебя вытащу, — пообещала она, взъерошивая волосы на его голове.

— А ты умеешь?

— Ты мне понравился, — ответила она уклончиво.

— Неужто такой красивый? — недоверчиво спросил он. Это был его комплекс. Лариса окинула Матвея критическим взглядом.

— На плакат не годишься, — констатировала безжалостно, — Но вообще в порядке. Не горбатый ..

— Хотя это заметила, — он обиженно хмыкнул.

— Но и был бы горбатым... Женщина любит не глазами, а ушами.

Такси тут, на окраине, ловить бесполезно, Лариса стала на углу и проголосовала первому «Жигулю». Аж завизжали тормоза! Да и кто не остановился бы — такая стрелочка в белой юбочке стоит в утреннем тумане. Матвей отделился от забора и, влезая в машину, увидел разочарованные глаза прилизанного клерка.

— Правь на Эгершельд, — велела она, а Матвей назло прилизанному обнял ее за высокую шею. Тот и вовсе заскучал, однако исправно закрутил баранку.

На Эгершельде все тонуло в тумане. Лариса остановила машину, они вылезли. Где-то внизу плескалось море. Матвей полез в карман — расплачиваться, но волейболистка его остановила. Просунув голову в окошко, сказала что-то водителю. У того сделались ошалелые от счастья глаза, он торопливо закивал, бросил вороватый взгляд на Матвея и торопливо рванул с места.

— Что ты сказала?

— Пообещала завтрашний вечер, — беспечно сказала она. — Дескать, ты мне надоел, сегодня спроважу. Пусть прикатит без пяти десять.

— И ты его встретишь? — ревниво спросил он.

— Можем встретить вместе. Или у тебя другие планы?

— Если не вытолкаешь в шею...

Не отвечая, она шла впереди, а Матвей любовался ее походкой. Женщины много времени уделяют парфюмерии и завиткам, забывая о главном своем оружии, которое поражает мужика быстрее радиации, — о походке. Женщина, которая владеет походкой, притягивает к себе мужские взгляды.

Лариса шла легко, стремительно, длинные ноги ее едва касались земли, белая юбочка ласкала, завиваясь, бедра. Отработала или от бога?

Кривая улочка спускалась к морю. Он и не подозревал, что в крупном индустриальном городе, рядом с центром, сохранились такие закутки. Узкие ступени вниз. По сторонам на кустах сирени висели крупные решета паутины. Прямо к скале прилепилась хатенка, поодаль — вторая.

— Там живут родители, — она указала на дальнюю. — Точнее, мать и отчим. А тут я с Ириной.

— С какой Ириной?

— С дочерью.

— Ты замужем? — мог бы и сообразить.

— Была. Теперь жду одного... то ли будет, то ли нет.

От избушек к морю скала круто обрывалась, но в ней тоже были вырублены ступени. На песке шипели волны.

— Знаешь, кто ты? — восторженно объявил он.— Ундина! Помнишь, у Лермонтова...

Она засмеялась.

— Ундиной меня еще никто не называл. Побудь здесь,— ушла, хлопнув дверью.

Матвей присел на скамейку в какой-то беседке, бездумно вдыхал запах моря. На пороге второй хатки, почесываясь, появилась старуха — растрепанная, морщинистая, но стройная и со следами былой красоты. «Мать,— догадался он.— Такие же полыхающие глаза...» Старуха посмотрела на него без удивления.

— Выпить есть? — спросила она.

У Матвея оставалась еще россыпь пузырьков и полфляги бренди. Пузырьки он не стал тревожить, а безропотно отдал бренди. Старуха скрылась и вернулась со стаканом. Сначала истово налила ему, потом выпила остатки.

— Не можете потерпеть! — раздался укоризненный голос Ларисы.— Это мой муж. Правда, не постоянный.

— Бесстыдница,— прошипела мать, но глаза ее ласково улыбались.— Все они непостоянные... залетные.

...Они спустились к морю. Берег, усеянный крупными камнями, поверху колючие кусты.

Вода обожгла тело утренней свежестью. Он хорошо плавал — не рекордсмен, но в воде двигался прилично, а на далекие расстояния обставлял многих. Но Лариса не плыла —она порхала в воде, словно бабочка, летела впереди, рассекая волны, и он никак не мог догнать смугло-розовое тело. Ундина! Потом она подождала его, лежа на пологих волнах...

На берегу она бросила ему мохнатое полотенце, он растерся и почувствовал, что жизнь возвращается.

— Ты еще и волшебница!

— Я же говорила... — она легко поднималась по ступенькам.

Подхватив одежду в беседке, он вслед за ней вошел в хату. Крохотный коридорчик.

— Там Ирина спит,— она кивнула на дверь, завешенную марлей от мух.— Не стучи.

Они вошли в уютную горницу, половину которой занимала широкая кровать. Мать внесла сковородку с жареной бараниной, и Матвей вдруг почувствовал зверский аппетит: суток пять не ел, а только «загрызал», живя исключительно на водочных калориях. Появилась бутылка с иностранной, но какой-то аляповатой наклейкой, внутри виднелся белесый корень.

— Женьшеневая! — одобрил он. — Хорошо пьется, мягко.

Водка отдавала сырой землей, но после нее радужные круги поплыли перед глазами. Сковородка опустела, так же, как и бутылка. Мать бессмысленно смотрела в угол. Не смущаясь ее присутствием, Лариса откинула одеяло:

— Ложись. А я тебя согрею.

Он лег на хрустящие простыни — давно не спал на таких, и показалось, что упал в темноту.

Не проснулся, а как всегда в последнее время — очнулся. Услышал рядом легкое дыхание Ларисы. Лицо ее дышало покоем. Глаза прикрыты длинными ресницами, полные губы полуоткрыты, видна влажная эмаль зубов.

«Да ведь я обормот, — подумал вдруг он. — Нужно бросить все и поселиться здесь, с Ундиной. Таких женщин больше нет на свете. Чего ищу?»

Он закурил, положил рядом на одеяло пепельницу.

«А ребенок? Ты ведь всегда мечтал о своих детях, — зашептал чей-то шершавый голос, но так явственно, что он вскинулся: никак все-таки «белочка»? — Зачем тебе чужие? К тому же мысль о предшествующих мужиках... А ты знаешь ее характер? Может, она левый поворот любит? С ее красотой теряться... Видал, как водителя охмурила? Всю жизнь сомневаться... А водку как хлещет! Через пяток лет куда и красота денется, станет такой же, как маманя. И будет ноздря в ноздю входить в штопор. Для семьи нужен тормоз, пример... нет уж, держись Лены. Та — чистота, верность».

Почувствовав его испытующий взгляд, Лариса приоткрыла затуманенные глаза.

— Вошел в меридиан? — хриловатым голосом спросила она и потянулась к сигарете. Он молча зарылся лицом в ее волосы, пахнущие морем, и все рассуждения вылетели из головы, смолк шершавый голос. Она сразу прильнула к нему. Незажженная сигарета упала на пол.

И тут в дверь постучали — резко, требовательно.

— Пусть идут к черту, — пробормотала она чуть слышно.

— Это за мной! — он рывком сел. — Окно куда открывается — наружу?

— Оно ведь нарисовано. Это глухая стена, там скала.

Матвей вгляделся: окно действительно было нарисовано на белой штукатурке. Ловушка!

— Так и знал. Все забыл, о втором выходе не подумал, олух царя небесного!

— Да кто это — за тобой?

— Знаю, знаю. Но никому не скажу, — он докурил сигарету, держа ее дрожащей рукой. — Придется встретить по-мужски.

Она оперлась на локоть.

— Я открою и скажу, что никого нет.

— Так тебе и поверят. Не тот контингент... Пока все тут не перетрясут, не успокоятся. А я не люблю прятаться по шкафам да под кроватью, чтобы в пыли и в паутине вытаскивали за ногу. Но двоим-то рожи сверну! — он подхватил хрустальную вазу. — Не жалко?

Она молча, не мигая, смотрела на него. В дверь снова постучали. Матвей неслышно подкрался и неожиданно ее распахнул.

В темном коридорчике виднелись два силуэта в шляпах.

— Точно, он, — сказал знакомым голосом один силуэт.

— Матюша, друг! Наконец тебя нашли! — возопил другой. И оба упали ему на грудь.

Только слово «друг» их и спасло. Матвей уже целился вазой одному прямо в лоб, а другого думал свалить ударом плеча под дых — и все в одном рывке. Такое проделывал.

Это были два его добрых приятеля из Находки. С одним он, кажется, пребывал в каком-то нарко. В пьяной драке тот потерял глаз и теперь носил черную повязку. «Как Билли Боне», — говорили друзья, хотя Билли Боне черную повязку не носил и вообще был двуглазым. Но кто-то спяну перепутал так и пошло.

Коротко они пояснили. Приехали в командировку и как-то очень согласованно — ноздря в ноздю — вошли в штопор. А сегодня утром очнулись: ни денег, ни алкоголя. Не сговариваясь, единодушно решили: нужно искать Матвея. Этот выручит.

Вслед за ним они вошли в уютную горенку, один за другим сняли шляпы — все-таки люди культурные. И только тут заметили Ларису, которая стояла у нарисованного окна и курила, выжидательно глядя на них.

— Явление! — одноглазый рухнул на колени и простер руки в стороны. Другой ошарашенно переводил взгляд с нарисованного окна на обнаженную женщину и продолжал машинально потирать руки.

— Ну ты хоть представишь мне своих друзей? — невозмутимо сказала Лариса. — Раз ваза цела, значит, друзья.

Только тут Матвей заметил, что по-прежнему сжимает в руке хрустальную вазу. Осторожно поставил ее на стол, присел на кровать и вытер дрожащей рукой пот на лбу.

— Не те, верно. Наши люди... из Находки. Вон тот, что ползает к тебе на коленях, — Пашка, а который шупает нарисованное окно — Олег. Представители крупной интеллигенции. Но как вы нашли меня?

— Ты забыл представить нам неземное создание, — Пашка завладел наконец рукой Ларисы и нежно гладил ее.

— Это Лариса, баскетболистка...

— Волейболистка. — поправила она, — и большой мастер по выводу алкашей из штопора.

— Это окно нарисовано, нарисовано? — Олег дрожащими руками ощупывал стену.

— А что тебя тревожит? — спросила Лариса.

— Мне всю ночь снилось, что я в Находке на какой-то демонстрации и ору без конца: «Ура! Ура!» Но все вокруг — люди, машины, флаги, физкультурники, дома — нарисованы на картоне, хотя все движется, кричит, поет. И вдруг — это нарисованное окно! — он вытер мокрый лоб.

— Мне бы твои заботы, — пробурчал Матвей. — Тут только одно окно нарисовано, а остальное настоящее. Как вы меня нашли?

— Очень просто, — Олег оторвался наконец от окна. — Вышли на угол и спросили. Тебя ведь все здесь знают!

— Но откуда знают, что я у Ларисы? Кого спросили? — Матвей чувствовал, что он на грани.

— Алкаша, естественно. Такой, с перебитым носом... брел, ранняя пташка, и никого не узнавал.

— Ага, художник! — кое-что начало проясняться. — Погодите, но имени моего и он не знает! Мы так и не познакомились, гудели, правда, весь вечер... то есть ночь.

— А мы твоего имени и не называли. Просто обрисовали: портфель, борода, настырный, рассказчик сальных анекдотов. Он сразу и указал. Лариса с Эгершельда, массажистка.

— Какая массажистка?

— Если тебя все знают во Владике, то меня все знают на Эгершельде, — бросила через плечо Лариса. Вытащила легкую шелковую пижаму и стала одеваться: короткие, до колен, штанишки, короткая курточка, расшитая золотистыми драконами и синими птицами, японская, а может, китайская.

— Точно, — пробормотал Олег. — Говорят: «А, Лариса-массажистка!»

Пашка с чувством пожал Матвею руку.

— Некоторые остолопы любят, когда девушка раздевается. Но я всегда любил смотреть, как девушка одевается. Утверждаю: нет зрелища более волнующего!

Лариса причесалась — собрала волосы в конский хвост и заколола.

— Что будем пить? — повернулась.

— Нет, нет, нет, — Пашка сжал голову ладонями. — Наверное, я попал в рай для алкашей. Стоило входить в глубокий штопор, мучиться с похмела, стремиться сюда. Где еще такая полная жизнь!

— Полная! — встрепенулся Олег, не сводя глаз с бутылки

женьшеневой, которую Лариса извлекла из шкафа. Матвей вспомнил о россыпи пузырьков с луковой. На столе появилась тарелка с квашеными помидорами.

— Сейчас мать баранины поджарит.

— Никакой баранины! — решительно махнул Олег. — Мы в сухом штопоре. Только загрызть. А тут все есть.

Названивая горлышком о стакан, он налил себе половину, пытался поднести ко рту, но не смог — рука выплясывала.

— Ба-а-арыня, барыня! — Пашка уставился на стакан, — А может, камаринская. Возьми полотенце, способ проверенный.

Олег сделал петлю из полотенца, вдел в нее руку со стаканом, перекинул полотенце через шею, как через полиспаст-блок, и стал подтягивать стакан ко рту, пуча глаза. От напряжения на лысине у него выступили капельки пота. Наконец причастился.

— Пошло! — он облегченно вздохнул. — Сейчас всосется, и начнут со скрипом расправляться члены.

Все приняли по одной, наливали каждый себе — норму знали. Вторая пошла легче, без полотенца.

— В английском языке искали эквивалент русского слова «помелье», — оживился Пашка. — И не нашли. Перевели приблизительно: «пьянка на следующий день».

— Ты ему верь, — сказал Матвей Ларисе. — Он близок к литературным кругам. Или кольцам? А может, петлям...

— А кем ты работаешь? — Лариса задумчиво пускала дыга кольцами.

— А кем я могу работать? — сузил глаза Матвей. — Конечно же, толкателем.

Начал он в Хабаровске. Узнав о постигшей его жизненной неудаче, один из случайных собутыльников — начальник отдела кадров крупного завода — предложил ему поработать толкателем.

— Перспективно. А нам нужен человек именно с такими качествами, — сказал он, потягивая «Пино-гри» в буфете ресторана «Дальний Восток», — щекотливые дела решаются только в подобных заведениях. — Легкий на подъем, веселый, знающий жизнь и массу похабных анекдотов.

— А кто такой толкатель? Снабженец, что ли? Толкач?

— Ну ты скажешь! — поперхнулся коньяком завкадрами. — Да разве какой-то затюканный, засаленный снабженец-толкач может сравниться с блистательным толкателем? Даже в словах есть разница, улавливаешь? В первом нечто тупое, вроде кувалды, долбящей в одну стену, а во втором чувствуется взрывная сила, ум, современность, в нем бушуют атомы, нейтроны!

Чувствовалось, его «забрало».

— Поясни, поясни, — придвинулся Матвей.

— Помнишь сказку «Поди туда, не знаю куда»? Это о толкателе. Только он один способен на такое. В недрах стылых бюрократических аппаратов выростала фигура, которая стала пружиной действия, появляясь в местах многочисленных пробуксовок. Толкатель. Как правило, это человек высокообразованный, тертый, умеющий изъясняться. Когда вот эти самые толкачи обломают свои тупые головешки о стену, его посылают по какому-то конкретному заданию, но и тогда он решает сразу целый комплекс вопросов. А чаще всего ему дают стратегическое направление и открытый карт-бланш: осмотришь, действуй по обстановке, выясни, что на данном этапе можно урвать с наибольшей для себя выгодой. И он едет туда, не знаю куда, привозит то, не знаю что.

— А смысл? Зачем такая деятельность?

— Ты ходил когда-нибудь по магазинам? Наш покупатель ведь не идет с определенной целью: купить сто граммов масла, полкило колбасы, пару носков, лосьон. Он идет купить то, что дают, что сегодня выбросила торговля в продажу не для ублажения покупателя, на которого ей всегда было наплевать, а для выполнения собственного плана. Ну вот. Толкатель действует точно так же, но в масштабах своего предприятия. А для этого он до тонкостей должен знать конъюнктуру, рынок, возможности и потребности, видеть перспективы, шевелить извилинами. Толкатель — это мозг завода, его кибернетический центр, заброшенный в далекую галактику, откуда идут материалы, фонды, средства и даже... — завкадрами понизил голос, — планы. А он — катализатор.

— Позволь. А директор?

— Что директор? — махнул рукой тот. — Директор озадачивает коллектив, накручивает хвосты, мылит шею, покорно выходит на ковер, ссылается на объективные причины и погоду. А у толкателя никаких объективных причин нет. Оружие директора — матюки, угрозы, накачки. Он и с рабочими-то толком поговорить не может, все срывается на визг: «Давай-давай, братцы, поднажми еще немного!» А у толкателя могучий арсенал психологических ключей и отмычек, он должен найти подход, поговорить по душам и с простым люмпеном, и с министром, найти доводы и убедить каждого. Он змий-искуситель, что лезет в душу. Словом... — он вздохнул, — не каждый директор может стать толкателем, более того, директор, как правило, не может им быть, а опытный профессиональный толкатель может работать на любом предприятии, в отрасли и даже... министерстве. Да, и в министерстве!

— Ну, попробую, — ответил Матвей. — Что мне терять, кроме цепей. А у меня и цепей-то нет.

Для начала его послали в один леспромхоз, чтобы вытолкнуть застрявший там эшелон леса, который предназначался для завода. Позже он узнал, что это был его испытательный рейд. Кадро-

вик — битый волк! — умолчал о том, что до него посылали туда толкателя, молодого, напористого, кося сажень в плечах, а за плечами не одно успешное дело. Но то были дела, которые решались в приемных главков и трестов, среди милых секретарш и лошених клерков, — той коробку конфет, букет цветов, тому — ужин в ресторане и «сувенир». А еще белозубая улыбка, блестящий пробор на голове, массивный золотой перстень с печаткой, японские часы «Сэйко», добротный костюм, приличные манеры.

По натуре это было самое настоящее свинорыло — прижимистый, скупой, старался урвать даже из тех денег, которые давались ему для представительства — конфет, коньяков и прочего. И все копил на свои заветные «Жигули» да на кооперативную квартиру с обстановкой. Леспромхоз он считал легкой добычей: нажать на затюканное начальство, упомянуть в разговоре несколько влиятельных имен, обложить энергичным матом среднее звено и лично проследить за погрузкой.

Но он не учел одного — самого нижнего звена.

Весь план его сразу же полетел кувырком. Затюканное начальство оказалось в отъезде, среднее звено послало его сначала очень далеко, а потом поближе — к лесоповалыщикам. Кипя негодованием и энергией, молодчик-толкатель прибыл в барак рядовых тружеников и стал дожидаться их прихода с работы. Он думал провести тут короткий летучий митинг, кинуть несколько лозунгов, кратко охарактеризовать текущий напряженный момент, подвести итоги, наметить перспективы, мобилизовать на трудовой подъем. И в качестве стимула — несколько туманных обещаний о моральном и материальном поощрении.

А пока дожидался, решил подкрепиться. Вытащил колбасу, сало, малосольные огурчики, зеленый лук, соус «Кетчуп», булочки — все в пакетиках, бумажечках, стерильно. И едва только поднес к сочным губам первый кусочек, как в тамбуре загрели сапоги. Лесоповалыщики в брезентовых робах, заросшие, угрюмые, на миг застыли на пороге, оглядывая дикий гостя и его богатую закуску. Ввалились в барак и плотным кольцом окружили молодчика.

— Колбасу жрешь? Сало? — заговорил высокий, костистый, с корявым лицом. — Малосольные огурчики?

Говоря это, он брал закуску и бросал в рот — проглатывал, даже, кажется, не жевал.

— А мы крупной давимся!

— Рыбкин суп хлебаем.

Закуска вмиг исчезла со стола.

— Товарищи! Товарищи! — вскочил на ноги молодчик. — Я ведь не проверяющий. Я к вам по делу...

— По делу? А где сивуха? — Низенький лесоповалыщик без це-

ремоний залез в несессер, вышарил там одеколон «Чары» (запах мужественный, приятный), отвинтил пробку, понюхал и вмиг высосал из резного горлышка. Сплюнул.— Тройник лучше. Ну?

Глаза у молодчика стали квадратные. Он смутно начал понимать, что мобилизующий митинг с общими призывами вперед и выше может не получиться.

Однако он был уверен в себе, в тех могущественных силах, что стояли за его спиной.

— Как вы смеете? — он пытался вырвать несессер из жадных рук: там еще импортный бритвенный станок, английские лезвия «Жиллет», несколько авторучек с нарисованными красотками (перевернешь — она голая) для презентов начальству и прочая дребедень, столь милая его крохоборскому сердцу.— Я жаловаться буду! Сегодня же позвоню...

Множество луженых глоток загрохотали:

— Гра-гра-гра!

— Жалуйся, мать твою! А это видал, звонарь? — и к его носу приблизился шершавый, весь в трудовых наростах кулак. Кто-то уже щупал его костюм:

— Пузырей пять дадут...

Сдавили со всех сторон умело — едва молодчик рванулся, как задел кого-то, толкнул. «А-а, ты по мордам нас...»

Через полчаса молодчика привели к проходящему товарняку, но в каком виде! Никто из милых секретарш не опознал бы лощенного вздыхателя в этом синемордом, квалифицированно побитом, с заплывшими глазами, растрепанном, одетом в засаленную робу и дырявые сапоги жалком поникшем человечке. Он только шипел — зубы выбили. Ни часов «Сэйко», ни перстня с печаткой, ни диагоналевого костюма...

— На первый раз милуем,— сказал костистый, и поднятый могучими лапами за штаны и шиворот толкатель влетел в распахнутую дверь и упал на вонючую солому — в вагоне везли до этого свиней.— И чтоб не смердел тут! Пусть пришьют кого покороче.

И тогда послали Матвея, ничего не сказав о постигшей его предшественника печальной участи. Это было жестоко, но таково правило. В толкателях уцелеет тот, кто сумеет выкрутиться.

У Матвея тоже были свои правила, выработанные еще с суровых времен детского дома. И одно из них: попав в незнакомую обстановку, не высовываться до тех пор, пока все не выяснишь. Выезжая в тайгу, он надевал тогда парусиновую штормовку, тельняшку, берет, спортивные брюки и кеды, в рюкзак укладывал два куска брезента, чтобы спать у костра, немудрящую закуску. Что-то в последний момент побудило его захватить пару бутылок — коньяк и водку, правда, тогда синдром еще не сформировался, и алкоголь мог лежать в рюкзаке долго, до удобного момента.

приехав и потолкавшись на станции (не то что эшелона — вагона нет!), он поплелся в леспромхоз и там разговаривал с разными людьми, выдавая себя за грубую рабсилу, которая ищет денежную работенку. Лесоповалычики отнеслись к нему мирно, дружелюбно, назвали несколько бригад, где нехватка рабочих рук. У одного крановщика выдалась свободная минутка: бревна в запань подходили партиями, и он сел с Матвеем у штабеля. Закурили. Узнав о поисках новичка, тот сплюнул:

— Пропади она, эта работа! Беги отсюда, парень. Привыкнешь к большой деньге, черт за уши не оттянет. А за деньгу себя похоронишь живо.

Он помолчал.

— Жадность фраера сгубила... Взял я две смены, молочу шестнадцать часов через восемь. Что я вижу? Иногда кажется, что родился только для того, чтобы работать...

И такая едущая тоска прозвучала в его голосе, что у Матвея защемило сердце.

— Да и шантрапа тут разная... нанесло их, как половодьем. Отпетые! Закон — тайга. Сунут перо в бок, и никто не узнает, где могилка твоя. На них и власти махнули рукой. Вон недавно обрабатывали шустрячка...

Так Матвей услышал о доле своего предшественника. «Ах, паразит!» — подумал о кадровике. Переночевал у тоскующего крановщика, тот жил в отдельной хатенке, в благодарность за сведения угостил его. Крановщик сообщил много полезного, описал «бугров» бригад, их слабинки, бытующие тут традиции. И наутро Матвей выехал на товарняке в райцентр, за семнадцать километров, а вернулся к вечеру с полным рюкзаком: питьевой спирт и пятидесятишестиградусная водка — «черная туча».

Направился прямо в тот барак, где «бугром» был костистый, звали его Пантелей, а попросту Пантюха.

— Он тут самый авторитетный,— сказал о нем крановщик.— План гонит, что скажет — закон. Но если ему не понравиться...

Матвей вошел. Накурено, дымно, развешаны портянки, лежат и сидят на койках небритые, бородатые, четверо за широким столом забивают «козла» явно на интерес — глаза лихорадочно блестя. Кто-то латает сапоги.

— Здорово! — сказал Матвей.— Алкоголики тут есть?

На миг наступила тишина. Один застыл с поднятой костяшкой в широкой лапе. Глаза сверлили со всех сторон.

— Морячок,— протянул кто-то.— Только не хватало. Чего тут?

— Был морячком,— ответил Матвей.— Пантюха тут?

Тот, кто латал сапог, откликнулся нехотя:

— Ну?

— Тебе привет,— Матвей все еще стоял на пороге.

— От кого? — хмуро спросил Пантюха. Лицо у него красное, безбровое, побитое оспой, глаза рыжие. «Такие самые оп'асные, никогда не угадаешь, куда попрет».

— Потом скажу,— Матвей шагнул, Пантюха едва Заметно кивнул, и на заплеванный пол упало чистое полотенце. С койки справа выжидательно смотрел чернявый, похожий на цыгана.

— Подними! Не видишь — уронил.

Матвей с чувством, аккуратно вытер о полотенце грязные кеды.

— Не надо ронять, держи крепче.

Цыган бешено рванулся, но сразу отступил, услышав густой голос Пантюхи:

— Охолонь. Свой, порядки знает.

Матвей подошел и намеренно со звоном бутылок водрузил рюкзак на стол. Спавшие, как ударенные током, проснулись, многие приподнялись, готовясь к броску.

— Никак пойло?! — бабье лицо Пантюхи поползло, размякло. Он шагнул к столу, быстро ощупал рюкзак. Матвей еще раньше сосчитал бригаду— должно хватить, восемнадцать человек.— Да от кого ты, малец?

— Все расскажу. Сначала жажнем. Вот с закуской не густо, одни констерьвы.

— На что нам закуска? У нас черемши полно — загрызть. Мы ее, матушку, не закусываем, быстрее чумеешь.

Мгновенно весь барак закипел бурной деятельностью. Несли на стол стаканы, кружки, охапки черемши— дикого чеснока, от цинги верное средство.

Матвей стал деловито выгружать содержимое рюкзака.

— «Черная туча»! Спиртяга! — от волнения у «бугра» слезы выдавились.— Ангел ты мой, божий посланник, дай поцелую...

Он обнял Матвея так, что у того захрустели молодые кости. «Шатун. К такому попади в когти...»

— Ты даже не знаешь, как ты к моменту попал.

Оказывается, после работы «бугру» вручили телеграмму: где-то на Псковщине тихо почила его мать, а уже поздно было куда-нибудь ехать, добывать, вот он и сидел пригорюнившись. Чтобы забыться, стал даже сапог латать и все шептал: «Как это... маманю не помянуть...»

— Да, тебя бог послал. Хотя, скорее, черт — бог-то о пас давно забыл...

— Черт, черт! — заревели все вокруг, жадно следя, как проворный цыган истово разливает всем поровну. Только двое отказались — подошли с дымящимися кружками в руках.

— Нам водку вредно, мы чифиристы,— сказал один.— А не найдется ли у тебя заварочки?

Матвей возил всюду с собой литровую банку зеленого чая— быстро выводит интоксикацию, и тут же отдал ее.

— Хотя зеленый, но много.

— Ничего, прожарим,— подмигнул чифирист.

— Ну,— поднял кружку Пантюха,— помянем мою маманю, пусть земля будет ей лебяжьим перышком, видать, это ее душенька побеспокоилась о сынке, хотя досталось от него немало горя...

Прозвенели разнокалиберной тарой, мгновенно осушили, захрустели зеленой черемшой. Пряный запах тайги и свежести разлился в спертom воздухе. Цыган стал тут же разливать по второй. Эту выпили за Матвея, за счастливый случай.

Закурили, ждали, когда всосется, разольется теплом по усталым, издерганным жилкам. Пантюха повернулся, его глаза походили.

— Рассказывай,— это короткое, но емкое слово с того времени и запало в душу: что юлить, пришла пора выкладывать. Еще раньше Матвей приметил на облупленном мизинце «бугра» массивный золотой перстень — видать, на другие пальцы не лез. «Тот! Кто же будет на мизинец покупать?»

— От кого привет?

Матвей потянулся через стол и ткнул в перстень.

— От этого... который раньше носил.

Рыжие глаза сузились, сверкнули рыжим огнем. Это был единственный момент, когда Матвей засомневался, выйдет он отсюда или его вынесут.

— Ну? — «бугор» не сводил с него тяжелого взгляда.

— Послали его сюда по ошибке. Обычно он дамскими рейтузами промышляет,— подал он давно заготовленную реплику.— Пятьдесят шестого размера.

Кто-то закудаhtал сиплым смехом.

— Какого размера? — не понял Пантюха, во взгляде промелькнула растерянность — этого и добивался Матвей: сбить с панталыку, взять инициативу в свои руки.

— Обычно рейтуз пятьдесят шестого размера,— он показал руками,— промышленность выпускает мало, плановые органы не учитывают женскую природу. А она такова: пока в девах — стройная, тоненькая, держит себя в узде. Как только шмыгнула замуж, ее и понесло — ходит по квартире в замызганном халате или даже в комбинации, жрет в два горла, в три горла лается, дескать, куда ты, муженек, теперь от меня денешься? Ну, и разносит ее за год-два, как бочку. Носит она рейтузы до колен 'сине-зеленой расцветки, соблазнять, мол, уже некого и нечего, я своего добилась. И таких тьма! А плановики считают, что таких мизер. Вот и возникают перебои с рейтузами, дефицит.

По крайней мере большая часть вдохновенной речи Матвея

была несправедливой по отношению к женщинам — толстели они от неправильного питания, от нехватки времени, чтобы поухаживать за собой, держаться в форме. Но и доля правды была. Матвей в то время презирал женщин за их жульническую привычку прихорошиться перед ухажером, выдать желаемое за действительное, а сразу после загса распуститься. Конечно, суровая система равноправия давит женщин, быстро ломает, но ты стисни зубы и терпи — не маленькая. Соответствуй!

По тому, как заблестели у многих глаза, как одобрительно закивали головы, переглядываясь и похмыкивая, он понял, что рассчитал верно: почти все тут присутствующие в свое время пострадали от жен, пытавшихся их перевоспитывать, и настроены были воинственно, приписывали им мыслимые и немыслимые грехи.

— Верно, верно! — вскочил цыган, — Моя — ух! Попадись, я б сейчас наступал ей по головешке... азбукой Морзе!

— И тогда посылают молодчика, — закончил Матвей. — Он по рейтузам спец. А вы ему зубы повылущили, паспорт попортили.

— Кхе-кхе-кхе, — заперхал Пантюха непривычным к смеху голосом. До сих пор слушал разинув рот. — Где ж он теперича?

— Вставил золотые зубы и подался за антикурительной резинкой. Только от нее толку мало — жуешь, жуешь, а курить все равно хочется. Да и выпить не мешало бы.

Ловкий ход сделал свое дело: взоры всех обратились к бутылкам. Цыган стал хлопотливо разливать.

— Ну что ж, — Пантюха неторопливо пожевал черемшу. — А тебя, как я понял, взамен прислали?

— Чего темнить? — Матвей решил говорить напрямик. — Вот стою я перед вами словно голенький. Не добуду леса — выгонят с работы.

— Приходи к нам, — сказал «бугор» жестко.

— А что? Может, и приду, — легко откликнулся Матвей. — Если примете.

— Примем, примем, — раздались заплетающиеся голоса. — Можно сказать, вступительную уже внес... Порядки знаешь!

Пантюха о чем-то напряженно думал.

— А знаешь ли ты, малец, что за это... — он повел по столу рукой, сшиб одну бутылку, ее на лету подхватили, бережно поставили, — за это мы тебе погрузим только одну платформу? Одну платформу! — повторил он, значительно подняв палец. И быстро спросил: — Ты ведь должен знать расценки?

Матвей молча кивнул, хотя ни о каких расценках не слышал.

— Таких, как ты, много тут шалается, — продолжал «бугор», — да мы их в черном теле держим. Некоторые месяцами кантуются, живут в тайге, черемшу жрут. А мы им вот! — он скрутил и поднес Матвею под нос фигу величиной с арбуз. — На-

планировали... Они там планируют, а мы отдувайся. А лес... он ведь один. С него десяток планов не выдобишь.

Матвей молчал.

— И идут, и едут, и летят. Давай, давай! Мы те надаем! Нету леса! Если хочешь, бери пилу и вали. А мы посмотрим,— Пантюха выкладывал накопившее, и Матвей не встрезал — пусть выговорится, хотя разговор уже вышел из-под его контроля и неизвестно чем мог теперь кончиться.

— А забота о нас? Только на транспарантах! Вспоминают, когда давай-давай! Жизнь развеселая... землю хочется грызть. А этот приехал в золоте, колбасу жрет, сало! Вот и сорвалась душа...

Он неожиданно схватил Матвея за грудки, скрутив штормовку и тельняшку узлом — с вывертом.

— Понял?

— Понял,— твердо сказал тот. Ради таких моментов и жил.

Пантюха медленно разжал клешню.

— Ну, тебя не касается. Ты нам понравился. Подгадал к моменту, ублажил. Но даже если бы и не подгадал... все равно. Люблю честность! Вот ты пришел и честно сказал: я мальчик Петя. За это... уважаем. Наливай!

Снова выпили, на этот раз неразведенного. Огнем пошло.

— Ладно. Будешь каждый день привозить по столько, а эшелон мы тебе погрузим.

— Браты! — сказал Матвей.— Все, что выдали, всадил в пойло. Дозвольте хоть на завод смотаться, денюжат выдать.

— Не надо никуда мотаться,— махнул Пантюха.— Деньжатами снабдим, не такие убогие. Ты только поставляй исправно. А кого я pošлю? Этих? — он указал на сидящих вокруг.— Не подумай, мужики честные, но как дорвется который, либо в трезварий попадет вместе с бутылками, либо пропьет все неизвестно с кем. Что с него возьмешь? Наши люди.

Так началась одна из самых напряженных недель в его жизни. Он ездил в райцентр за сивухой, а бригада грузила эшелон. Откуда-то и эшелон нашелся — в округе явно уважали Пантюху. Работали ударными темпами, в сжатые сроки,— каждый день грузили по три-пять платформ. Матвей шатался по райцентру, пил пиво, смотрел один и тот же фильм в клубе железнодорожников «Женщины Востока» — хорошо, что этот, смотреть можно, потом нагружал рюкзак голым спиртом — по настоянию бригады теперь он покупал только спирт, пачки чая для чифиристов, брал разные консервы и катил обратно.

Лесоповалычики возвращались со станции усталые, но довольные— наконец-то труд был им в радость, торопливо мылись и подсаживались к столу. Один из чифиристов к этому времени нава-

ривал котел какой-нибудь гороховой похлебки с мясными или рыбными консервами, и начиналась долгая задушевная беседа про жизнь, рассказывали разные случаи, происшествия, анекдоты — тут уж Матвей мог блеснуть своим запасом, посмешить народ. Утром похмелялись родниковой водой — потому и требовали спирт. Знал: сколько бы ни стояло на столе, все высосут досуха, на опохмелку не оставят, не принято у россиян, чтобы оставлять. А утром маяться? После спирта же достаточно хватить ковшик студеной — и снова косой, можно трудиться на благо общества.

Матвей как-то пытался оставить пару бутылок на опохмелку, из жалости, но бригадир хмуро предупредил:

— Такое брось. У кого-нибудь душа загорится, придушит тебя: давай что спрятал! Никто не спасет. А так знают: все на столе.

Уроки жизни. И когда-нибудь сослужат они добрую службу, остерегут от глупого необдуманного шага.

В конце недели у Матвея начался неудержимый тремор, физиономия распухла и приобрела стойкий багрово-синюшный оттенок, в ушах звенело. Мучимый бессонницей, он однажды вышел из барака и при ярком свете луны увидел, как по траве наискось мимо пронесся громадный черный медведь. Сначала он опешил: невиданное чудище! Решил посмотреть следы. Подошел, и волосы зашевелились: росная трава не тронута. Сбоку раздался топот, Матвей обернулся так, что чуть не упал, — к нему приближался стреноженный конь Чалый, бригадный работяга, которого он часто подкармливал корками хлеба. Глаза у него как-то странно горели! На гриве сидело двое пацанят. «Кто бы это ночью?» Он не додумал, увидел короткие белые рожки на курчавых головках, острые сверкающие зубки и все понял.

— Ну, — сказал наутро Паитюха, выслушав его рассказ. — Не привык ты, малец, к нашим космическим перегрузкам. Это все виденица, предвестник «белочки». Ничего, ныне заканчиваем. Привезешь в последний раз, но сам хватанешь немного, спускай на тормозах. А вернешься домой, иди в парилку, настегайся веником до остервенения и перед сном хлопни стакан — только стакан! — белой. И на ближайшее время воздержись. Мы тебе добра желаем. Привязался к тебе, как к сынку, жалко расставаться. Ежели прикрутит, приезжай, выручим. А это от меня... за маманю... — и он надел Матвею золотой перстень. Тот самый. Матвей хотел было запротестовать, но, взглянув в хмурое лицо «бугра», передумал. Перстень он потом пропил. Не носить же!

Доставив эшелон леса, он не стал задерживаться на заводе. Все, что думал о кадровике, высказал ему сразу при встрече, а тому сильно не понравилось.

— Тебе, гаду, зубы надо вылущить! — спиртыга еще бродил в венах и артериях, и Матвей не особенно подбирал выражения. —

Что ж ты меня втемную послал! Играй честно! Вурдалак!

— Вы пьяны! Я уволю вас по статье!—перешел на официальный визг тот. Однако понимал, что кишка тонка: Матвей только что получил от директора благодарность, премию и пошел отсыпаться.

Кое-как отойдя от недели беспробудного пьянства, Матвей обнаружил, что знаменит. Слава о толкателе, который за неделю пригнал эшелон леса из леспромхоза (и какого леса!), где самые тертые калачи сидели безрезультатно месяцами, пролетела по конторам. Матвея наперебой приглашали, и он мог выбирать. Так он стал профессиональным толкателем.

И успешно справлялся со многими заданиями. Потом были и главки, и тресты, и приемные, и встречи с высоким начальством, и милые секретарши, и отдельные номера фешенебельных гостиниц. И пить приходилось уже не только неразбавленный, но и коньяк, и виски, и саке, и джин, и коктейли, и марочные, и сухие, разбираться — что с чем сочетается. Работа давалась ему легко — он словно был рожден для нее, умел сходить с людьми, аргументированно говорить с самыми неприступными боссами и при этом поворачивал дело так, что собеседник испытывал настоятельную необходимость помочь этому доброму малому. Всегда был окружен друзьями, помогал многим.

Легко жил, не задумываясь. И первый удар в лоб получил, когда попал в нарко. Правда, и в нарко попал прилично, не как забуддыга. Начальство, увидев его после одной напряженной поездки, стало уговаривать: «Матвей Иванович! У вас видок — охо-хо! Не отчитывайтесь сейчас, не нужно, какой там отчет. А давайте-ка позвоним знакомому врачу и устроим вас денька на три в одно заведение. Подлечитесь, укрепите нервы...»

— В дурдом, что ли?! — шарахнулся Матвей. Чуть со стула не упал.— На ата-та километр? Да вы что? Это ж слава какая!

— Никто не узнает,— журчаще уговаривало начальство.— Все будет шито-крыто. Как вы могли подумать? Такого человека...

Все было брехней. Оказывается, группа захвата уже давно ждала в соседнем кабинете — в белых халатах, чопорные, доброжелательные. А Матвей кочевряжился, отнекивался, считая, что от его согласия что-то зависит. Но потом вдруг подумал: «А почему бы и нет? Все равно придется когда-то туда попадать». Он уже чувствовал. И согласился.

— Только на три дня. У меня дела...

— Вот и ладненько,— начальство разулыбалось: не нужно прибегать к грубой силе, вязать и волоочь через кабинеты, кто его знает, чем оно кончится.

Под столом незаметно нажата кнопка. Влетел заместитель, словно ясноглазый витязь. Не пьет, жизнь ведет здоровую, идет

на взлет, как истребитель, анкета подобна снегу, полон свежих идей. Уже решено его и в академию отправить, дабы выковать достойную смену трухляющему начальству, и выделить комфортабельную четырехкомнатную квартиру (спецзаказ!), и прочие перспективы сияют. Вот только грешок, несовместимый с кодексом: увлекается юницами. И толкутся эти юницы прямо в его кабинете, идут чередой нахально на глазах сослуживцев, вызывая отвлекающие эмоции. Ну кто из нас без грешка, думало снисходительно начальство, забывая о том, что само оно уже давно без всякого грешка и что скоро придется сдавать дела тому же ясноглазому витязю с идеями. Что ж, такова се ля ви.

— Слушаю, Ваваныч,— мягкой неслышной походкой барса приблизился заместитель.

— Так это... Матвей Иванович согласен. Проводи.

И как только зашел он в кабинет и увидел белые шапочки и халаты, все понял. Но было поздно: слово сказано, а слово свое он привык держать крепко — основа его профессии.

Измерено давление, сосчитан пульс.

— Как спите? Как нервы? — начал было лицемерные расспросы старший команды. Матвей махнул рукой:

— Чего уж там. Везите.

И повезли. Кстати, судьба справедлива. По крайней мере один из вершителей акции позже погорел так круто, что даже Матвею его стало искренне жаль. А ведь акция позорная! Из-за родного предприятия входил он в перегрузки — и с благословения начальства, да что благословения — и средства субсидировались. А у ясноглазого витязя увлечение юницами кончилось тем, чего и следовало ожидать: опорочил непорочную. Родители влиятельные, кинулись в высокие сферы. И тотчас жажнули и по учебе в академии, и по спецквартире, и по всем перспективам. Пришлось бедолаге бежать куда-то в Тьмутаракань и начинать с нуля.

А пока повезли Матвея. По пути остановились у поликлиники: что-то нужно было взять. Матвей вышел покурить, шатнулся: снег синел под луной, мороз крепчал. Рядом "возник шофер, "в руке откровенно сжимал монтировку.

— Ты чего?

— Охраняю,— просто ответил тот.

— Да ведь я сам! — удивился Матвей.— По своей воле.

— Знаю я вас, самих. Везешь, а потом этот сам как рванет, заведет лавку!

Он почувствовал, что вокруг смыкаются неумолимые клещи. В чем, собственно, дело? Прикинул шофера: нет, врукопашную его не возьмешь — насторожен, вооружен, стоит в трех шагах. А у него руки-ноги ватные... Все прояснилось, когда его облачили в полосатую пижаму, свернули и унесли куда-то вещи.

— Ну вот,— потирая руки, заметил заведующий,— лично принимал. Лечиться придется не меньше месяца. Болезнь, знаете ли, сильно запущена.

Да что вы! — Матвей снова чуть со стула не свалился.— Ведь мне сказали: три дня! Неотложные дела...

— Самое неотложное дело теперь для вас — собственное здоровье, — мягко, настойчиво подчеркнул Евгений Дмитриевич, а это был он. А может, Иван Сергеевич? Или Борис Петрович? Ну неважно. В голосе его чуть звякнула сталь, но Матвей звяканье услышал четко и тотчас временно отступил. Обдурили. «А у меня мысли путаются, не в форме, только усугублю... Нужно ждать».

Его провели в палату и положили на свободную койку. Санитар, то бишь мордоворот, принес кружку чаю. То, что он сразу же ушел, Матвея и спасло, потому что если бы он видел дальнейшее и доложил врачу, то куковать пришлось бы долго.

Он отпил половину кружки и, не вставая, пытался поставить рядом с кроватью на пол. Но из-под кровати навстречу кружке потянулась черная рука. Он отдернул кружку так резко, что чай расплескался. Рука спряталась. Снова опустил кружку — рука высунулась.

— Да что такое? — Матвей перегнулся, заглянул, чуть не свалившись,— под кроватью было пусто.— Кто-то лапу тянет...

— Не обращай внимания,— посоветовал сосед слева, как оказалось позже, бывший главврач скорой помощи Яновский.— Это Мокей балуется.

— Какой Мокей? Под кроватью никого!

— Значит, пошел в туалет покурить,— отозвался сосед справа, как оказалось позже, арматурщик Ванцаксон.

— А чего он под кроватью?

— Он там живет,— последовал спокойный ответ.— Наш дурик.

И Матвей успокоился. Все логично: дед Мокей живет под кроватью, побаловался и пошел в туалет. Кружку, однако, поставил на тумбочку.

И остался наедине с ночными видениями.

На этот раз могучий молодой организм быстро справился с отравой. вывел ее — уколы, процедуры помогли, и уже на третий день Матвей мог вести беседы с врачом на равных. И Евгений Дмитриевич убедился, что он не деградировал, ориентируется в напряженной обстановке, самокритичен, попал сюда случайно, оступившись, и держать его нецелесообразно. На четвертый день выписал.

Но что тяжко, в самое сердце поразило его: никто, никто из многочисленных друзей и доброжелателей за эти дни не позвонил и не навестил — даже сигареты пришлось стрелять у соседей, хо-

рошо, что алкаши братьям не отказывают: это свято. А что знали, убедился в первый же день. Цена бутылкиной дружбы!

В какой бы веселой и приятной компании ни гулял и ни куролесил, в конце концов все исчезают, и ты остаешься один на один с безглазой зеленой тварью, которая наползает на тебя из темного угла. Мрачное одиночество, наполненное ужасами, видениями и чувством бессилия. И никто не придет тебе на помощь, не надейся. Компанию спаивает — в прямом и переносном смысле — только бутылка, а потом ровным счетом всем наплевать на тебя и твои страхи.

Хорошо, что истина открылась ему, когда он был относительно окрепшим, промытым нейтрализаторами и очистителями, напичканным витаминами и укрепляющими. И воспринял ее спокойно, философски.

А вот его друг, талантливый молодой поэт Генка Лысаков, так рано пристрастившийся к сиводралу, сломался. Ушел от жены, прозябал в какой-то мансарде, двери которой не закрывались, день и ночь шло веселье, пока у Генки были деньги. Но когда он «высох», все друзья куда-то вдруг исчезли, неслышно рассосались, словно втянули и растворили их темные углы. Глубокой ночью он остался один. Неизвестно, что выступило на Генку из темного угла в ту черную предсмертную ночь. Наутро уборщица, войдя в мансарду, выскочила с криком: Генка скалился на нее из-под вешалки, смотрел страшными выпученными глазами. Он повесился на шнуре от электрочайника. Эх, Гена, Гена! Так и не дождался ты своей заветной книжки «Крыша над головой» (и крыши-то не дождался!), где были собраны все твои выстраданные стихи. И одно он посвятил Матвею.

Милый друг мой, кому мы нужны
После травм и во время болезней?
Сходит черствость с нас, как кожура.
Бьют сквозь муть родниковые воды.
Вот какие пошли вечера,
Вот какие настали погоды...

Книжка вышла посмертно.

..Но тогда, в уютной хатенке Ундины, Матвей еще многого не знал, многое предстояло пережить. А пока веселились, как мотыльки вокруг пламени...

Откуда-то появилась тихая смуглая девочка лет семи, остановилась в отдалении.

— Ты чья такая? — потянулся к ней Матвей. Он любил детей, рассказывал им веселые истории, и они охотно шли к нему. Но эта сразу отступила на шаг, и он с неожиданной усталостью подумал: «Если меня начинают бояться дети... хана».

— Ирина!—властно позвала Лариса, и он понял, что это дочка.— Сбегай-ка, доча, в гастроном, возьми бутылку вот этого... — указала на женьшеневую.

Не говоря ни слова, девочка зажала деньги в кулачке, и ее испарянные ножки быстро-быстро замелькали вверх по крутой лесенке. У Матвея стиснулось сердце.

— А ей дадут? — засомневался Пашка.

— Продавщицы знают...

— Слушай, может, я сходил бы? — тихо спросил Матвей.— Зачем дитя впутывать...

— Сиди!—с неожиданной злобой обернулась к нему Лариса.— Наливают тебе — пей! Воспитатель нашелся...

«Вот и проявился характер,— спокойно подумал он.— А ты воспарил в мечтах...»

Потом появилась подруга ее, некая Катька. Ну, эта была видна еще за версту, когда и размалеванный фасад не различался,— лахудра. Таких много в портовых городах. Штукатурка, тушь на бровях и ресницах, шиньон или парик, резкий прокуренный голос и колено забинтовано — верный знак.

— Отбо-о-рная,— протянул Матвей.— Пробу негде ставить. Ты бы хоть коленку разбинтовала, идешь в приличное общество.

— Это вы-то приличное? — жеманно захихикала Катька и плюхнулась на лавку — сидели в беседке.— Алкаш на алкаше.

Взяла наполненный стакан и опрокинула не поморщившись.

— За знакомство! —швырнула стакан в кусты. Все делала лихо, размашисто, подчеркнуто подражая ухваткам мужика, прошедшего штормы и тайфуны. «И почему это некоторые женщины считают, что лихость нравится мужикам? Ведь это противоестественно».

Ирина принесла бутылку женьшеневой и так же неслышно исчезла, Матвей с тоской посмотрел вслед. «Детство... И у тебя не медом мазано, эх, девчоночка!»

На голову легла крепкая рука и мягко потеребила волосы.

— Ты не думай,— услышал он жаркий шепот. — Иринка у меня ухоженная, пылинки с нее сдуваю. И от всего этого держу подальше. Вот только в магазин... ну, это пустяки.

Видимо, Лариса почувствовала его состояние — она снова стала милой и обаятельной — тонкая штучка. Куда вульгарной Катьке (ее уже через две секунды так и звали — Катька). Если Лариса и была того же пошиба, то классом выше. «А скорее всего, они промышляют на пару»,— пришла вдруг неожиданная мысль. Он видел такие пары: одна милашка, другая крокодил. Морячки сразу же нацеливаются на милашку, но та крепко держится за крокодила, приходится и ее приглашать. Вот и кормится крокодил около своей удачливой подружки.

Катка времени не теряла: обслуживала уже и Пашку, и Олега, умудрялась обхаживать сразу обоих.

— Пойдем,— у Ларисы знакомо-жарко полыхнули глаза.— Сделаю тебе лечебный массаж, а то ты начал скисать.

Они незаметно ускользнули в горницу. За свою короткую, но бурную жизнь Матвей многое повидал и тут, на родимой земле, и за бугром, в японской бане бывал, где женщины моются вместе с мужчинами (никакого разврата, японцы считают себя высококультурной нацией, чтобы держать себя в узде), и стриптиз посетил— зрелище не для слабонервных. Но такого никогда не ощущал.

— Да тебе цены нет! — он привлек ее к себе и почувствовал, что массажистка кончилась, проснулась желанная женщина.— Бриллиант... и здесь прозябаешь. В страну Гамаюн тебя...

— Мы ведь договаривались... только массаж,— шепнула она.

«Действительно, кто я такой, чтобы ее осуждать? Живет как умеет... лучше посмотри на себя — «образец», «воспитатель!»).

Не хотелось возвращаться в гогочущую компанию, и они лежали на широкой кровати, прибившись друг к другу, как дети в темной комнате. Она положила голову ему на грудь, и голос ее журчал, словно жалуясь:

— ...я была лучшим токарем цеха, передовиком. А он прохвостом, тряпкой оказался. Когда появилась первая угроза, я к нему: ты муж, решай. А он: разбирайся с этим делом сама. Взял и в море ушел, а денег оттуда не присылал, крохобор. Я к мастеру, начальнику цеха, в профком: поставьте на легкую работу! А те в ответ: где мы тебе при нашем производстве найдем легкую? В конце концов поставили заготовки по направляющим катать. Оно вроде бы и легкая работа, кабы заготовки путные были, а то больше брак, косые, а направляющие сбиты, выщерблены... Как сойдет пудовая, напрягайся, ставь ее на место сама, никто не может, джентльменов в цеху нет, каждый свой план гонит. В тот же вечер меня отправили в больницу, где и пролежала до родов. Никто передовика не навестил, так их... У матери было накоплено на смерть, на похороны,— все проели, как Иринка родилась. Что делать? Причепурилась я и пошла...

— Куда? — приподнялся на локте он.

— В профком, чтоб слезы утерли! — насмешливо бросила она.— Вот так и начала. Вскоре благоверный является усталый после трудовых подвигов. Еще в море прослышал о моей новой работе без трудового стажа и — с кулаками. Бутылку о его голову разбила — от души! — и вытолкала. С тех пор сама живу, за больничные не платят.

Ему хотелось плакать.

— А кого ждешь? — спросил хрипло.

— Такая, как я, всегда кого-то ждет... — она снова замкнулась, словно жалея, что и так много рассказала. — Ну, ты не бери в голову. Таких много, всех не пережалеешь.

Потом пошли вместе получать Пашкины копейки на почту. Сотня уже пришла телеграфом. Матвей взял у Пашки пучок зелененьких и передал Ларисе:

— Распоряжайся.

Пашка не роптал. По пути взяли еще пару женыпеневой — очень уж она понравилась, зашли в пивбар, просидели до закрытия и поплелись на Эгершельд. Не доходя до крутых ступенек, остановились: в проулке стояла машина с потушенными фарами.

— Лариса... — раздался из машины тихий голос.

— Это ж хмырь! — вспомнил Матвей. — Сейчас сколько? Одинадцать? Ждет, сердешный...

Машину с гоготом окружили. Лариса в белых брючках проворно открыла дверцу и плюхнулась на сиденье рядом с шофером прямо на какие-то свертки.

— Там цветы! — растерянно вскрикнул хмырь. Она отодвинулась, вытащила из-под себя букет в целлофане, протянула в окошко.

— Миллион, миллион, миллион алых роз! — грянул хор.

Она передавала свертки Матвею.

— Ах ты болотный... — приговаривал он. — Прикатил-таки, не терял надежды урвать... А жене с детишками что набрехал? На совещание или в командировку? — нагнулся он к водителю. Тот только тарашил глаза.

— Что там? — спросила из машины Лариса.

— Коньячок, шампань... ветчина, сыр... — он разворачивал свертки. — Приличный кайф! Упорный, паразит.

Лариса обняла и чмокнула водителя в щечку, оставив темный след. Тут же платочком стерла.

— Еще жена заметит... Не горюй! Сегодня не вышло, вишь, задержался этот. Приезжай еще, будь настырным! — она выпорхнула из машины. — А это... — она указала на свертки, — не пропадет.

— Не пропадет, — заверил его и Матвей. — А теперь дуй без остановки домой, тут мужские игры.

Последние слова утонули в реве мотора. Машина задним ходом вылетела из переулка, с визгом развернулась и умчалась.

— Ну ты котируешься, — покачал головой Матвей. — С тобой опасно по улицам ходить. С рукой оторвут.

Она, довольно мурлыкая, неповторимой походкой шла впереди. «Как мало нужно женщине! Чувствовать, что красива и желанна».

Катка хохотала. Видно, ясно понимала, что за ней вот так никто никогда не прилетит, покинув жену и детишек.

Снова пили в беседке, потом ходили к морю купаться, бегали по берегу. Незабываемые минуты раскованности, освобождения от нудной рутины

Но они истекали. Наступал суровый рассвет буднего дня. Все выдохлось, задумчиво катали по столу хлебные шарики. Даже пылающий глаз Паши тускло тлел. Внизу шумели волны, море свинцово проступало сквозь туман.

— Вы сейчас пойдете или через полчаса? — спросила Лариса.

Они вяло рассмеялись. Перед этим Матвей рассказал, как был в Англии и его с товарищем пригласили в одно семейство. Встреча была восторженной, хозяин с гордым видом что-то показывал гостям («я не знаю, что это за черпак, но он очень старинный»). Когда перешли в гостиную, славяне преподнесли хозяину бутылку «Столичной» («полагали, что тут же угостит, а он унес и куда-то спрятал!»), привезли столик на колесиках — сухарики, орешки, «бомбы» с яблочным сидром («думали, что хоть какой-то алкоголь, а это квас»). Шел исковерканный разговор со словарем, а потом хозяин посмотрел на часы, на великовозрастного дылду и сказал: «Мой сын Майкл хочет спать. Вы сейчас поедете или через полчаса?» Как славянин приживется на той земле?

— Сейчас, только сейчас! — как и тогда, ответил Матвей и, поднявшись, выжидательно уставился на женыпеневую. До открытия лапок еще протянуть надо.

— Бери,— сказала она, — И коньяк.

— А шампань побереги, он ведь придет?

— Приберегу,— она смотрела на него глубоким непонятым взглядом.— Открою, когда снова появившись...

Он сгорбился и повернулся к лестнице. Пашка и Олег уже взбирались по крутым ступеням. Она вдруг закинула руки ему на шею и прошептала:

— Эх, все могло быть иначе...

— Что жалеть о нашей жизни искалеченной... — он осторожно высвободился и пошел не оглядываясь. На лицо наплыла липкая паутина.

Шли, курили, молчали. Направились в мансарду кривоносого художника. Дверь была открыта, свет горел, и художник хмуро корпел над каким-то плакатом.

— А-а, входите! — обрадовался он. Вгляделся: — Нашли все-таки?

— Ты даже работаешь?— Матвей подошел. На плакате под крикливой шапкой «Пьянству—бой!» был правдоподобно изображен заросший щетиной алкаш за столом, где рядом с опорожненной бутылкой лежал хвост селедки, а на углу стола кривлялся чертик. Алкаш был похож на Рыбаченко.

— Давно заказали, а вот сегодня вдохновение нашло,— про-

светленно посмотрел на плакат художник.— Выскакивает, гад, все время, вот и решил писать с натуры.

— Кто выскакивает?

— Вот этот,— ткнул он пальцем в чертенка.— Давыдюка облюбовал. Я сначала сбивал его, а потом думаю — сейчас тебя изображу! И что же! Как увидел, что я рисую, сразу исчез.

— Да зачем он тебе с натуры? Рисуй, как бог на душу положит.

— Хе! Я ведь работаю по системе реального реализма. Вон Павлинову хорошо, он абстракционист и чертей видит в образе чернильных клякс. Неоалкоголик!

Вздохнув, посмотрел на часы.

— Рано еще, даже аптеки закрыты, а то бы луковой...

— У нас есть,— Матвей вытащил женьшеневую, початый коньяк.

Художник тотчас выключил свет, запер дверь на ключ. Комната утонула в сером полумраке.

— Чтобы начальство не набрело... оно рано встает. Обходит мансарды, вынюхивает... А мы посумерничаем.

И только успели опрокинуть по второй, в дверь сильно застучали:

— Откройте! Телеграмма!

Художник вполголоса выматерился. Бутылки быстро попрятали, и он медленно поплелся к двери. Сидящие за столом пригнулись.

Щелкнул ключ, в проеме смутно виднелась темная высокая фигура.

— Капуста у вас? — спросила фигура хрипло.— Вот, возьмите, ему телеграмма.

И загрохотали удаляющиеся шаги.

— Капуста? Какая капуста? — бормотал художник, держа телеграмму вверх ногами.— Ничего не понимаю...

— Это я,— Матвей подошел.— Но откуда они узнали?..

— Они все знают,— прошипел художник, косясь на дверь.— Ты что, не видел, кто принес телеграмму? Тот самый, с алебардой и крыльями...

Матвей дрожащей рукой взял желтоватый листок, подошел к окну. Строчки, напечатанные почему-то алой светящейся краской, прыгали перед глазами: «Нахожусь Хабаровске жду Лена».

Значит, Хабаровск. Город его юности. Завтра же он туда выедет и снова пройдет по знакомым до боли местам. Амурский бульвар, Ласточкино гнездо, буфет «Дальний Восток», улица Комсомольская — вниз и налево, Казачья гора, или просто Казачка...

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

— *Gras ingens iterabimus aequor* (завтра снова мы выйдем в огромное море),— сказал капитан Блад.

Сабатини

Раньше я не воспринимал алкоголь всерьез. Он давал мне радостные минуты жизни, чувство раскованности, новых друзей, толкал меня на «подвиги», о которых потом говорили с восхищением. И хотя за радостные минуты приходилось расплачиваться похмельем (весьма неудобное состояние!), оно быстро проходило, не оставляя тяги, не нанося ущерба здоровью.

Видимо, то была самая ранняя стадия, а может, только подходы к ней. Выпив, я умело контролировал себя, крепко держался на ногах, шутил, подтягивал или поддерживал «отстающих». Рассказывал смешной эпизод, не путался, язык не заплетался. Словом, был душой общества. Пьяного общества.

Но и с трезвыми людьми я быстро находил контакт, о таких говорят: «коммуникабелен». Потому и стал тем, кем стал.

Перед выпускными экзаменами в речном училище пришли вызовы из разных пароходств, в том числе десять вызовов из Хабаровска.

Дальний Восток, край романтики! Болел им почти весь курс. Ребята были бескомпромиссные, обуяны жадой жизни и приключений, зачитывались книгами Задорнова, Арсеньева, Семушкина. А я в детстве еще перечитал всего Трублаини — украинского писателя, певшего когда-то о Крайнем Севере.

Строя предположения о ближайшем распределении, мы только и говорили о Дальнем Востоке — восторженно, упоенно, сообщали друг другу все новые экзотические подробности, мечтали о том, как будем бороздить Амур-батюшку на своих белоснежных лайнерах. Никому почему-то при этом не приходило в голову, что вызовов всего десять и не хватит их даже на одну десятую курса.

Конечно, были среди нас ранние дельцы, шустрячки, уже тогда трезво смотревшие на жизнь. Они не мечтали ни о каком Дальнем Востоке, а старались пристроиться в северной столице. Один носился со справками о больной троюродной бабушке, требующей его присмотра, другой спешно подыскивал невесту с пропиской, за третьего хлопотали влиятельные родные.

У меня была еще особая причина рваться на Дальний Восток. После происхождения на мосту Поцелуев Лена уехала в Комсомольск-на-Амуре. А это ведь рядом с Хабаровском. И я воображал, как предстану перед ней в белом кителе с золотыми шевронами, загорелый, обветренный... и тэ дэ.

Путевки на Дальний Восток получили первые десять курсантов по списку. К счастью, список составлялся не по алфавиту. Первыми шли отличники с красными дипломами, имеющие право свободного выбора. А я был среди них — хорошо, что детдом, а точнее, быстрые на оплеуху воспитатели приучили меня учиться на «отлично». Правда, с дисциплинкой у меня и тут было неважно, и командир роты Федоров, Рваная Ноздря, как мы его называли (у него был какой-то дефект носа, а курсанты к нелюбимым командирам беспощадны и награждают их хлесткими прозвищами), пять раз писал рапорты начальнику училища Арефьеву, чтобы меня исключили, на что тот ему резонно замечал: «Уж если мы будем отличников исключать...» И тут меня спасла отличная учеба, не зря говорят еще в первом классе: «Учитесь, дети, и всего добьетесь».

В училище на видном месте стояла доска из розового мрамора, а может, под розовый мрамор, на которую золотыми буквами записывали фамилии курсантов, закончивших училище с красными дипломами. Потом я не раз задумывался: высекали там мою фамилию или места не хватило?

Действительность оказалась суровой. Нельзя сказать, что мы были к ней неподготовленными: каждое лето работали матросами, рулевыми на Неве, Беломорканале, Шексне, Свири, Клязьме. Но то казалось нам отпуском, отдохновением от регламентированной курсантской жизни: вся практика проходила на судах, непрерывно курсировавших по своим маршрутам, — смена впечатлений, людей, поселков и городов...

А тут нас сначала поселили в общежитии. Ранняя весна, суда готовятся к навигации: ремонт, выбивание красок, кистей, канатов, рабочей одежды в складах, беготня с какими-то бумажками, мелкими ненужными поручениями. Никаких белоснежных кителей с золотыми шевронами: телогрейки, грязные штаны, «гады» — рабочие ботинки. Жизнь казалась серой и скучной. А там, где серость жизни, неизменно в главные герои выходит алкоголь. Вечером в общежитии, как правило, «гудели». Тут и кочегары, тут и машинисты, тут и разный наезжий сброд. Естественно, на столах всегда водка, дешевая закуска: холодец из магазина, красная рыба (тогда она была дешевой) — соленая и жареная, палка какой-нибудь краковской колбасы, соленые огурцы из бочки.

Пили деловито, мрачно, без провозглашения тостов, чтобы скорее очуметь и отключиться. Утром опять спешили на работу.

Уже тогда, видимо, был заложен фундамент. А если и не фундамент, то рефлекс, привычка нырять в сладостный, далекий от тошной действительности мир. Но я этого еще не признавал и с нетерпением ждал вечера.

После того как флаг навигации был поднят — об этом всегда

крикливо провозглашала бассейновая газета «Амурский водник», или, как ласково называли ее речники, «Амурский водочник», — мы вышли в открытое море. Амур уже у Хабаровска настолько широк, что напоминает морской залив, при ветре на его плесах гуляют нешуточные волны, так что он и казался нам морем. К тому же сухогрузы, по которым мы были распределены, выходили в Татарский пролив и доставляли грузы на Сахалин. Да и в училище параллельно с речным мы основательно изучали морское дело. Военные сборы и стажировку проходили на Северном флоте, на торпедных катерах. Форма наша мало чем отличалась от морской.

Но над морями мы чувствовали некоторое превосходство. Морские суда доходили до Комсомольска, однако вели их не моряки, а речные лоцманы — бывшие опытные капитаны. Моряки всегда, едва приближаются к какому-нибудь порту или мелководью, начинают лихорадочно выкликать лоцмана. По рекам же они вообще ходить не умеют — везде им чудятся страшные мели, огрудки, осередки. По рекам они без лоцмана ни шагу.

А мы не только чувствовали себя в реке как дома, но и в морском деле умели управляться: взять пеленг, определиться по звездам, владели секстаном и прочими премудростями. Речному штурману всегда легко переквалифицироваться в морского, а морскому в речного — почти невозможно. Он так никогда и не сможет избавиться от темного инстинктивного страха перед мелководьем. Азбука моряка — держаться подальше от всяких мелей, азбука речника — лавировать между ними, жить с ними в мире и дружбе.

Общежитие с его ежевечерними «гудениями» осталось позади, начиналась привычная работа. Все было бы хорошо, все прекрасно, если бы не капитан.

До этого мне везло — я всегда работал у хороших капитанов. Даже на Северном флоте служил на торпедном катере мичманом, где командиром был добряк — душа человек старший лейтенант Переверстов, юноша, только недавно окончивший военное училище, почти мой ровесник. Лицо у него было нежное, и, когда мы выходили в тридцатиградусный мороз в море и летели по волнам, осыпаемые брызгами, нос и щеки у него быстро белели — ведь мостик на торпедном катере открытый.

— Товарищ старший лейтенант, — я подходил к штурвалу, — давайте смену вас.

Командир быстро ссыпался по трапу вниз и в своей крохотной каютке оттирал лицо спиртом. Порозовев, появлялся на мостике, но к штурвалу уже не подходил, а становился на крыло и, прикрыв лицо капюшоном теплой зюйдвестки, отдавал приказания.

А меня почему-то морозный ревущий ветер с брызгами не брал.

В чем тут секрет — не знаю, но бывало, уж щеки ледяной коркой покроются, а не обмораживаются. Так и выходили на боевой курс—Переверстов рассчитывал и приказывал, а я покручивал маленький, почти игрушечный штурнальчик торпедного катера.

После прихода на базу Переверстов зазывал меня в каюту и наливал стаканчик спирта.

— А это тебе... на растирку,— лукаво подмигивал он. Я махом опрокидывал спирт — предпочитал растираться изнутри.

— Благодарю за службу! — говорил старший лейтенант строго.

Подтянувшись, я отвечал по-уставному. Все это казалось нам игрой и одновременно очень значительным, прекрасным.

Иное дело капитан Кулаков. Видимо, иногда фамилии в чем-то соответствуют своим носителям,— может быть, предки себя проявили еще в то время, когда фамилии формировались из прозвищ, по характерным чертам лица, фигуры, по моральному облику... А в генах все это как-то передается, снова выплывает.

Кроме чисто штурманских в мои обязанности входили также начисление и выдача заработной платы экипажу. Бухгалтеров на судне нет, вот и вменили. И каждый раз, получая свою немалую сумму (стаж, выслуга, сверхурочные), капитан Кулаков неизменно ахал:

— А почему так мало?

Ни разу не сказал: «Много!» У него было опухшее лицо, хотя не пил (печень), желтая нездоровая кожа и отекавшие мешки под узенькими хитрыми глазками. Под острым взглядом этих глаз-щелок приходилось по косточкам пересчитывать его зарплату, пояснять: что за что. Это была тяжелая процедура. Кулаков бурно протестовал против каждого вычета (подходный налог, котловые, обмундировка), вскакивал, бегал в волнении по своей каюте (все получали зарплату в моей каюте, а он вызывал меня с ведомостью и деньгами к себе), проклинал и материл меня, грозил посчитаться когда-нибудь. Словом, вел себя как мелкая базарная торговка, вдруг обнаружившая, что ей подсунили старинный пятак. Даже убедившись в том, что все подсчитано правильно, он продолжал бушевать и осыпать меня руганью уже не за деньги, а за мелкие упущения по работе.

На мостике он появлялся одетый во что угодно, только не в форменную одежду: в старой телогрейке, рваных штанах, в кацавейке, в обшарпанном пиджаке, в стоптанных рабочих ботинках. Командному составу регулярно выдавали форменную одежду, высчитывая за нее незначительную сумму. Он аккуратно получал ее, даже пресловутые ботинки-«гады», хотя они капитану не требовались, а только матросам,— но куда он все это дедал, бог ведает.

Словом, это был динозавр, редкий тип, из тех, которые доживали свой век на флоте. На с <ену им приходили хваткие ребята с современным образованием, знавшие все системы судов и умевшие управляться деловито, без матюков и суетни. Кулаков это чувствовал и ненавидел их лютой ненавистью. А поскольку я был из этой когорты, он и меня возненавидел.

Но реку он знал. Только выскочит на мостик, днем ли, ночью, кинет взгляд и сразу точно скажет, где мы, правильно ли идем, с руганью скомандует в переговорную трубу: «Тише ход!» или «Прибавить!» На мостике стоял вполне современный машинный телеграф, но Кулаков предпочитал по старинке пользоваться «матопроводом» — переговорной трубой, которая на всех судах являлась аварийной на случай выхода из строя машинного телеграфа. Но ведь по телеграфу не поднимаешь базарный крик.

Механики страшно не любили эту его привычку. Нижняя команда не очень-то подчинялась верхней — всех, кто гужевался на мостике, называла «рогачами» (из-за рогатого штурвала), хотя и верхняя не оставалась в долгу и окрестила обитателей машинных недр «маслопупами».

Дело в том, что в трубу Кулаков подавал команды в соответствии со своей склонной, мелочной натурой. Машинный телеграф разделен на два сектора: передний и задний ход. Каждый имеет три градации: малый, средний и полный ход. Все четко и ясно.

Отходим от пристани. Кулаков бубнит в трубу:

— Самый малый ход.

Хотя такого нет, но маслопупы выполняют команду, и теплоход потихоньку начинает отходить. Через некоторое время капитан подбегает к трубе.

— Прибавить немного.

Теплоход как будто прибавляет ход.

— Еще немного!

Потом опять:

— Прибавить оборотов!

Через две-три минуты:

— Еще добавь!

И наконец:

— Средний ход!

Я давно жду этого момента и с наслаждением слушаю отборную ругань из трубы: мы давно молотим полным!!!

Кулаков аккуратно затыкает трубу специальной пробкой на цепочке и отходит с сосредоточенным видом. Но на следующей пристани или в сложной ситуации все повторяется — наука не идет ему впрок.

Однажды ночью, когда мы стояли трудную «собачью вахту» — с десяти вечера до четырех утра (капитан и третий штурман обыч-

но стоят вместе), он вдруг заговорил на философские темы. Идолго силится растолковать мне взгляды какого-то немецкого мыслителя, что пришлось ему маслом по сердцу, но так путано и косноязычно, что я ничего не мог взять в толк.

— Да кто он такой? Как фамилия? — не выдержал я.

— Ну этот... Нищий, Нищий,— донеслось из угла.

Меня вдруг озарило:

— Нище!

— Во-во. Нищий, он самый,— капитан удовлетворенно запыхтел.

Вот он каков был, капитан Кулаков,— как говорится, ни прибавить, ни убавить. Естественно, команде на этом судне приходилось несладко: вечные склоки, ругань, придирки. Неудобных он преследовал яростно, самозабвенно, хотя никого и не списывал — боялся попасть впросак по малограмотности: еще в суд подадут, восстановятся, а ты плати из своего кармана. Но люди уходили сами. Присылали новых, и начиналась очередная карусель.

Кулаков был в пароходстве как чирей на неудобном месте. Его давно бы с треском выгнали, да он был виртуозом своего дела: за четверть века ни одной аварии — шутка ли сказать! Старый практик. Такие кадры на дороге не валяются. И его терпели.

И только я сел и снова написал. На этот раз не вождю и учителю — его уж десять лет как не было, да и научен был, как писать туда,— а в тот же «Амурский водник». И не жалобное письмо (давно вышел из детского возраста), а фельетон. «Печальная повесть о зарвавшемся капитане». Не ахти какой заголовок, но мне он казался верхом смелости. И поведал о всех художествах капитана.

Не надеялся я, что творение напечатают. Просто сел и излил душу в ядовитом жанре. И сразу стало легче. Послал и забыл о нем. Думал: перешлют куда и хоть пошерстят Кулакова.

А фельетон взяли и напечатали! Полностью, даже заголовок не изменили. На сухогрузе «Менделеев», где я работал, газету рвали из рук. Все подходили и пожимали мне руку:

— Ну ты дал!

— Разрисовал гада, как Карабаса-Барабаса!

— Проперчил!

И только рулевой Каковкин предостерег:

— Он еще отыграется на тебе... отоспится.

Слова его исполнились в ту же ночь. Весь день Кулаков не показывался, а ночью мы вместе заступили на «собачью вахту». Но это была не собачья, а скорее адская вахта! Капитан не умолкал:

— Поправее! Поправее! Не вались! Куда полез, сукин сын! Это тебе не статейки кропать... хулетоны. Держи на створы! Руки из задницы растут, что ли?

По Амуру судно ведут створы: парные огни, расположенные один над другим. Пока они светят точно по вертикали, не расходятся, значит, судно идет по фарватеру. Но вот река делает поворот, открываются новые створы. Как только они начинают сходиться, нужно выворачивать на них, иначе проскочишь и можешь вылететь на мель. Но Кулаков, стервец, прекрасно знал, есть там отмель или нет, и не давал мне поворачивать до тех пор, пока створы не сходились. И тогда разражался руганью:

— Куда смотришь, под юбку бабе, что ли? Вон створы уже сошлись — право на борт! Прислали сопляка на мою голову...

Он специально отключил электроштурвал, и приходилось изо всех сил гонять ручной — деревянный, величиной с доброе тележное колесо. Даже с электроштурвалом, который ворочает многопудовое перо руля на гидравлике, и то вряд ли я успевал бы выполнять его команды. А ручным по системе многочисленных роликов и цепей пока развернешь перо руля на пять—десять градусов — всю родню вспомнишь! Хотя у меня ее и мало...

Не семь, а сорок потов согнал с меня в ту вахту Кулаков.

Кроме того, вести судно по створам — это не обязательно держать прямо на них. На Амуре многочисленные боковые течения — там протока, там ручей впадает, бьет в скулу теплохода, и нужно держать левее или правее, чтобы створы не расходились. На карте течения не указываются, их знает только тот, кто хорошо изучил реку. А я плавал первый год, откуда мне знать? Раньше я просто выполнял команды капитана: «Держи левее», «Тут свал вправо», а теперь-то он на мне отыгрался. Заставлял держать строго по створам, а они то и дело разъезжались! А я настолько очумел от бесчисленных команд и ругани капитана, что уже перестал и соображать, откуда и что сваливает судно.

Наконец Кулаков довел меня до требуемой кондиции, я ответил взрывом мата, и он вдруг обрадовался:

— Капитан на судне единоначальник,— он часто повторял эту полюбившуюся ему формулировку из Устава речного флота.— А ты его матом? Сегодня же напишу рапорт в пароходство.

Позвонил, вызвал вахтенного и велел заменить меня рулевым из подвахты.

— А штурманишку я отстраняю. Он даже не знает, где право, где лево. Руки не оттуда растут!

В довершение всех издевательств он не отправил меня с мостика, о чем я только и мечтал, а велел стоять тут же до конца вахты. Рулевому — в темноте я не разглядел, кто меня подменил,— он подавал команды мягко, негромко и, естественно, предупреждал о всех опасностях на фарватере, так что судно шло как по ниточке. А потом стал рассказывать разные истории о штурманах, которые «на капитана хвост поднимали, а хвост мягкий, пуши-

стый, его ничего не стоит обрубить», и как они потом плохо кончили: кто спился, кто утонул, кто работает на причале вира-майна, кто клерком в конторе канализации. Рулевой угодливо похихикивал в темноте. Когда рассвело, я увидел, что это Каковкин, который предостерегал меня. В мою сторону он старался не смотреть.

А вечером мы пришли в Благовещенск. Капитан, взяв под мышку папку с документами, отправился куда-то в порт, и я вместе с другими отпросился у старпома на берег до начала вахты. Капитан, конечно, меня не отпустил бы, но если бы знал, чем закончится увольнение, то отпустил бы с радостью.

Мы направились напрямик в лучший ресторан. Куда еще идет моряк или речник, дорвавшись до берега? Там мы заказали славившиеся па весь бассейн пельмени «Иртыш» в горшочках и не менее известное пиво «Таежное». Густое, темное, оно покрывалось в бокалах коричневатой пеной и чуть горчило — отдавало хвоей. А заказывали мы не по одной или по паре бутылок, а по десять! Такова была традиция и установка у речников — в Благовещенске напиться «Таежного».

В тот вечер я впервые узнал, что такое напиться до одурения пивом. Мы шли на судно по темным улицам, булькая в горле пивом.

У трапа нас встретил капитан.

— Ага, явился в нетрезвом виде! — запричитал он, глядя только на меня, хотя среди уволенных не было ни одного трезвого. — Старпом! Составьте соответствующий акт. Третьего я отстраняю. Пусть едет до Хабаровска пассажиром. А там разберемся, — зловеще добавил он.

И обратный путь я проделал пассажиром. Члены команды смотрели на меня с состраданием, а повар, единственная женщина среди экипажа, толстая и добрая, норовила за обедом подсунуть мне лишний кусок — жалела. Хорошо, что Кулаков хоть не запретил меня кормить, у него и на это ума хватило бы.

Впервые в жизни Кулаков решил списать члена команды — не рядового, а из комсостава. Допек, видать. В Хабаровске сказал официально, глядя в сторону:

— Отправляйтесь в распоряжение отдела кадров. А я пошлю туда соответствующие документы.

Я взял свой чемоданчик с рванными носками и носовыми платками и побрел. Впервые на своей шкуре я почувствовал, что такое писать фельетоны, да еще против «единоначальника». От обиды завернул в редакцию «Амурского водника».

Меня выслушали, прерывая рассказ возмущёнными восклицаниями. Там работали честные, самоотверженные и по-своему влюбленные в газетное дело люди. Позже я понял, что только такие и работают в «районках» и многотиражках. А когда я узнал

их поближе, уже никогда не называл газету «Амурским водочником».

— Мы этого дела так не оставим,— заверили они меня.— Это ведь зажим критики!

Правда, я немного приврал, точнее, утаил правду, что одно и то же, и сказал, что в ресторане мы выпили не по десять, а по паре кружек пива. Пельмени «Иртыш», пару пива — все звучало так безобидно, что на это и не обратили внимания.

На шум явился из соседнего кабинета редактор Шахтман — толстый, лысоватый, с женской округлой фигурой и большими водянистыми, вечно испуганными глазами. Но это только так казалось, что он испуган. От возмущения он затряс щеками и замахал руками:

— Газета не даст в обиду своего рабкора!

Он даже чуть брызнул слюной. И тут же убежал куда-то. Чего-чего, а энергии у него хватало. И пробиваемости.

Благодаря его заступничеству в отделе кадров быстро разобрались с кулаковской стряпней — актами, полуграмотными рапортами на меня и так далее. Правда, самого Кулакова так и оставили на мостике «Менделеева», а меня без лишнего шума перевели на «Семенов», где командовал Лебедев.

Этот был полной противоположностью Кулакову. Высокообразованный, культурный, мягкий в обращении с подчиненными, чуткий — о нем можно сказать только хорошее. И все же теперь, по прошествии многих лет, я благодарен судьбе, что именно Кулаков был у меня первым капитаном в самостоятельной жизни. Потом я понял, как это полезно для мужчины, для становления его характера, чтобы его сразу взяли в оборот, в ежовые рукавицы, приучили не расслабляться, быть готовым к любым передрягам. Жизнь не малина.

Выслушав мой рассказ о предыдущей службе, Лебедев улыбнулся:

— Кулакова я знаю... Но тут-то не будешь писать «хулетонов» на меня?

Я шумно заверил его в том, что вообще теперь не буду писать — обжегся.

— А это зря. Пиши, когда по делу. Для дельного всегда что-то найдется.

Как в воду глядел. Много еще чего-то нашлось, много было написано... Правда, без особого толку.

У Лебедева я проработал до конца навигации. На следующую меня перевели на буксир «Артек» — в пароходстве вечно тасуют кадры, а поскольку я все-таки продолжал писать в «Амурский водник» не фельетоны, а разные сценки из жизни речников, то вдруг наступил неожиданный поворот: меня пригласили работать

в этой самой газете, хотя у меня не было журналистского образования. Но оказалось, что у меня есть другое — знание специфики.

— Для нас главное — специфика,— сказал Шахтман, принимая меня на работу.— Приезжают выпускники из университетов и путают пиллерс с ватервейсом и клотик с килем. Речники смеются, присылают ругательные письма. Вот и приходится... избавляться. У нас кадры долго не держатся.

После такого обнадеживающего вступления я впрягся в работу. Для меня она оказалась несложной — писать я умел, а главное, досконально знал эту самую специфику. Чтобы в этом не сомневались, я обильно уснащал свои очерки кнехтами, фальшбортами, каболками, свайками и в довершение развешивал кругом топовые фонари. Замредактора Якунин, добрейший старик, опытный журналист, иногда морщился:

— Нас ведь не только речники читают... Много фонарей.

— А то подумают: написал от фонаря,— не упускал случая вставить шпильку Валентин Хведоров, ведущий сатирический раздел «Девятый вал». Он все время практиковался в каламбурах и ради красного словца, как говорят, не пожалел бы ни мать ни отца.

Был там еще Виктор Завалихин — высокий, худой «король информации». Если ответсекретарь Соня Фадеева говорила ему: «Нужно сорок строк на первую, тридцать на вторую, пятьдесят на четвертую и двадцать на третью», Завалихин листал свой пухлый блокнот и ровно через полчаса требуемые информации лежали на столе. Можно было не пересчитывать.

Потом появился еще Саша Столпов — костлявый, в берете и лихорадочно блестящих очках «перекати-поле», из тех районных газетчиков, которые за свою недолгую, но яркую жизнь успели поработать во всех «районках» от Талды-Кургана до Хабаровска и Крайнего Севера. Такие с полным основанием говорят о себе: «С наше покочуйте!» Этот специфики не знал, он ловко обходил ее и нажимал в основном на закаты и рассветы. Ему достаточно было прочитать личный листок по учету кадров какого-нибудь речника, и он мог «расписать» его на две газетные полосы. Потом герой очерка приходил в редакцию и, смущаясь, вызывал автора в коридор. Там начиналось бурное объяснение. Кончалось оно иногда чуть ли не мордобоем — автора и героя приходилось разнимать. В конце концов после каждого очерка Саша стал прятаться на несколько дней, пока герой не прекращал поиски воспевшего его автора.

В редакцию нужно было только четко являться к началу рабочего дня — в пароходстве иногда поднималась волна соблюдения Дисциплины, и тогда на входе записывали всех опоздавших. Но если получил задание с вечера, то можно идти прямо в порт или

на ремонтно-эксплуатационную базу флота, на суда. А вообще, делай что хочешь, иди куда хочешь, только к концу дня сдан требуемые строчки. И каждый работал истово, выкладывался до конца. Скрип перьев (тогда писали авторучками, а Завалихин, кажется, даже ручкой-вставочкой, макая ее в чернильницу) прерывался только тогда, когда влетал с криком и газетой в руках Шахтман:

— Климов умер!

Якунин сдвигал очки на лоб и задумчиво смотрел на него:

— А кто такой Климов?

Шахтман начинал путано объяснять, зачитывая отрывки из некролога. У него был удивительный, какой-то болезненный интерес к некрологам, и утром, перелопачивая пачку свежих газет, он не пропускал ни одного.

А после работы мы шли либо к Завалихину, либо к Хведорову, либо прямо в буфет «Дальний Восток» и подолгу засиживались за бутылкой (одной-единственной), беседуя о литературе, газетной работе, о жизни и глядя друг на друга влюбленными глазами. Для нас тогда была важна не выпивка, а дружеское общение, радостные минуты чего-то праздничного и великого, что ждет нас завтра.

Но завтра принесло нам совсем не радостные минуты.

Недолго продолжалась идиллия в старинном здании с двумя черными якорями у входа: ощущение полета в прекрасное неведомое, горячие споры, интересные встречи, разговоры, сладкое мучение над чистым листом бумаги, робкая влюбленность в зеленые загадочные глаза напротив (низ стола она завешивала газетами, пришпиленными на кнопки), грандиозные планы завоевания мира и умов. Некий волюнтарист решил, что бассейновые газеты не нужны, и так брехни много, и «Амурский водник» без лишнего шума прикрыли.

Подались кто куда, по своим способностям и наклонностям. Завалихин устроился инспектором нефтеналивного флота, и «король информации» умер — с тех пор ни строчки ни в одну газету. Хведорова сманили на радио, Шахтман ушел на заслуженный отдых. Соня вышла замуж. Якунин вскоре тихо угас, стосковавшись по вечным препирательствам со своими ершистыми питомцами.

А я снова поступил в распоряжение отдела кадров и был направлен на тот же старинный колесный буксирный пароход «Артек», доживавший свой век на плесах Амура. Тогда-то и был совершен тот памятный ералашный рейс.

Ночь выдалась дьявольская: хулиганисто свистел ветер, небо без конца зажигало слепящие спички-молнии, словно кто-то что-то искал на земле, с бестолковым обилием лил в реку дождь.

Капитан Наделов, визгливо скрипя плащом, забрался с проклятиями в рубку, вытащил вахтенный журнал. Роняя с козырька на страницы гулкие капли, записал: «Шторм восемь баллов, дождь. Видимость ограничена».

Скупое освещенное лучом из щели лампы-штурманки его мало-выразительное крупное лицо было мокрым, словно капитан только что взмахнул рыдал. Оттопырив губу, он сосредоточенно сдувал капли с носа.

Я стоял у штурвала, облокотившись на планшир иллюминатора. Вглядываясь во мрак, где путеводные огоньки створов сливались с другими малоответственными вспышками, я проклинал судьбу, волюнтаризм и «собачью вахту», которую я уже не нес, а волок целых три часа.

Чуть передвинул штурвал—машинка застучала надсадно, словно закудахтала перепуганная курица. На пароходе штурвал действует несколько иначе: он тоже величиной с тележное колесо, но при его повороте начинает стучать паровая машинка, которая и передает тяговое усилие. Здесь все приводы, вспомогательные механизмы работают на паре от главного котла — чудовища, вмонтированного глубоко внизу, поэтому из судна в разных местах выбиваются большие и малые струйки отработанного пара, особенно хорошо заметные в холодную погоду —тогда оно, проносясь по реке, шипит, сипит, хрипит, обьятое клубами пара.

— Значит, так,— сказал удовлетворенно капитан, разворачиваясь ко мне и закрывая журнал.— Я сейчас один анекдот вспомнил... Туды твою.

Последнее восклицание относилось к чему-то, что он увидел за моим плечом. Он торопливо захлопал по столу ладонью, словно бил тараканов, и, найдя таким способом бинокль, выскочил на мостик.

Пароход шлепал плицами, таща за собой три длинные приземистые баржи. Собственно, в такую гнусную погоду мы должны были отсиживаться где-нибудь «в камышах», а не лезть на Троицкий пережат. Но накануне мы подсчитали: если до конца месяца поднимемся вверх до Поярково, загрузим караван углем и спустим его к Комсомольску, то есть шанс выполнить план. Правда, до конца месяца оставалось всего восемь дней.

Стало ясно, почему так стремительно выскочил капитан на мостик: огоньки створов распознались, ветер и течение сваливали караван влево.

— Правее, возьми правее! — Наделов засунул голову в рубку и по-собачьи стряхнул с нее дождь, обдав меня брызгами. Не успел я как следует переложить руль вправо, из машины позволили:

— Мы на месте стоим, что ли? Не тянут колеса что-то...

— Они что, озверели там, в машине? — почему-то шепотом спросил капитан, выдернул голову и в панике побежал на крыло, чтобы включить прожектор. Толстый, неестественно белый луч лег на караван барж. Сразу видно: что-то произошло, караван не был, как обычно, вытянут в струнку, а изломился углом.

— Средняя села,— выдохнул капитан.— Вали к лебедке!

Я сорвался и загремел по всем трапам вместе с изощренной громовой руганью капитана, приберегаемой специально к такому случаю. Ругал он не меня, а стихию, невезение, мели и беспробудно пьяного шкипера Карасева, который по причине тяжелой борьбы с сивухой не смог постоять у штурвала даже на перекате. Свои слова он подкреплял яростными гудками, тщетно пытаясь вызвать к жизни шкипера.

Добравшись до буксирной лебедки, на валу которой был закреплён трос, я нащупал вентиль пара. Отдал стопоры — ленточный и винтовой. С мостика донеслось:

— Быстрее... на полный... не чешись, слева коса!

О какой косе он говорит, если смешалось небо и вода, дождь хлещет откуда-то снизу, ветер низко ревет между буксирными арками! Вентиль пара открыт до отказа, десятки лошадиных сил бунтуют в цилиндрах, подтягивая пароход к баржам, но уже видно, как медленно он двигается: трос толщиной с руку трещит, сматываясь по миллиметру.

За шиворот хлынула вода. Бр-р! Из мрака стал выползать задранный нос баржи, над которым болталась мокрая встрепанная голоза очнувшегося наконец Карасева. Черная бурлящая вода неслась горбатыми потоками из-под колес и уходила из освещенного прожектором круга в ревущую темноту.

— Трави буксир!

Я рванул вентиль пара, и освобожденная от тормоза лебедка зарычала, трос бешено разматывался с барабана. Выйдя на длинный буксир, пароход рванул баржи, и огоньки створов поползли назад. Закрепив стопор лебедки, я поднялся в рубку. Капитан уступил мне место за штурвалом, сел на скамью и принялся выливать из сапог воду.

— Ну, пронесло,— сказал он домашним добрым голосом.— Холодьюка. Пойду-ка, разогреюсь.

Где-то на баке под фальшбортом лежала гиля-двухпудовка. Наделов вытащил ее и, широко расставив ноги, стал выжимать попеременно то левой, то правой рукой. До меня доносилось хеканье, словно рубили дрова.

После вахты, с отвращением стянув промокшую робу, я залез в тесную душевую и открыл шипящую струю. Вот уж чем хороши были пароходы — на них всегда в изобилии горячая вода. Это ныне на современных красавцах лайнерах вспомогательный котел

может выйти из строя (и выходит), и бывает, что моряку после вахты даже согреться нечем, а на пароходах пар — это жизнь. Пока он на ходу, движется, горячая вода и пар во всех магистралях. По сути, на пароходе душевая даже и не душевая вовсе, а парилка. Из нее выходишь освеженный, дыша всеми порами тела.

Прекрасно было стоять разгоряченному у борта, хотя все еще морозил дождь, — на рассвете он, как правило, прекращается, — и курить сигарету, созерцая наступающий над величественной рекой рассвет.

Дверь в каюту я открыл как можно тише, и все же она проснулась. Меня всегда удивляло, как она это делает, но обе руки точно обхватывали меня за шею, будто она видела в темноте. Теплое тело прильнуло ко мне, и я чувствовал нарождающийся трепет.

— Лена... Все-таки я нашел тебя.

— Ненадолго, милый, ненадолго...

Этот диалог, вроде шуточный, приходил почти после каждой вахты. И все же я и тогда не понял истинного смысла ее предостережения, ее боязни. Думал: блажь. Куда она теперь денется, коль сама приехала.

Я увидел ее на причале в Свободном, куда мы пришли за углем. Моросил дождь, было сыжно, гнусно. Она стояла в мокром плащике, с маленьким чемоданчиком на большом пустынном грязном причале и как-то испуганно смотрела на шипящий «Артек». Два или три береговых матроса принимали конец с парохода. Я капли в рот не брал целую вечность, но вдруг подумал, что видница, и даже закрыл глаза, хотя стоял за штурвалом и делать этого не имел права — причаливание и швартовка считаются сложными маневрами судна.

— Ты что, заснул? — тут же обложил меня Наделов. Он матерился даже больше Кулакова, но у него это выходило как-то мимоходом, к слову и добродушно, никого не задевало.

— Кто там... стоит на причале? — спросил я. Он дурными глазами зыркнул на меня, потом перевел взгляд на берег.

— Девушка какая-то, с чемоданчиком. А что?

— Возьми штурвал! Это же Лена! — заорал я и, кажется, даже затрясся. Это произвело на капитана такое впечатление, что он сделал неслыханную вещь: послушно встал за штурвал (это во время швартовки, когда он должен быть все время на крыле, контролируя подход!), а я слетел вниз и, не дожидаясь, пока судно подойдет ближе, махнул через полосу воды, хлюпающей где-то далеко внизу. И мы на глазах у всего экипажа (позже говорили, что даже из машинного отсека многие повылазили) обнялись так крепко, будто боялись снова потерять друг друга. Я целовал ее мокрое от дождя, от слез лицо, что-то говорил, а она только шештала:

— Ну что ты... что ты... успокойся, милый.

Стыдно стало через несколько минут. Мне вдруг показалось, что сзади смеются. Третий штурман, как мальчишка, бросив штурвал, прыгает через борт в объятия любимой крали (все знали, что я не женат).

Я боялся посмотреть вокруг. Внезапно почувствовал, что в грязной телогрейке, да и сам грязный, я стал неловок, куда девать руки-ноги — не знал. И сцена встречи показалась дешевой, театральной. Совсем не такой, какой рисовалась в моем воображении.

Выручила, как всегда, сигарета. Закуривая, я бросил исподтишка взгляд на судно — и поразился. Никто не смеялся, хотя на палубу высыпал весь экипаж. Все как-то по-доброму смотрели на нас, кое-кто, правда, улыбался, но это были хорошие сочувственные улыбки. А пожилая повариха Филимоновна даже плакала, утирая уголки глаз краем полугрязного фартука.

И мне невольно вспомнился один далекий день в Ленинграде, когда мы с Леной стояли на трамвайной остановке. Я был тогда на первом курсе, сразу после детдома, — росточком мал от постоянного недоедания, форменный клоп, по нынешним акселератским меркам — пятиклассник. Но я был в полной парадной форме: шинель, брюки-клеш, высокая фуражка — и казался себе значительным и взрослым, поэтому, зажав в уголке рта сигарету, покровительственно обнимал Леночку левой рукой за плечи (она даже и тогда была меньше меня), как это делал один киногерой в каком-то зарубежном фильме.

Подшел трамвай на соседней линии. И пока он стоял, все пассажиры вдруг облепили окна и стали улыбаться добрыми и восторженными улыбками. Сначала я ничего не понял, завертел головой: над кем смеются? Но мы стояли на остановке одни, и я вдруг с ужасом понял, что смеются над нами! Наверное, со стороны мы выглядели трогательно и смешно: дети, играющие во взрослую любовь. К тому же один воображает себя старым морским волком.

Как раз тогда прошел фильм «Кнопка и Антон», вот и повторяли они название этого фильма, показывая друг другу на нас, голоса долетали из полуоткрытых окон. Побагровев, я гневно отвернулся, минута, пока стоял трамвай, показалась мне вечностью...

И сейчас я забыл, что хотя и штурман, но выглядел-то мальчишкой: двадцать лет — почти любой член экипажа старше меня.

К тому же речники хорошо понимают, где истинное, а где шелуха. И сейчас они тоже инстинктивно поняли, что это — настоящее. Уж потом начались всякие шуточки и намеки — без этого мужики не могут, по — беззлобные.

А тогда была святость момента. Бросили трап, и я повел Леночку прямо к капитану. Тот уже оклемался и хмуро дожидался нас в рубке. Я молчал, не зная, что сказать.

— Жена? — отрывисто бросил он.

— Д-да... — еле выдавил я, не зная, как отреагирует на это она. Но Лена посмотрела Наделову в глаза своим всегдашним смелым взглядом и сказала звонко:

— Жена! Приехала вот... из Ленинграда.

— А чего ж там не успели расписаться? — пробурчал он, глядя в сторону и о чем-то напряженно размышляя.

— Успеем... это мы всегда успеем,— Лена улыбнулась и окончательно расположила к себе старого матерщинника. Он, соглашаясь, кивнул головой:

— Это-то всегда успеется... верно,— вздохнул, а потом набросился на меня:—Мог хотя бы предупредить! Теперь вот расхлебывай. А катнет кто-нибудь анонимку, по всем инстанциям соплями проволокут: пустил на судно без соответствующих документов, развел... — тут он спохватился.— Ну ладно. У нас вроде кляузников нет. Можете жить в своей каюте.

Так и сказал: в своей каюте. Каждый штурман имел хоть крохотную, но свою каютку. Я задрожал и только молил бога, чтобы никто дрожь не заметил.

— Спасибо, мой капитан!—Лена присела перед ним — сделала книксен. И где она такого набралась? Наделов выпучил на нее глаза.

— И ты молчал...— тут он снова запнулся. Эх, и трудно было говорить ему без мата,— что у тебя такая отчаянная женка! Ну идите, располагайтесь... Потом зайдешь!—сверкнул он глазами, и я понял, какими кудрявыми словосочетаниями обложит он меня за то, что я бросил на него штурвал,— такого ни один капитан не прощает даже ради родной матушки, а не то что ради какой-то нерасписанной жены.

Когда мы уходили, он все-таки не удержался:

— А выдавал себя за холостяка... в каждом порту!

Лена повернулась к нему и невозмутимо ответила:

— Все вы такие, мой капитан!

Наделов поперхнулся и застыл посреди рубки. Весь его вид говорил: «Ну, третий, оторвал себе занозу!»

Так начался наш медовый месяц на «Артеке» — неповторимый, удивительный, непохожий ни на чьи медовые месяцы. В первый день я спросил ее:

— Почему же ты приехала? Когда я искал-тебя...

Она выдержала мой испытующий взгляд:

— Помнишь... разговор на мосту Поцелуев?

— Ну уж не забуду! С него все и началось.

— А теперь я узнала... словом, у тебя В жизни все сейчас не так, как я думала. И если так будет дальше...

Она прильнула ко мне — как-то уютно она умела прильнуть, словно свернуться на груди, — и прошептала:

— Не думай, мне о тебе все было известно.

— Наводила справки? — я резко отодвинулся.

— Зачем? — она широко открыла глаза. — У меня телепатия. Достаточно вот закрыть глаза, сосредоточиться — и я сразу вижу: где ты, что делаешь...

В эту дребедень я, конечно, не поверил, но на миг стало жутковато. А что если правда? Человеческие возможности еще до конца не раскрыты. Особенно возможности женщин...

А особенно ее возможности. На судне в окружении двух десятков откровенно голодных мужиков — привлекательная молодая женщина, она тем не менее сумела поставить себя в особое положение. Нет, она не держалась особняком: разговаривала с каждым, шутила, даже выслушивала чьи-то исповеди, но держала каждого на расстоянии вытянутой руки. Никому и в голову не приходило приволочнуться за ней, облапить в закутке или подсматривать через световой люк, когда она мылась в душевой. Она даже участвовала, говоря языком газетных передовиц, в общественной жизни судна — помогала оформлять стенгазету, выпускала санбюллетени о дизентерии, коклюше (хотя какой мог быть среди нас коклюш!) и гриппе (а об этом речники и слухом не слыживали).

Капитан разрешил поставить ее на котловое довольствие, правда за мой счет, и мы ходили на обед в общую столовую, а завтракали и ужинали обычно у себя в каюте.

У каждого речника узенькая девичья койка с невысоким бортиком — чтоб не выпадал. Но мы превосходно чувствовали себя на этой узенькой койке и даже иногда смеялись над супругами в фильме, которые ссорились, потому что им было тесно на широчайшей двуспальной кровати. Нам не было тесно еще и потому, что мы мало спали на этой узенькой койке...

Лена отсыпалась во время моей «собачьей вахты», ну а мне отсыпаться было некогда. Разве что во время коротких стоянок в порту или на якорю, когда моя вахта приходилась на стояночное время.

Уже много позже, лежа связанным в каком-нибудь нарко и вызывая отвлекающие от горестных дум видения (особенно часто я вновь и вновь переживал наш медовый месяц, те сладостные, чистые, безоблачные дни), я понял, что она была, в сущности, необычной девушкой. Несмотря на кажущуюся беззаботность и веселость, в ней шла какая-то внутренняя работа, безостановочная и напряженная. У нее была коротенькая челка золотистых,

словно выгоревших волос, и она без конца теребила, крутила ее, с готовой уйдя в свои мысли. Забежав иногда днем в каюту, я заставлял ее лежащей на узенькой койке с книгой в руках, но книгу она не читала, а все крутила свою челку. Я придумывал различные варианты будущей жизни: то мы снимем где-нибудь комнату или поселимся в избушке на берегу реки (таких тогда в Хабаровске было множество, не зря его иногда еще называли Хибаровск), и она не только живо представляла все это, но уже жила там: расставляла мебель, готовила обед, встречала меня из рейса. Она обладала ярким, богатым воображением и часто поражала меня подмеченной деталью, образом, проникновением в суть явления или вещи. Людей она быстро «раскусывала» и очень точно характеризовала их. Внезапно обернувшись, я иногда ловил на себе се напряженный, какой-то потусторонний взгляд и при этом не был уверен, что она меня видит, а если видит, то не хотел бы я узнать ее мысли в тот момент.

Однажды в бреду и такая догадка мелькнула: а Лена-то была? Может, действительно какая-нибудь... не от мира сего. Из другого мира? Ведь они тоже ищут момент, когда, где и в чьем облике можно проникнуть в среду людей, чтобы изучить и хапануть информацию, да так, чтобы никто ничего и не сообразил. А я для этого был самый подходящий объект: ошавевший от любви и счастья юнец, не способный трезво анализировать обстановку. Трезво... Как ни странно, трезвый анализ пришел много позже, после долгой пьянки, а кто поверит пьяному человеку? Они тут тонко рассчитали.

На догадку меня натолкнула одна мелкая подробность: позднее были еще две-три встречи с Леной, при которых она ни словом не обмолвилась о нашем медовом месяце, словно и не было его никогда и никогда не плыли мы на пароходе «Артек» в волнах нашего счастья. Когда же она была настоящей: тогда или потом? Могли ведь и потом подменить...

А в то время меня, признаться, больше занимала одна мысль. Еще совсем недавно мы бегали на свидания в Летний сад, в Эрмитаж, на мост Поцелуев, украдкой обнимались и целовались в подъездах или темных аллеях и снова мечтали об очередном свидании, а теперь мне достаточно было пожелать, и я в любую минуту мог овладеть этим желанным и послушным телом, без запретов и ограничений. Кто или что дало мне такую головокружительную власть? Неужели одно коротенькое слово — жена? Наверное, у каждого молодожена возникают такие грешные мысли.

И я считал, что так будет всегда, вполне серьезно видел себя молодоженом — солидным, полноправным, забывая о ее предостерегающем, рвущемся шепотке, о ее непредсказуемом характере.

И даже дошел до такого идиотизма, что однажды обсуждал с нашим добрейшим, но абсолютно бездеятельным предсудком Шикуновым вопрос о подаче заявления на квартиру: как лучше, написать, в какие инстанции, к кому из начальства подъехать на кривой козе.

Не знал я, что меня ждет роковой вечер в Комсомольске.

Перед этим мы остановились в Хабаровске, чтобы взять уголь и продукты,— пока что еще шли вверх. Вечером на корме стояла группа и смотрела на исчезающий за излучиной город.

— Теперь до самого Хингана будем переть без задержек,— резюмировал старпом Марочка — молодой, толстый, черноглазый, рано облысевший.— В горах может накрыть туман — не пробьешься.

Речь у него вообще экспрессивная: «шел так, что брызги в облака летели», «лупанул радиogramму», «напиться, чтобы шерсть дымилась» и так далее. За это его гоняли как кота с судна на судно, хотя дело свое и реку он знал хорошо.

Слова его подтвердились опять на моей вахте, только ближе к рассвету. Неподалеку от Пашково в распадках образовалось что-то подозрительно белесое. Мы заметили поздноато: в рубке шла душевная беседа. Говорил в основном капитан, наставляя меня, как нужно вести себя с Женщинами: не давать садиться себе на шею, не потакать, держать ежовые рукавицы наготове, а ухо остро. Речь его изобиловала множеством примеров из жизни своей и товарищей. В его изложении отношения мужчины и женщины выглядели, как Столетняя война с переменным успехом. Я слушал его вполуха, думал о Лене и жалел капитана: в его Жизни таких женщин наверняка не было, а все какие-то миноносцы с боевыми торпедами на взводе.

Потом он перешел на общежитейские случаи.

— Однажды какая-то сухопутная шишка поехала на пассажирском пароходе. Вечером дышит у борта воздухом, вдруг слышит сверху, с мостика, крики: «Вправо не вались!», «Держись попряме!», «Не вались влево!» Он возмутился: перепились, стервецы, на вахте. Чешет в рубку и с ходу распекать: «Не позволю ставить под угрозу судно...» Ну, ему популярно разъяснили, что это команды рулевому. Потом до самого порта он из каюты не вылезал: смех так и катился за ним по палубе...

Старпом замер, нашел бинокль:

— Это что там за кисель... в распадках? — Выскочил из рубки, потрогал железные поручни: — Мокрые. Видать, влипнем.

Пароход тонул в аромате расцветающих багульника и черемухи, струившемся с крутых склонов сопки. Когда этот запах волной захлестывал рубку, у меня кружилась голова, хотелось дышать, полной грудью вбирать этот необычайный воздух. Это был

даже не воздух — ночь щедро поила нас парным молоком травяных и цветочных запахов тайги. Бледная луна взрезала верхушку сопки.

У борта я увидел знакомый силуэт, сердце замерло: Лена! Она тоже не могла остаться равнодушной к такой красоте. И ждала меня. Наклонившись над бортом, она всматривалась в темную бегущую воду, словно пыталась увидеть наяду или русалку.

— Вруби локатор!— донесся голос капитана.

Я повернул выключатель. Над головой по крыше рубки мягко зашаркал электромотор локатора. На зеленоватом экране четко, словно на карте, обозначились извилистые линии берегов.

Появился старпом — сонный и почему-то в зимней шапке набекрень. Он защелкал тумблерами локатора.

— Проскочить бы этот угол,— бормотал он в резиновый раструб,— Если здесь зажмет...

Тумана не было, кругом ясный воздух.

— Чего суетня?— спросил я,— Пока из распадков сюда доползет...

— А ты посмотри на сигнальные огни.

У красного бортового огня воздух будто вспыхивал, вокруг стоял странный ореол. Он вспыхивал все чаще, густел. А вот и берега проступили. Медленно ползли минуты.

— Право на борт! — крикнул капитан таким голосом, словно командовал эскадрону «По-о-о коням!» Голос его пронесся по реке, достиг берега, и там кусты сильно затрепетали.

— Медведя спугнул,— хмыкнул Марочка.— Рад, что вырвались.

Опасная излучина уходила за корму, становясь все более зыбкой. Сухогруз, двигавшийся всего в полумиле ниже нас, исчез в молочной пелене, откуда донеслись жалобные гудки: «Стою в тумане».

— Вот захлопнуло! — капитан потер рук.— Чуть хвост не защемило. Пиши, старпом: принял вахту. Утро идет.

Ночь вдруг помягчала, и окоченевшие уши стали отогреваться. Светлело вокруг. Над темными зубцами сопки побагровело небо. И нос парохода плыл в смутной радуге: у самого судна вода стального цвета, даже фиолетовая, синяя, поближе к берегу — нежно-малиновая. Это отражение зари, и на нем мачта парохода, будто вырезанная из металла, перечеркивает двойную радугу.

Капитан не уходил, он устроился на лавочке и рассказывал, как на якоре у самого берега чуть не утонул пароход «Громов».

— Поставили его, чтобы винты поменять. Нос загрузили песком, в отсек закачали воду, а корму вытащили на отмель. На этом первый рабочий день закончился, ремонтники ушли. Капитан тоже подался на берег, наказав старпому смотреть, старпом—за ним,

наказав рулевым, а те завалились спать на тенте рубки: ночь теплая, душная. Мимо пробежала моторка, развела волну и залила открытые колодцы для шлака. Судно накренилось, вода еще больше хлынула внутрь, рулевые посыпались с рубки в воду. Из каюты выскочила повариха, с перепугу застряла в двери, заорала на весь рейд: «Спасите! Тону!» Карти-и-ина... Хорошо, на мелком месте... подняли. Капитану на вид, старпому строгача, а рулевых поразгоняли, набрали новых,— продолжал капитан и, широко зевнув, ушел.

В Поярково баржи загрузили быстро. Пока матросы и повар на берегу закупали продукты, пароход метался по протоке взад и вперед, выводя баржи на внешний рейд. Стоянка в порту — для экипажей отдых, но не для экипажа буксирного работяги, потому что если он не занят формированием своего состава, то диспетчеры изыщут ему занятие на рейде. Поэтому у экипажа буксировщика враг номер один — диспетчер.

К вечеру мы шатались от бесконечного таскания стальных тросов толщиной с лошадиную ногу, неподатливых, в заусеницах, прокалывавших брезентовые рукавицы и кожу рук. Они пытались лягнуть каждого, кто к ним приближался,— ноги у нас были в синяках. Вот тогда-то и началась учалка своих груженных барж в три пыжа, борт к борту,— работа, требующая сама по себе напряжения всех сил. Если вверх буксировщик ведет караван барж, учаливая их одну за другой, чтобы уменьшить сопротивление течения, то вниз баржи плавают рядом — увеличивается подводная парусность, течение помогает их тащить.

На барже возник шкипер Карасев, многозначительно поманил меня и Марочкина.

— Ты что, пьяный? — строго спросил старпом, подходя, хотя это и так было видно.

— Пьяный? Эх! — негибачаемый борец укоризненно обдал нас концентрированным облаком сивухи.— Что же т-ты пьяного от голодного не от-тличишь?

— Отличу. Ты пьяный, я голодный. И третий тоже, а? — он подмигнул мне.

Шкипер развел руками с таким видом, словно его спрашивали, почему он в штанах. В его руках появился стакан, наполненный блещущей синевой.

— Не-неразведенный,— предупредил он.

— погоди,— Марочка с усилием отвел глаза от соблазна.— Учалим — тогда. Иначе руку или ногу тросом отчекрыжит, раз плюнуть.

В другой руке Карасева покачивалась вилка с квашеной капустой, в которой атели ягодки брусники. Перед таким старпом не смог устоять.

Ну давай,— воровато оглянувшись, он выцедил стакан, вдохнул — выдохнул, все по науке, чтобы слизистую не обжечь, и запихал всю закуску в рот.

— Н-ну, теперь ты,— невнятно пробормотал он, хрустя капустой и толкая меня в спину кулаком, пока Карасев, пригнувшись за брашпилем, набулькивал из захватанной бутылки. Но я отказался — не привык еще пить вот так на ходу, рвануть, будто собака из подворотни. Я любил компанию, душевные разговоры, и такая выпивка «на хапок» меня не прельщала.

— Донесешь? — старпом сверлил меня глазами. — Не пьют только доносчики.

— За кого ты меня принимаешь? — я отвел вилку с капустой. — У благоверной на нее аллергия. В каюту не пустит.

— Эх ты! Уже попал под юбку...

— Да ты не бойсь! — Карасев тупо совал мне капусту в лицо. — Однова живем, пей — не робей!

На голове у него была соломенная рваная шляпа, видимо с огородного пугала, просторная синяя роба заляпана краской, глаза мутные. А я думал: ну почему мы глушим такими лошадиными дозами? Ведь стакан спирта — это верная бутылка водки! Выпить махом бутылку крепчайшего пойла и зажевать клочком капусты... Для человека непьющего, а особенно если и предки его были непьющими, это наверняка смертельная доза. Вот то-то и спасало нас, что мы чуть ли не с малолетства приобщались к алкоголю, время от времени (еще не так часто, но периодически) начиняли организм отравой, и тот в отчаянном усилии уже выработал в себе способность сопротивляться. Да и родословная помогала — глянешь в глубь веков, а там Иван на Иване, пьянь на пьяни, рвань на рвани.

И все-таки молодыми мы считали каким-то особым шиком хватануть обязательно полный стакан, будь то вино, водка или неразведенный спирт. И самое странное — не умирали, а продолжали буднично заниматься намеченными делами.

Тогда что-то удержало меня, и лишь немного спустя я догадался; не что, а кто — Лена. Если бы не она, я бы не раздумывая ахнул полный стакан, который так заманчиво маячил перед носом. Ведь я уже пил неразведенный, да так, что ни шкиперу, ни старпому не снилось, — горящим, хотел блеснуть перед такими же сопляками и хихикающими девицами. Даже тост помню: «За тех, кто сорок лет назад...» Обжег губы, нос, спалил брови и ресницы, чуть не выжег себе глаза, а потом две недели ходил с перевязанной мордой... Нужно было это тем, кто сорок лет назад...

Прожевав, Марочка торопливо глотнул по-гусиному, так что желвак прокатился по горлу, и махнул рукой:

— Пошли баржи связывать.

Обычно речники стараются показать, что они не простые смертные, и пользуются особыми словами. Верх острова у них — «приеерх», хвост — «ухвостье», водовороты — «майданы» и «суводи», а обычная веревка — «канат» или «каболка». Но старые речные волки или те, которые себя считают таковыми, пренебрегают мудреными терминами и, наоборот, видят особый шик в том, чтобы сказать, например, не «учаливать баржи», а «связывать».

Глотая угольную пыль, мы попарно связывали кнехты барж стальными тросами, заводили буксирный конец с лебедки парохода.

Наконец в сумерках работа была завершена. Все толклись на корме парохода, и старпом с чугунным от угольной пыли, усталости и спирта лицом махнул на мостик:

— Готово!

Шкипер Карасев в той же соломенной шляпе театральным жестом включил брашпиль и начал выхаживать якорь. Но тут рука соскочила, его повело в сторону и безжалостно кинуло на фальшборт. Однако он сделал вид, что это совпало с его желанием, и заорал:

— Стоять разве не будем? Солнце зашло, а там, глядишь, Куприяновский! Не совладать...

— Ты с собой совладай! — насмешливо рявкнуло несколько голосов, в которых звенела зависть: лафа человеку, глушит на глазах у всех, ни тебе судового комитета, ни «прожекторов» разных, ни администрации — сам себе администрация. То были времена, когда на баржах плавали шкиперы, а еще чуть раньше на плотках — плотовщики, все полуразбойный люд, не подчиняющийся ни водным, ни земным законам.

Куприяновский пережат не проходят ночью — такой он головоломный, тесный и озорной, что капитаны предпочитают даже и днем, если плохая видимость, где-то «перестоять», чем потом •«пересидеть» (в соответствующих заведениях). А мы оказались у его «калитки» в самую глухую полночь, когда борт от борта не з'видишь, только нащупаешь. При всех его недостатках капитану Наделову нельзя было отказать в смелости: скорость вниз приличная, па гаке — пять тысяч тонн, если сплеховал — так и вдавит наш пароходишко в берег, как доисторического комара в янтарь. Но «Артек» шпарил полным ходом, как говорят, глаза на лоб — и вперед.

Обычно моряки относятся к речникам с плохо скрываемым презрением: дескать, по камышам ползаете. Уважая моряков, все же скажу, что мастерство в лавировании и маневрировании у речников несравненно выше.

Но и среди речников имеются градации. В седые времена я работал на Беломорканале рулевым, и туда приехали для обмена

опытом речники с Днепра. Когда они увидели, как расходятся два судна в канале — впритирку, на расстоянии меньше вытянутой руки, от удивления и волнения их прошибла слеза. Но самое сильное потрясение их ожидало впереди — расхождение караванов. Один теплоход вел на буксире лихтер, другой — плот. Мы применяли в таких случаях определенные приемы, но они оказались не для нервов днепровцев. Едва первый буксировщик перед расхождением направил лихтер в берег, делегация зажмурила глаза. Осмелившись открыть их, "днепровцы увидели, что лихтер бортом утюжит траву на берегу, а теплоход-буксир почти вылез на плот и своей скулой простукивает торцы всех пучков, словно палочкой по ксилофону. Буксир же, ведущий плот, в это время плотным ходом неся на корму лихтера, словно намеревался обрубить ее.

Это было обычное, ничем не примечательное, банальное расхождение, и кое-кто из беломорцев еще критиковал капитанов буксировщиков, что между судами оставалось много полезного пространства: «Так, ладони три-четыре...»

Амур шире Днепра, но и здесь есть узкости, которые нужно проходить осторожно, «на цыпочках». И самая сложная из них — Куприяновский пережат.

Никто из верхней команды на судне не спал. Капитан с мегафоном бегал по мостику с правого крыла на левое, как радиокomentатор, старпом утвердился за штурвалом, второй штурман Еремеев лучом прожектора шарил по быстро приближающемуся берегу, словно оттуда вдруг могли ударить из пулеметов, боцман крихтел у брашпиля, готовя якоря к отдаче, я закоченел у лебедки, держа руки на вентиле пара и на стопоре: то ли подобрать, то ли потравить буксирный трос.

Пароход пронзила трель машинного телеграфа. Он вздрогнул и сбавил ход.

— Право на борт!— донеслось с мостика.

Корма пошла к берегу, где плясал круг от прожектора. Идем параллельно кромке, вот-вот чиркнем. Кусты ивняка шуршат по борту, но вот безмолвно взметнулся обрыв. Черные тупые морды барж, сдерживаемые коротким буксиром, упрямо лезли на обрыв, где дрожал свет от прожектора, и казалось, что берег побледнел от страха перед грозной тупой силой.

Справа у борта проплыл чудный алый цветок — огонек бакена. Далее зачернел приземистый длинный островок, баржи выровнялись, стали отходить от берега. Еще четверть часа — и Куприяновский остался во тьме за кормой. Я отлепил ладони от холодного металла, закрепил ленточный стопор и поднялся в рубку.

— По моим расчетам так: в это время будем на Союзиовском,— доказывал старпом.— А там туговато придется.

— Ты слушай сюда,— оборвал капитан, напирая на него и в то

же время умудряясь воротить нос от старпомовского перегара.— Течение-то нас подгонит, проскочим раньше.

Он оказался прав: Союзновский мы проходили на рассвете. Крупные, как полтинники, звезды усеяли небосвод. Свежий ветер гулял по рубке, но было жарко — приходилось усиленно крутить штурвал, еле поспевая за командами капитана:

— Одержжи! Не катись вправо! Задержись! Лево на борт!

Потом он пришел в благодушное настроение и принялся рассказывать какой-то бесконечный анекдот, но внизу на трапе показался радист. На лице его была написана радость.

— Ишь сияет, как лампочка... не к добру,— меланхолично заметил Наделов. Издавна капитаны не любят радистов, считая их олицетворением безделья,— и не без оснований. Обычно радист целыми днями слоняется по судну и ищет, кого бы оторвать от работы. То он загорает на солнцепеке, то дремлет в тени. Если организуется партия в домино или шашки, то лишь по его инициативе. Его избирают во все мыслимые комиссии и общественные организации судна, но и там он палец о палец не ударит. По глубокому убеждению капитана, весь смысл своего существования радист видит в том, чтобы с радостным видом приносить ему неприятные радиogramмы.

Но на сей раз капитан ошибся: Таланчук принес сообщение, что из Хабаровска нас пошлют за плотом в Малмыж.

— Ну, шансы растут,— капитан чуть не прослезился.— Хоть раз диспетчера оказались людьми...

В Хабаровск мы пришли под вечер. Воздух струился, марило. «Артек» ловко развернулся и подвел баржу к причалу, где трудолюбиво дергали шеями краны. Из репродуктора на рейд низвергалась музыка, кто-то без конца крутил одну и ту же пластинку:

В небесах мы летали одних,
мы теряли друзей боевых,
ну а тем, кому выпало жить,
надо помнить о них и дружить...

Под эту мелодию на палубе пассажирского лайнера «Ерофей-Хабаров» танцевали пассажиры. Когда наш усталый замурзанный пароход-работяга проходил мимо, на нас, словно заморскими духами, пахло беззаботностью. С палубы слышалось легкомысленное: «та-ра-ри-ра, та-ра-ра...», танцоры взлягивали ногами, развевались легкие платья. Капитан плюнул:

— Под эту песню — твистодралы! Не-ет, чем так помнить...

Марочка внимательно выслушал весомые капитанские дополнения, сочувственно кивнул головой:

— Дело-то плевое, Леонид Николаевич. Пять тысяч кубов мы за сутки привокоем в Комсомольск. И план у нас в кармане.

— За сутки? — капитан нисколько не обиделся, что старпом и не слушал его гневную филиппику. — Ну, хорохориться-то не надо. Амур не любит, когда его не уважают. Правда, и мы не лыком шиты... в пять раз больше плоты тягали.

Началось все идиллически. В полночь пароход «прибежал» в Иннокентьевку, отдал якорь и ткнулся носом в плот — до утра, когда можно будет оформлять документы. Я заступил на вахту, прошел по судну, проверяя, горят ли стояночные огни, и разыскивая матросов.

Вахтенный матрос — это тот, присутствие которого в данный момент никто не сможет обнаружить на судне. Получив от боцмана задание связать два конца обычным прямым узлом, способен растянуть выполнение этого простейшего действия ровно на четыре часа, до конца вахты. Может крепко спать (разумеется, во время вахты) в трюме, в шлюпке, в двойном дне, на бухте троса, на работающем насосе, паровой машине и т. д. Зато уж в свободное от вахты время его сразу найдешь! По всему судну разносится ужасный систематический стук, который он производит путем вбивания в поверхность окованного стола костяшек домино.

Но на этот раз я нашел матросов быстро: они, к моему удивлению, не спали и находились на полуоте. Здесь собралась добрая половина команды. Ловили рыбу удочками, закидушками. Из-под корпуса судна вырывались облака пара, они плыли над черной водой, смешиваясь со слабым ночным туманом. От берегов одуряюще пахло расцветающей черемухой. В борт тихо плескалась вода. Тут же я увидел Лену — в моей просторной зюйдвестке, со счастливым лицом она закидывала удочки, нанизывая на крючки куски ржавой селедки. Увидев меня, разулыбалась:

— Уже трех поймала. Вот,— указала себе под ноги.

Забравшись в рубку, я усадил тулуп с собой на скамейку и принял «готовность номер один» — вид бодрствующего вахтенного, который на самом деле беззастенчиво дрыхнет.

На завтрак Лена принесла сковороду с кусками жареного сома.

— Сама приготовила,— с гордостью объявила она.— Филимонова разрешила.

Наверное, в первый и последний раз в жизни я ел такую вкусную рыбу — сгоревшая корка хрустела на зубах, но это приготовили ее руки.

После завтрака завертелась учалка плота. На головную плитку вытащили три стальных троса с петлями — «усы», завели их за края и середину плитки, прихватив скобами. Потом еще одной — страшного вида пудовой скобой соединили «усы» с основным буксиром.

Еще полчаса ушло на то, чтобы выровнять их точно по цент-

ральному буксиру, затем оставшиеся на плоту погрузились в шлюпку и перебрались на судно. Пароход разразился протяжным гудком, сплавщики отпустили швартовые концы плота, и река леса в реке воды зашевелилась, расправляясь и вытягиваясь.

Плот-кошель, обычный на Амуре,— это масса свободно плавающих бревен, обнесенных цепочкой из попарно связанных стволов дерева — обоновкой. В истоке и устье деревянной реки — жесткие плитки, сколоченные также из стволов. Раньше на плитках путешествовали плотовщики, которые жили в первобытных шалашах, варили кулеш и уху на кострах, пили водку и часто дрались, с уханьем сбрасывая друг друга в воду. Они отвечали за сохранность плота. Ныне эту обязанность выполняет команда парохода.

Если бы некий великан, взявшись за головную и хвостовую плитки, приподнял над водой связанную с ними обоновку, весь лес, ничем более не удерживаемый, поплыл бы вразброд по течению. В отличие от крепко связанных пучкового плота и плота-сигары (морского) кошель не выдерживает большой волны, бревна вышибает за его пределы, что служит потом причиной бесконечных тяжб между леспромхозом и пароходством. Поэтому в шторм кошель не водят. Порастрашет.

Погода мутнела. Волна погулиwała на больших плесах. Пока плот выдавливался из протоки Синдани, как рыжая паста из тюбика, нос парохода выглянул из-за спасительного Иннокентьевского мыса. И тотчас по носу тяжело хлестнуло.

— Барашки!—заохали в рубке.— Это ж баллов под шесть!

В метеосводке, которую мы получили по радио, уверенно предсказывалось, что ветер не будет превышать четырех баллов, для проводки кошеля допустимо. А шесть баллов — много. Видать, ветер не руководствовался метеосводками.

— Так оно всегда! — забушевал капитан, схватил несчастную сводку и стал трясти ее почему-то перед носом радиста.— Теперь что: на мачту натянуть ее вместо паруса? А?

— А я при чем,— радист поднял руки ладонями вперед, как по команде «хенде хох!».— Мне что напишат оттуда, то и фиксирую.

— Фиксировать тоже с умом надо,— бросил капитан и бережно уложил бумажку в папку.— Все ж документ, будет потом чем отбрехаться... А в плоту уже окошки!

С парохода хорошо видно, как серые недружелюбные волны с гребешками перескакивают через головную плитку, плот вытягивается, стальной канат наголо обдирает кору с бревен, «снимает скальпы». Вспомогательный катер «Заозерный», пристроившись к хвосту плота и трудолюбиво отплываясь пеной, еле-еле оттягивает его от берега, куда валит ветер. А ведь мы еще не вышли на просторы Амура, барахтаемся в протоке.

— Тужится, семечка,— кивнул капитан на «Заозерный». — А что толку? Готовьте удочки, стоять будем.

Не доходя до Малмыжа, сделали плавный разворот и навалили плот на ухвостье острова Старый Нарген. Капитан, покончив с маневрами, художественно описал их в вахтенном журнале.

Нудно моросил дождь. На корме бухтели голоса: там торчали с удочками вахтенные и самоотверженные, остальных морось загнала в каюты. Лены среди них уже не видно — сбила охотку.

Утром ветер припал к воде, уполз в распадки. Старшина «Заозерного», высланного лазутчиком на мыс, вернулся с известием, что «там еще тише, чем здесь». Но то ли он был пьян, то ли природа решила сыграть с нами злую шутку, едва обогнули мыс Малмыж, увидели: по плесу гуляют «беляши».

— Дело пахнет... — закричал второй штурман.

Проводка плота имеет свои особенности: едва отчалил от берега, назад вернуться уже не можешь, пароход не потянет плот против течения, поэтому нужно всегда рисковать и идти вниз по течению — деваться-то некуда. И только вышли в Амур, плот приобрел тревожный вид — бревна сбились к задним перемышкам, образовались просторные «окна».

Четыре часа ползли по плесу, ожидая: вот-вот плот будет расколочен. Волны все зверели, ветер визжал в оттяжках мачты. Когда вдали сквозь плену проявились многоэтажные дома Амурска, старпом ворвался в рубку:

— Ну, Леонид Николаевич, вопрос — ребром. Либо опять за берег цепляться, либо на Вознесенском расколотим плот. Видали? Ого!

— Сплотка слабая, никудышная,— ворчал капитан, не отвечая на вопрос штурмана.— Бракоделы... Был бы найхинский плот, не страшно. Там добротнo мастерят...

На траверзе мыса Аткин он велел переложить руль вправо, обернул пароход носом в корму и стал вводить плот в Хунгарийскую протоку задней плиткой, по-рачьи, намереваясь навалить плот на берег и переждать шторм.

— Ох, беда! Молотим полным, а — несет. Норд-ост гонит волну с Вознесенского, но течение перебарывает. Станем?

— Протоку насквозь просвистывает!

— Ничего, больше двух радикулитов не будет, а один есть.

На берег выехала команда шлюпки и, пока пароход упирался, сползая по течению, закрепила стальной трос, опоясав примерно полгектара леса. Петля затянулась, деревья выползали из земли с корнями, но вскоре трос напружинился и окаменел. Чугунный кнехт гудел, палуба под ним выгнулась горбом — шуткали, держать пять тысяч кубов, которые волочет мощное течение! Что-то визгнуло басом, и трос медленно поднялся вверх, как

змея перед дудочником, мотая на конце языком обрывка. Нас потащило прямым ходом из протоки и выбросило на разъяренный Вознесенский плес. Пришлось снова разворачиваться.

— Руль на борт!

Ночь накрыла нас мокрым мешком. Густой дождь расчертил широкие лучи прожекторов в косую серебристую линейку. А там, вдали, какие-то уродливые щетинистые существа, как серые свиньи, одно за другим нахраписто лезли на переднюю плитку.

То были волны.

Не заметили, как Вознесенский плес остался позади. Почему-то плот не разметало, но с уверенностью можно было сказать, что это будет сделано на следующем плесе — у острова Кеори.

— Станем у села Диппы, за косой,— один выход!

Опять поворот. Жмемся к левому отмелому берегу. Судно неудержимо тащит вниз, оно пыхтит, упирается изо всех сил и... наконец побеждает. Судя по берегу — не двигаемся.

— Держим крепко!

— Нас держит,— поправил капитан.— Сели правым бортом.

— Теперь даст эрдо в управление: «Сели на мель»,— шепчет мне Марочка.— А как снимемся, сообщит: «С мели снялся».

А громко говорит:

— Вот и влипли!

— Это еще цветочки, фиалочки. Вода-то падает. К утру не слезем — обсохнем намертво.

Все же решили извлечь выгоду из создавшейся ситуации: парход (точнее, мель) держал плот, а катер наваливал его на берег. Абордажная команда на шлюпке то и дело курсировала на берег, пытаясь завести швартовый конец за складки местности и участки леса. Работали посменно, и, когда очередная команда выезжала на берег, сменившиеся, измазанные в придонном иле, промокшие до костей, валились прямо на палубу над горячим машинным отсеком, укладывали головы на трубы насоса «Вортингтон», по-матерински теплые, и засыпали мгновенно.

Наконец трос утащили в глубь тайги и за что-то там закрепили— толстое, торчащее из бурелома. Возможно, то была земная ось.

На рассвете нас сдернул с мели случайно проходивший мимо буксир «Николаевск», однотипный с «Артеком». И опять, едва мы зашевелили плот, зашевелилась и природа. Задул ветер, кисло сморщился плес. Но все же прорвались мимо острова Кеори и тридцать первого числа поставили плот у селения Экони выше Комсомольска.

Стояла тихая солнечная погода. Амур сиял жидким зерка-

лом. Сопки застыли в золотой паутине. Облака испарились. На берегу возились с треногой две полногрудые геодезистки в майках и туго обтягивающих брючках. Марочка горестно засмотрелся на них, скребя щетину на подбородке.

Пароход, чужая, как тетерев-косач, облегченный, летел по стеклу воды к вырастающим многоэтажным домам Комсомольска. Молодой город раскинулся в сердце тайги подобно красавице, загорающей на пустынном берегу.

— Ну и погода!

— И не удивляюсь,— откликнулся капитан, занятый своим вдохновенным творчеством в вахтенном журнале.— Эта золотая погода продержится и неделю, и месяц.

По традиции — план сделан, рейс закончен — капитан спустил на вечер всю команду на берег — разрядиться. Глотая слюни, все торопливо бросились по каютам.

— Третий, от коллектива не отрывайся! — многозначительно погрозил толстым пальцем старпом, и по его похолодевшему взгляду я понял, что невыпитый стакан спирта там, на барже, не забыт.— Двигаем все вместе.

Я зашел в каюту. Лена стояла у иллюминатора, смотрела на порт и, как всегда, крутила челку на лбу. Она медленно обернулась и обреченно посмотрела на меня.

— Традиции... — отводя глаза в сторону, пробормотал я.— Всей командой в ресторан. Но ты не подумай... я там немного посижу и назад. А ты пока пройдишь, погуляй по городу, а?

— Хорошо, милый,— она покорно кивнула.— Зайду в горбольницу, я ведь оттуда, можно сказать, сбежала и — напрямик к тебе. Надеюсь...

Не обратив внимания на последнее слово, я повеселел:

— Умница. Все будет прекрасно. Часа через два жди меня здесь, и мы погуляем вместе. А то... сама понимаешь, неудобно отрываться от коллектива,— повторил я глупейшие слова Марочки, хорошо понимая, что нет никакого коллектива, а есть шарашка, пламенно желающая настегаться.— Видела ведь, как приходится в рейсе.

Торопливо выпаливая все это и стараясь не смотреть на Лену,¹ я быстро одевался. И вот в полной парадной форме я перед ней: блистают шевроны кителя, щегольская фуражка с толстым «гамбургским» козырьком и шитой золотом «капустой». Вдруг в голову пришло, что именно так я представлял нашу встречу, но, вместо этого — ирония судьбы! — ухожу куда-то... Спешу на встречу с другой — злодейкой-разлучницей.

— Какой ты красивый! — Лена приподнялась на цыпочки и поцеловала меня. В поцелуе почему-то ощутилась горечь. Неожиданно мелькнула мысль: а плюну-ка я на все «коллективы»

да отправлюсь в город с Леночкой. И будет она светиться от счастья...

Но сразу представилось все уныние этой «семейной» прогулки — чинное шествование по улицам, потом не менее чинный ужин в безалкогольном кафе, где, может быть, мне и будет позволено слабенючая рюмочка, а скорее всего нет. А в это время мужики... я знал, что в это время мужики, и, как дикий конь, рвался на волю.

Вот хлебну с ними, отведу душу, тогда и настроение будет иное, и пройтись можно хоть и по безалкогольным кафе.

— Жди! Я скоро вернусь.

Забыл, совсем забыл, что из кабаков скоро не возвращаются.

Уселись шумной компанией. Марочка махнул официанту:

— По высшему разряду... Водки, пива! И все прочее.

Водку глотали фужерами, потом — тоже по традиции — давили пальцами фужеры. Официант подлетал:

— Опять?!

— Включай в счет! Неси еще...

Маялся и поглядывал на часы до первого глотка. А потом сразу все стало трын-трава. Перекрикивая друг друга, вспоминали подробности минувшего рейса: как таскались с плотом, как зачаливали лес, как Саша спал на палубе, накрывшись доской, чтобы по животу не бегали. Грозно поглядывали на соседей, подмигивали девицам. Естественно, после того как вывалились из ресторана, завязалась драка с командой какого-то сухогруза. Звучно ударяли загрубелые кулачищи по мордам, зубы летели по асфальту, как кукуруза, обмякшие тела переваливались через бордюры...

Потеряв фуражку, с разорванной штаниной и расквашенными губами поздно ночью дополз я до парохода в обнимку с Толей Куликовым, моим однокашником. Лену решил не тревожить — прокрались в Толину каюту и просидели до рассвета над бутылочкой трехзвездного, которая оказалась у запасливого Толи в сундуке.

А когда бутылка высохла и я все же осторожно зашел в каюту, с особым желанием ожидая душистых объятий, меня встретила немая пустота. На столике в сером сумраке рассвета белел листок. Негнушимися, уже распухшими от мордобоя пальцами я еле удержал его: «Спасибо за незабываемый месяц, милый. Может, еще увидимся...»

Минуто я тупо смотрел на листок бумаги с разгонистыми большими буквами, неровно написанными, — ее характерный почерк, будто спешила куда-то. Потом меня охватила злорада, и я в клочья порвал листок. Все на свете померкло, только теперь осознал я бесповоротность случившегося.

— Ничего, найдем других! — погрозил я куда-то кулаком, — Этим меня не возьмешь. Я из породы неукротимых.

Тогда я совсем не понимал, что самых неукротимых со временем укрощает бутылка...

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Я пришел, как суровый мастер,
воспеть и прославить крыс.

С. Есенин

В борьбе с самим собой он неизменно терпел поражение.

Вот и сейчас, глядя, как его владивостокский друг неторопливо поднимается навстречу, он чувствовал: отчаяние и чувствобессилия охватывают его все сильнее. Что-то тут нечисто, что-то нечисто... И вдруг он явственно увидел — глаза идущего навстречу горят красноватым огнем!

Первым побуждением было прыгнуть через парапет и ушиться в сеть переулков, которые он хорошо знал. Но едва положил руку на холодный камень, как обнаружил, что это железный борт корабля. Глянул вниз — серые волны катились чередой. И опять в сознании все сместилось! Значит, он все-таки на дизель-электроходе.

Где-то слева послышалось шипение, налетел клуб пара, остро пахнувший вареными крабами. Он увидел длинный широкий конвейер, оканчивающийся крабоваркой — большим баком, в котором день и ночь кипела вода. Под ногами что-то захрустело — то были разбросанные крабовые клешни. И тут он успокоился — все связалось логично, без пугающих разрывов.

Он находился на плавзаводе, флагмане крабовой экспедиции «Хинган». Как сразу не догадался! А навстречу идет не кривоносый неизвестный художник, а очень даже известный механик Валя Короткое, рационализатор «золотые руки». Да, это он: замасленная роба, карман на колене, из которого торчат плоскогубцы, неизменная извиняющаяся улыбочка. Горели красноватым огнем не его глаза, а две сигареты, зажатые в углах рта.

— На,— вытащил Валентин одну сигарету,— специально для тебя только что присмолил.

— Ну спасибо,— Матвей жадно затянулся, но что-то внутри продолжало мелко, противно дрожать.— Ты чего там делал внизу?

— Краденые консервы перепрыгивал,— Валя лукаво подмигнул.— И твои два ящика. Просил ведь?

— Где они?

— Сам господь бог не найдет. В двойное дно запроторил.

Мало ли у меня схованок? Ишь, надумали вселенский шмон навести...

Строго говоря, консервы не были краденые. Просто во время технологического процесса часть банок деформировалась — обычный брак, а поскольку партия шла на экспорт (все крабы ныне шли на экспорт), то они подлежали списанию и выбрасыванию за борт, о чем полагалось составлять акт. Раньше эти консервы реализовывали среди команды, но какому-то сверхпринципиальному дуболому пришлось в воспаленную голову, что команда будет умышленно деформировать банки, чтобы нахапать их побольше. А чего их деформировать, если за глаза хватает того, что само деформируется, — оборудование старое, сбитое. Короче, никаких разговоров: банки выбрасывать за борт, и точка. Пусть лучше сгниет продукция, чем достанется простым труженикам. Знаем мы «ас! Станет кто-нибудь у конвейера с молоточком — и ну тюкать по банкам. Видимо, дуболом руководствовался собственной психологией.

И вышло в точности так, как получилось с Матвеем в одной провинциальной гостинице. Утром хватился; нечем ботинки почистить, кроме угрожающих и запрещающих плакатиков никакого «сервиса. И вдруг узрел: «Сапоги скатертью не чистить!» Он потом рассказывал: «Сам бы никогда до такого не додумался».

Соответствующий акт составлялся, но консервы никто, конечно, не топил — у кого поднялась бы мозолистая, обгрызенная 'Крабовыми клешнями, обжаренная паром и солью рука губить добрую, к тому же дефицитную продукцию? Не капиталисты... Весь брак распределялся по негласным соглашениям: комсостав; брал, ловцы и обработчики разворовывали. А поскольку стали налетать с досмотрами, обысками, рейдами — тут и народный Лконтроль, тут и ОБХСС — всем хотелось и все щедро хапали, — то законного брака уже стало не хватать, приходилось и молоточек пускать в ход, а то и целыми партиями отправлять налево, чтобы всех ублажить. Так возникла неуправляемая реакция хищений, негласные таксы — кому сколько. Прятали кто где: в подушки, в двойное дно, в двойной потолок, в спасательных плотниках и шлюпках. И в этом деле великим мастаком был Короткое. В его хозяйстве оказалось столько закутков, о которых даже мало кто знал, — механик создавал их специально. Он говорил печально, принимая на хранение очередную партию (ему сдавало и командование):

— Не шерстили бы, законно отдавали нам брак — в сотню фаз меньше тащили б...

Практически найти спрятанное не удавалось никому. Поговаривали даже, что Валентин может схоронить всю продукцию плавзавода за сезон. И в это верилось.

Такса была твердая — за бутылку десять банок. Матвей заказал двести штук для производственных нужд, друзей и знакомых и должен был доставить механику ящик водки. Он разработал план и посвятил в него только механика и вира-майна Кренделя, которому тоже было обещано кое-что.

Вира-майна — специалист высокого класса — на судне один, В любую погоду он торчит на палубе, жестами руководит разгрузкой мотоботов. Стропы особым образом уложенных полуживых крабов (при освобождении из сетей ловцы острыми крючками пробивали им нервный центр, обездвиживали) — спинкой вниз — иначе сильнодействующая печень тут же начинала разлагать ценную мякоть конечностей, пожирать самого хозяина, — поднимали палубными лебедками и немедленно отправляли в обработку. Каждый строп весил полторы-две тонны. Лебедчик из своей кабинки не видит, что делается внизу, под бортом, и выполняет указания вира-майна. При волне, ветре для подъема стропа требовалась особая виртуозность и согласованность, любая ошибка могла дорого обойтись.

Артист Крендель владел своим искусством в совершенстве, поэтому его держали, хотя при каждом удобном случае он старательно напивался до «белочки» и все пытался выбраться за борт, что иногда и удавалось, — его не раз вылавливали из ледяной воды.

Высокий, худой, с одной и той же мыслью, беспокойно бившейся в черных горячих глазах, — как бы выпить, он выслушал Матвея и сказал коротко:

— Сделаем.

Послышался топоток многих ног — шла ночная смена обработки. Матвей отступил к борту, давая им дорогу и бессознательно ища взглядом Веру.

Сто пятьдесят мужиков и шестьсот молодых девок. Таково было соотношение на плавзаводе. Из этих ста пятидесяти бойцов, примерно одна треть женщинами уже не интересовалась — или возраст предпенсионный, или «положение обязывает», как у кадров Евстратова.

Среди девушек и молодых женщин, работавших на плавзаводе, преобладала «вербота» — кобылки оторви да брось, хотя по виду многих неопытному человеку было бы трудно угадать: ангел, только что сошедший на землю. Были, конечно, и скромные Девушки, которые пошли в море за романтикой или из-за трудных житейских обстоятельств, но такие держались обособленными настороженными группками и в общих играх не участвовали.

Матвей быстро научился отличать и тех и других по особому взгляду, поведению, разговору, а то и по каким-то вовсе неуловимым признакам. Но Веру никак не мог разгадать. Среднего роста, она

в любой толпе выделялась прямой строгой осанкой, гордым видом, а белую высокую накрахмаленную косынку несла, словно корону. Бывшая балерина? Она не казалась недотрогой, всегда шутила и улыбалась в ответ на шутки и улыбки, но умела осадить даже отпетых забубённых головешек краболова одним взглядом. Когда-то Матвей не верил в такое, думал: книжные выдумки, как осадить стервеца с замороженными глазами? А когда увидел, как это делает Вера — не шевелясь, не изменив позу, а лишь поведя темными мерцающими глазами,— немало подивился. «Орешек! Лучше не стараться, время даром тратить...»

Но никогда не упускал случая полюбоваться ее необычной, затянутой в синее трико фигуркой, выстукивавшей каблучками по палубе. «Можно поставить ее на ладонь и любоваться...»

Вера прошла, как всегда бросив на него загадочный взгляд, с какой-то тающей неуловимой улыбкой на тонких, будто нарисованных нежной акварелью губах. Словно знала нечто, скрытое от других. «Черт, а не девка!»

Он сплонул за борт и отвернулся. Коротков на парад бедер нуль внимания, сипел в ухо:

— У тебя там что-нибудь осталось?

На плавбазе царил жестокий сухой закон, и хотя при выходе в море запасались изрядно, но все запасы давно были высосаны досуха. Исчезли все препараты, содержащие спирт: одеколоны, лосьоны, лечебные капли в судовой аптечке, политура у плотников. Последний флакон «Шипра», стоявший на туалетной полочке в каюте Матвея, выхлебал тот же Короткое, прибежав как-то утром: «О, коньячок с нарезной пробочкой!»

Но три-четыре человека с плавзавода, в том числе и Матвей, имели право выезжать на берег по своим служебным делам. Когда стояли у Камчатки, Матвей дважды побывал на берегу. В первый раз он привез пять ящиков рисовой водки, второй раз удалось взять только два — последние. Обе операции были до мелочей распланированы и проведены Матвеем с тем особым тщанием, которым отличались все его начинания.

Самым опасным был момент причаливания к плавзаводу и переноса сивухи на судно. Матвей прекрасно знал, что на судне все уже оповещены об истинной цели его выезда и везде расставлены посты из добровольцев-стукачей, скромно именуемых «активистами», которые должны поднять тревогу, как только он причалит к борту. Хотя Матвей выполнял здесь совершенно обособленную работу и формально не подчинялся администрации, капитан-директор на своей территории мог арестовать всю водку и Матвея в придачу, а потом отправить его с перегрузчиком обратно.

С капитаном-директором Михайловым у него были сложные отношения, и неизвестно, на что тот мог решиться.

Когда Матвей пришел на судно еще в порту и ввел его в курс дела, он долго жевал мясистыми губами, по обыкновению избегая смотреть прямо в глаза. Опухшее от пьянства лицо Михайлова смотрело на мир щелочками, в которых решительно ничего нельзя было прочесть. — по временам возникало сомнение, есть ли там глаза. Возможно, раньше его лицо что-нибудь и выражало, но эти времена давно минули. «Алкаш,— определил с первого взгляда Матвей.— Беспробудный, беспросыпный, но как-то еще держится. Видать, жратвой нейтрализует, ишь как его разнесло...»

— А зачем вам выходить в море? — кажется, такой или примерно такой вопрос задал капитан-директор. Ибо его речь можно было расшифровать только приблизительно, опытным слухом угадав общий смысл сказанного: слова вылетали из его рта одной очередью. — Поставили нам партию запчастей — и спасибо.

— Дело в том, что необходимо понаблюдать их в работе. Партия опытная, возможно, требуются усовершенствования.

— У нас есть специалисты, они и понаблюдают.

— Не сомневаюсь, что у вас есть высококвалифицированные специалисты. Но их наблюдения будут ограничиваться одним: работает прибор или не работает. Всякие измерения, записи, систематизирование данных никто проводить не будет. Приборы размещены по всем флотилиям, и необходимо будет выезжать туда, тоже проводить измерения. Кроме того, у меня специальная измерительная аппаратура, такой у вас нет.

Последний довод подействовал — капитан-директор откинулся на спинку кресла и попытался закинуть ногу на ногу. Он согласился неохотно. И вскоре Матвей понял почему. Михайлов совершенно не терпел на судне посторонних. На судне он вел себя как пьяный помещик в своем уделе. Выходил на мостик, брал мегафон и ревел:

— Принять эсэртэ к правому борту! Кошкой абы! — после этого знаменитого вступления из мегафона лилась сплошная матерщина. Моряки слушали, встряхивались, как кони, шевелились. Исполнив «арию», капитан-директор величественно удалялся смочить пересохшее горло. Моряки прозвали его Винни-Пух, но справедливости ради следовало бы называть его Анти-Винни-Пух.

Никто не видел его трезвым — для него сухой закон не существовал: с каждым перегрузчиком привозили ящики в «фонд капитан-директора». Все у него были в кулаке, а Матвей посторонний, кто его знает, что у него на уме? И, чтобы обезопасить себя, он прибег к испытанному средству всех хватократов — поручил своему верному наперснику Евстратову завести на Матвея папку.

Абсолютная бездарь и лентяй Евстратов держался на плава-воде только благодаря своему исключительно приспособленче-

ству и подхалимству перед капитан-директором, все распоряжения которого, даже самые дикие и несурзные, он выполнял неукоснительно, увольняя неугодных и давая зеленую улицу угодным. Он дорабатывал до пенсии и уже давно не пил, с тех пор как врач заявил ему, что еще стопка — и за его печень не ручается.

— Таких классических патологических алкогольных изменений в организме я давно не видел, — заявил он после тщательного обследования. — Еще с институтской скамьи. Там это было представлено на красочных муляжах.

И веско, внушительно резюмировал:

— Свою цистерну алкоголя вы уже выпили, голубок, — и досрочно!

Эти слова подействовали магически. Занимая ранее какую-то высокую должность, Евстратов привык рапортовать о выполнении досрочно, и сознание того, что свою цистерну он тоже выпил досрочно, наполняло его по временам неизъяснимой радостью. А поскольку он также привык беспрекословно выполнять различные циркуляры и предписания, то у него и в мыслях не было ослушаться врача. Тем более что расстаться с алкоголем оказалось легко — пил он, как говорят, «под одеялом» — удовольствие весьма сомнительное, унылое и даже гаденькое.

Теперь он возглавлял комиссию по борьбе с пьянством, или, как ее коротко называли моряки, «пьяную комиссию», — название в общем-то верное, потому что из трезвенников в ней оказался только председатель. Зато заместитель его, электромеханик Мерзляк, пил за двоих. Как-то в пьяном виде, желая нравиться молоденьким, он выкрасил свою седую шевелюру и бороду хной и стал напоминать обрюзгшего перса. В его обязанности входило сообщать по судовому спикеру о различных репрессиях против пьяниц, что он и делал исправно заплетающимся языком под дружный смех всего экипажа.

Матвей знал, что Евстратов ревностно выполняет распоряжение капитан-директора: в папке уже были собраны многочисленные доносы, рапорты, выписки о художествах Матвея — ведь он тоже не ангел: с кем-то осушил поллитру, вечером проскользнула в его каюту молодка и вышла только под утро, после выхода в море высосал с друзьями весь гидролизный спирт на технужды.

Но главная операция Евстратова с треском провалилась. Матвей ушел на берег на мотоботе «З», и добровольцы с наступлением темноты все глаза просмотрели, карауля «тройку» с подветренного борта, ярко освещенного, к которому обычно и причаливали все суда, подходившие к плавзаводу. А Матвей подошел с наветренного борта, и не на «тройке», а на каком-то МРСе — малом рыболовном сейнере, который ошивался в Усть-Хайрюзове,

Команда изнывала от безделья — чавыча еще не шла, ловить нечего — и при виде Матвея с его ящиками сильно оживилась. Капитан, молодой ительмен Вася Туйков со спутанной пышной черной, как вороново крыло, шевелюрой, тотчас отчалил от берега и взял курс в открытое море. Пили прямо на палубе, закусывая малосольной чавычей. Одну такую — в рост человека — вытащили на палубу, расстелили на досках и отхватывали ножами алые куски посочнее. За три часа, что шли до плавзавода, осушили пол-ящика и сожрали почти всю чавычу — на палубе валялся один хребет с головой. Матвей порадовался, что на МРСе оказалось всего четыре человека команды и что до плавзавода ходу три часа, иначе пришли бы с пустыми ящиками.

С наветренного борта караулил лишь один человек — вирамайна Крендель, но он стоял многих добровольцев, дремавших у другого борта. Вся операция заняла меньше пяти минут. На палубу сейнера упал строп, в него поставили ящики и влез Матвей, что категорически воспрещалось. Будь тут инспектор по технике безопасности Пахомов, он упал бы в обморок. Короткое, работая малой лебедкой, проворно поднял строп на палубу и поставил его в тени надстройки. Сейнер тут же развернулся и, обогнув корму, стал заходить с подветренного борта, отвлекая внимание. Вася базлал в мегафон как оглашенный, допытываясь, где стоит плавзавод «Блюхер». Ему что-то разъясняли, а в это время на противоположном борту ящики с водкой споро снесли вниз и спрятали в служебной каморке Матвея, где к тому же чернела грозная надпись: «Посторонним вход воспрещен!» Тут уже были разложены вареные клешни — увесистые лапы камчатского краба — четырех хватало, чтобы наесться до тошноты, сплошной белок. Так, безмятежно похлебывая рисовую вьетнамскую и рассказывая друг другу интересные истории из морского быта, и скоротали они время до рассвета.

Поднимаясь в свою каюту, Матвей на узком трапе нос к носу столкнулся со встрепанным Евстратовым. Именно ему, как стало известно, и была поручена операция по захвату Матвея с личным.

— Вы? Вы... — он выпучил глаза. «Болван болваном. Зеркало бы ему сейчас». — Откуда вы?

— С берега, — Матвейдохнул на него перегаром. — Другавот встретил, задержался малость.

— На чем же прибыли?

— На жучке каком-то... не помню. А что случилось?

Евстратов заглянул за спину Матвея, будто ожидал увидеть там ящики с водкой, хотел еще что-то спросить, но скрипнул зубами и ринулся вниз.

Вторая операция прошла не так чисто — в дело вмешался

случай. Забрав из магазина последние два ящика с той же рисовой (продащица удивлялась: «Везем и везем ее, а с флотилий так и подчищают, уже пять планов выполнили!»), Матвей обвязал их бечевкой и на мотоботе отправился обратно. Однако на полпути попросил старшину подчалить к траулеру, приписанному к флотилии, который как раз попался на пути. К плавзаводу было приписано четыре траулера. Двоих капитанов из четырех Матвей знал, а этот, казах Бисалиев, на чей траулер он попал волей случая, был ему, к несчастью, незнаком, и о нем ходили противоречивые слухи. Но деваться некуда — на горизонте выростала громада плавзавода, и ехать туда среди бела дня с ящиками, на которых красуются хоть иностранные, но до боли знакомые каждому моряку надписи, было безумием. Все равно что прямо с этими ящиками впереться в кают-компанию во время собрания.

Матвею бросили штормтрап, помогли поднять и поставить ящики на палубу. Подхватив их, он направился в каюту капитана.

— Слышал, слышал о тебе,— встретил его капитан, смуглый крепыш с изрезанным морщинами волевым лицом и мохнатыми бровями.— Ну что ж, будем знакомы. А это что у тебя?

— Водка,— просто ответил Матвей, садясь и закуривая.— Рисовая, вьетнамская. Другой на берегу нет.

Бисалиев медленно поднялся, лицо его побурело, узкие глаза налились бешенством.

— Что?! На судне водка? Да если бы я знал, что у тебя эта гадость, я бы мотобот и близко к борту не подпустил! Рисовая, вьетнамская!

Матвей так и не понял, то ли он разгневался на рисовую водку, то ли на него лично.

— Бек Назарович,— заговорил он умиротворяюще,— Ты же знаешь, у многих на плавзаводе то день рождения, то на берегу наследник образовался, то еще какой праздник... Без сивухи никак. Вот и попросили меня люди.

— На это предусмотрен резерв капитан-директора! По такому случаю выдается бутылка! — Бисалиев забежал по каюте.

— Весь резерв Винни-Пух давно высосал. Жди от него бутылку! Даже спирт у радистов отбирает.

— Неужто? — Бисалиев остановился.

— У меня тут записано,— Матвей вытащил блокнот.— Вот, свидетельство радиста Каткова: «13 мая — два с половиной литра, 8 июля — полтора литра...»

— Ах, стервец! — покрутил головой капитан.— Ну, окончится путина, пойду в Дальрыбу, все расскажу.

— И откроешь Америку. Разве там не знают? Кому-то он нужен...

Конечно, как специалист он толковый. Ни разу не сорвал план путины. Всегда в передовых.

— Потому что ловит в запретных секторах,— в тон ему закончил Матвей.

— Не может быть! — Бисалиев так и сел.— Ты... ты понимаешь, какими обвинениями бросаешься?

— Не бросаюсь, а предъявляю. Ну-ка, поднимемся в рубку. На штурманском столике была расстелена карта района лова. Матвей бросил на нее быстрый взгляд.

— Так я и знал. Где вчера вечером ставили сети?

— Вот,— капитан показал.— На шельфе и на банках Голубая и Неожиданная.

Матвей взял красный карандаш и очертил три прямоугольник.

— Понял?

— Запретные? — ахнул Бисалиев.

— Весь фокус в том, что карты с такими секторами находятся только на флотилиях, а на траулеры выдаются обычные, рабочие. Когда управление закрывает какой-то сектор лова из-за его истощения и для восстановления крабового стада,— ты это знаешь,— оно передает координаты на флотилии. На других флотилиях данные тут же передают на свои траулеры, корректируют карты, а прохвост Михайлов этого не делает, держит в секрете. Но на его картах данные наносятся — для спецконтроля.

— Ты-то откуда знаешь? Где их видел?

— Я многое знаю. Но скажу, чтобы не сомневался. На мостике стоит один мой прибор, я регулярно проверяю его работу. А Михайлов не подозревает, что я по профессии штурман и мне достаточно взглянуть на карту, чтобы запомнить, что где находится. А подробности мне разъяснил второй штурман Насовкин, мы как-то сидели, а он поносил Винни-Пуха.

— Почему же молчит?

— У него две морские жены. А законная на берегу только и ждет, чтобы его вытолкать за аморалку и завладеть квартирой. Но пока Винни-Пух за него, он держится. Механика ясна?

Бисалиев схватился за голову.

— И я, я -соучастник. Ведь обе банки в красном секторе! Да и в других секторах ловушки ставили...

— Пиши докладную. А я передам ее куда следует — в управление.

— Нет, погоди... Надо в этом деле основательно разобраться.

— Вот-вот. А также осмотреться, выждать, 'затаиться. Все вы такие,— Матвей с треском бросил на карту карандаш.— Пошли лучше жажнем.

Бисалиев покорно поплелся за ним.

— Ну а спецконтроль?

— Не раз его прихватывал. Он или напоит контролера до посинения, а потом набьет его торбу консервами, или отбредется: гуман, непогода, не сориентировался.

— Курвин сын! Да кто ж такому поверит?

— Надо, потому и верят. Кому охота рапортовать о недопоревыполнении? Все начальство снизу доверху пламенем горит. Вон «Тухачевский», «Постышев» шепетильничают, промышляют в строго отведенных секторах и — горят с планом. Кого мылят в хвост и гриву — их или Винни-Пуха?

— Но ведь так всего краба выгребем. Что нашим внукам останется, даже детям?

— Эж, куда хватанул. Тебе самому-то много остается? Ежели пару банок для тебя стянут, то поставишь на праздничный стол. Главное сейчас — рапорт. Вот и жуй этот рапорт.

— Но ты-то молчать не будешь?

— Сам знаешь, не одного сукиного кота вывел на чистую во-Ку. Но кому интересно? Если бы Винни-Пух не был удобен верхам, его в один миг давно сдули бы с мостика. А так... рассказывай, слезами обливайся... в упор не слышат. Рассказал я одному Ефиезжему шелкоперу, он сразу учуял, что пахнет паленым, за голову схватился, по каюте забегал. «Нет, нет, не может быть! Я на сорока флотилиях побывал, нигде пьянства, разврата и жульничества не видел! Как же вы крабов ловите и до сих пор не потонули? Не может быть!» Так и повторял, как заведенный: «Не может быть!» Эх! Чтобы поверить, нужно проверить. А как такой обалдуй проверит? Ему ведь даже не стыдно было вякать; побывал на сорока флотилиях! Нет, все-таки великий человек был Потемкин: как изобрел свои деревни, так до сих пор и стоят незбылемо. Из картона, да крепче, чем из бетона! «Он побывал...» А я трублЮ безвылазно и все вижу не с картонного фасада, а с изнанки. Да меня самого на прицеле держат. А ты еще помочь отказываешься...

Он красноречиво кивнул на ящики:

— Чего ты с этим пойлом связался? Слышал я, крепко зашибаешь. Погоришь когда-нибудь. Такой человек...

— Ну что у нас за манера! Ведь я с топором не бегаю. А если выпил в свое удовольствие...

— Сегодня в удовольствие, а завтра топор ухватишь. Ты лучше делал бы так, как мой отец завещал. Я поклялся ему и с тех пор ни разу не нарушил завет.

— Ну что он завещал? — Матвей заинтересовался.

— Он сказал: сын мой, пей всегда только один раз. Один раз! Сколько бы ни налили, я выпью, но больше — ни-ни! И в любом застолье головы не теряю, ну а продолжения нет.

— Постой-постой,— Матвей даже откинулся назад,— а есля тебе жбан нальют?

— Было и такое. Хрустальную вазу водки наливали. Я и ее опростал. Но больше — швах! С тех пор не испытывали. стыдно стало. А мне не стыдно, я завет отца выполняю.

Говоря это, он распахнул створки настенного шкафчика, достал бутылку рома, стопки, баночку красной икры.

— Давай по завету отца! Пьем только один раз.

— Давай! — Матвей воодушевился, потом пошарил глазами,— Не сердись, Назарыч, только налей мне... вот сюда! Красивая чашечка.

Бисалиев захохотал.

— Чашечка... Это ведь котелок компаса. Знаешь, сколько сюда входит?

— Спрашиваешь у штурмана! Будто не вижу, что это вспомогательный, или аварийный. А чего он здесь?

Бисалиев помрачнел, отвел глаза:

— Мой второй высосал. И вместо спирта, паразит, воды туда набуровил. А картушка желтеть начала. Что такое, думаю. Ну, он и признался. Счастье твое, говорю, что генеральный не тронул, я бы собственными руками удушил. Ну, он пообещал спирт достать и компас восстановить.

— Не сердчай на него. Может, что случилось, душу отвел. Письмо какое из дому получил.

— Получил... Жена написала: не хочу больше вдовой при живом муже. Удрала с каким-то летуном.

— Поменяла шило на мыло. А летун будто ее стеречь будет. Тоже все время в полетах. Зови его, ради такого дела я из своих запасов выделю,— он кивнул на ящики.

— Да что, у меня нет? Я ему говорю, сказал бы, уж как-нибудь помог бы... — капитан подошел к двери и крикнул: — Второго ко мне!

Через минуту матрос прибежал:

— Он в душе моется.

— Видал? — кивнул капитан.— Подходим к плавбазе, а он в душ побрел!

— Ты просто к нему несправедлив. Что же ему, каждый раз как в душ идти, у тебя справляться?

Бисалиев покачал головой:

— Справедливость... Читал твои фельетоны, читал. Вот ты за справедливость борешься, а правдоборца из тебя не выйдет.

— Почему?

— У самого на хвосте бутылка. Каждый на нее пальцем тычет.

— А ты полагаешь, правдоборец без пятнышка должен быть?

Мы не ангелы. А ежели который без пятнышка, значит сектант. Но такие вот самые опасные, самые расчетливые.

— И ты в ту же дудку! Чем опасны сектанты? Мораль у них крепкая, заповеди те же, что и в любом кодексе: не укради, не убий, не брешу...

— Да сама мораль на чем стоит? На голом расчете: веди себя прилично в этом мире, а на небесах получишь все тридцать три удовольствия. Воздастся сторицей! Не как-нибудь, а сторицей! Кто же устоит, кто рубля пожалеет в обмен на сотнягу? Но ты поведи его на ту сторону да покажи, что там ничего нет и никакой сторицы ему не будет,— куда и благочестие денется.

— Раньше люди на потусторонний рай надеялись, а когда сказали им, что никакого рая нет, в пьянство ударились, так, что ли? — Бисалиев, забыв о завете отца, в волнении выпил второй стакан.— Опасная у тебя теория!

— Я ничего не говорил, это твои слова. Никакой теории у меня нет, просто я ишу ответ, почему люди так много глушат, почему к пойлу тянутся.

Раздался стук в дверь. Вошел парень среднего роста: брови вразлет, широко поставленные красивые глаза, опущенные густыми ресницами, умный взгляд. Вот только в фигуре что-то безвольное, женское...

— Звали? — он настороженно застыл у комингса.

— Вот, знакомься, Матвей Иванович,— второй штурман Иноземцев, мастак по компасам.

Они пожали друг другу руки. Так Матвей познакомился с Иноземцевым. Лучше бы он не знакомился! А иногда Матвей потом думал, что в этом была какая-то предопределенность судьбы.

— Матвей Иванович хочет с тобой выпить, иначе бы я тебя, стервеца, и в каюту не пустил... — завелся было капитан.

— Ну ладно, дело прошлое,— Матвей налил стакан, протянул штурману.— Мы вот тут спорим, почему люди пьют.

Иноземцев принял стакан, осушил одним духом и вытер губы тыльной стороной ладони.

— Очень просто,— сказал он, словно продолжал прерванный разговор.— Из-за цели.

— Какой цели?

— Любой. Ставят перед собой различные цели: того достичь, этого добиться...

Бисалиев захохотал:

— Видал? Теоретик. Он тебе сейчас мозги замутит, двери не найдешь.

— Ну-ка, ну-ка,— Матвей пододвинул штурману стул.— Поясни.

Тот сел, не торопясь закурил.

— Есть цели маленькие и большие. Ну, маленькие — скопить на квартиру, машину, захватить кресло — это даже не цели, а поползновения, мелкая суетня. А большие цели делятся на достижимые и недостижимые. Если цель недостижима, то зачем ее ставить перед собой? Чтобы всю жизнь локти кусать? Как только человек начинает понимать, что цель недостижима, тут и запирает. А если достижима, что потом делать человеку, который посвятил ей всю жизнь? Тоже пить.

— Но он может поставить перед собой новую цель!

— А это уже бег в колесе. Нет, нужно жить в бесцельности, воспитывать у себя эту бесцельность, ясно понимать ее целительную силу. Довольствоваться всегда самым малым, тем, что есть. Возьмите Диогена и его бочку. Ни к чему не стремился, а поди ж ты, был счастлив и оставил свое имя в веках.

— Ну, положим, и он искал. С фонарем все бродил...

— Искал такого же, как сам,— кивнул Иноземцев.— А люди вокруг все бежали куда-то, все стремились: быстрее, пешком ходить некогда, давай колесо... Кто-нибудь помнит изобретателя колеса? То-то. А Диогена помнят.

— Но бутылка тут при чем?

— Человек инстинктивно стремится к бесцельности. Водка и дает это ощущение. Жажнул — и целеустремленность как рукой снимает. Уж никуда не спешишь, хочется поговорить «за жизнь», осмыслить ее, осознать себя. А непьющий даже по эскалатору бежит.

Матвей налил, машинально выпил, стал закусывать.

— Однако для того чтобы поживать на лаврах и глушить, надо чего-то добиться.

— Наоборот, сивуха и дает человеку ощущение, что он уже всего добился. Почему пьяный разглагольствует о своих успехах? Он уверен, что достиг. Водка дает ощущение благополучия и достижения чего-то сегодня, сейчас, а не после дождика в четверг. Глотнул — и счастлив.

— М-да... — Матвей выглянул в иллюминатор. Подходили к плавзаводу, мотобот уже подняли на палубу, старшина, видимо, доложил Кастрату, с чем едет Матвей, и теперь у борта стояли встречающие — чуть ли не шпалерами. «Почетный караул, мать их!»

— Бек Назарович,— обратился он к капитану.— Оставлю У тебя это имущество, видишь — встречают. Когда сети поставишь и в полночь подойдешь к борту, перебрось мне на веревке.

— Ладно,— Бисалиев уже не сердился, лишь вздохнул. Оба с чувством пожали друг другу руки.

И вот теперь Матвей ждал траулер, вглядывался в ночное

море, опытным взглядом выхватывая сигнальные огни снующих по району лова судов. Красный огонь — идет туда... зеленый огонь... Ага! Красный и зеленый — держит курс на плавзавод.

Его дернул за рукав Валентин:

— Ты что, не слышишь?

— Пойло сейчас будет здесь,— бросил Матвей.— Потерпи.

— А в портфеле у тебя что?

Матвей вспомнил о портфеле. Там ведь два «гуся»! Открыл — точно! Откуда они здесь взялись? И снова смутное подозрение чего-то нереального закралось в душу. Ведь портфель он взял со скамейки в полтавском сквере, то бишь владивостокском, причем неизвестно, как он и туда попал.

— Мили две... — пробормотал он.— Будет здесь через пятнадцать минут. Успеем.

Они быстро спустились в каморку с грозной надписью на двери. Щелкнул ключ, Матвей вытащил бутылку и чуть не выпустил ее из рук — это оказалась рисовая водка. А тогда, в парке, он пил черное вязкое вино. Хорошо помнил.

— Ладно,— быстро разлили по стаканам.— Будем!

После того как выпили, Матвей лихорадочно зашептал, косясь на дверь:

— Мне только что казалось, что я в парке во Владике. Иду мимо университета... парাপет. А перед этим был на Украине. И вдруг — на судне! Как ты это объяснишь, а?

— А что тут объяснять? — Валентин с хрустом разгрыз клешню.— Ты попал на лист Мебиуса.

— Односторонняя поверхность! — Матвей отшатнулся.— А откуда она взялась?

— Мы многого не знаем. А Бермудский треугольник? Куда бесследно исчезают суда и самолеты? То-то! Нам разные объяснения подсовывают — дескать, авария, тайфун, колебательные волны. Но почему людей с палубы слизывает живьем? Я это установил. По земле где-то проходит односторонняя поверхность. Как попал на нее, так и сгинул. Или объявился на другом краю земли.

Матвей сразу поверил ему. Во всяком случае, теория Валентина многое объясняла и проясняла. Было за что ухватиться для исходных рассуждений.

— А что ты о ней знаешь?

— Не раз попадал.. — тот улыбнулся своей извиняющейся умылочкой.— То в одном месте объявлялся, то в другом и не помню как. Говорят: пьяный был. Пьяный-то пьяный, но не дурак. Дело в том, что лист,— он поднял палец,— пьяных долго не держит. Он движется в виде конвейера, а куда уходит — неизвестно. Может, куда-нибудь туда,— он неопределенно махнул ру-

кой — И кто им управляет, неизвестно. Может, им пьяные не нужны? Только попал, определили — и выбросили. И ты оказываешься все еще в пределах Земли. А те, которые потрезвее, представляют какой-то интерес. Их и уволакивает за пределы... К тому же трезвого выброси, он и пойдет балабонить, доказывать. А пьяному какая вера?

От его рассуждений морозец подирал по коже, мутилось в голове. Матвей вспомнил теорию одного алкаша в дурдоме. Тоя тоже толковал о каком-то внеземном наблюдении. Озирался. Может, и он попадал на такой лист, только не знал, что это такое» Просто почувствовал, что все не наше,— товары не те, и по загрузку не дают. А Валентин механик, сразу докумекал.

Вот оно как! Мысль Матвея напряженно работала. Но додуть мать не пришлось: наверху зазвенели звонки, послышался топот, — Причаливает! Пошли.

Траулер стоял у борта. На его палубу подавали строп с продуктами, все суетились, смотрели туда. Матвей прокрался дальше— Иноземцев на корме траулера увязывал бечевкой какие-то тючки в парусине. «Молодец,— тепло подумал о нем Матвей.— Сориентировался».

Штурман поднял голову:

— Матвей Иваныч! Кидай конец!

— Давай ты,— сказал он Валентину.— А я понаблюдаю...

Валентин споро поднял один за другим два тючка и деловито понес их вниз, в ту же каморку.

— А что я видела... — пропел сзади мелодичный голосок. Он повернулся — перед ним стояла Вера в своем неизменном синем трико, но поверх него была накинута блестящая куртка с пушистым белым воротничком и опушкой по рукавам и подолу. Ея глаза блестели.

— Ты как Снегурочка! — вырвалось у него.— Почему здесь?

— Работы мало, меня попросили подежурить,— она подошла вплотную, понизила голос.— Матвей Иванович, нам Кастрат строгонастроного наказал следить, как подойдет траулер...

— Побежишь докладывать?

— Хорошо, что вы в моем секторе. Больше, кажется, никто не видел, я смотрела... — она еще ближе подошла, хотя уже и подходить было некуда. От нее слабо пахло духами, и глаза мерцали У самого лица. Матвей и сам не понял, как это случилось, а уже жадно целовал ее полуоткрытые губы, глаза, холодноватые от морского ветра щеки.

— Ух! — она отодвинулась.— Долго же вы раскачивались.

— Но и ты... — он не выпускал ее из объятий. Мимо пробежал кто-то, чуть не задел, потом еще, и еще, но никто не обращал внимания: кого и чем удивишь на плавзаводе?

— Что я?— она заглянула в его глаза.

— Не подступись. Всех отшивала. Ну, я и подумал: кто я такой?

— Я и сама не знала. Случай. Вы, может, и не помните. Встретившись на трапе, вы уступили дорогу.

— Ну и что? — не понял он.

— Тут никто дорогу девушкам не уступает. С ног собьет, но лезет напролом. А вы...

— Говори мне «ты»,— перебил ее Матвей, а сам подумал: от какой малости зависит женское чувство!

— И еще...— продолжала она,— ваши... твои глаза. Какие-то светлые, мудрые...

— Наверное, трезвый был,— он снова поцеловал ее —на этот раз нежно и долго. Она прижалась всем телом, и он вдруг понял, что держит в объятиях недоступную статуэтку. Отодвинулся, вглядываясь в нежное, изящное лицо, розовые губы. Оказалось, что глаза у нее не темные, а серые, темно-серые, опущенные густыми ресницами. И тут вспомнил... вырвалось:

— Львовянка!

— Откуда ты знаешь? — она удивленно отодвинулась.

— Интуиция. И опыт,— привычно сказал он. Ну как объяснить, что это действительно как наитие? Вот почему лицо ее казалось ему странно знакомым! Только во Львове он встречал таких изысканно вежливых и недоступных с виду женщин — с тонкими «шляхетскими» профилями, с пепельными вьющимися волосами.

Как-то он забрел на спектакль о Буратино в детский театр — там должен был встретиться с важным бюрократом, который пришел с мальчиком, тихим и воспитанным. Мальчик смотрел спектакль, а они переговаривались шепотом, решали дела. Мальвина была прекрасна! В голубом воздушном платье, кружевных панталончиках, она словно летала над сценой. Матвей косился огненным глазом, когда она появлялась: как такую схватить, стиснуть в объятиях, заколотить? Сломать все нежные хрящики... Вера была похожа на нее как две капли воды.

— Ты в театре не играла? Мальвину, например? — спросил он, жадно заглядывая в ее потемневшие глаза.

Она тихонько засмеялась и спрятала голову на груди счастливого Матвея.

— Хватит лизаться,— из тьмы вынырнул Валентин.— Груз на месте.

— Идем,— сказал Матвей Вере.— Эх, я и забыл: ты на дежурстве.

— Ничего, я сейчас подружку попрошу, она подменит. Куда прийти?

Она крутанулась на каблучках и исчезла.

Тебе можно выдать шнобелевскую премию,— говорил на ходу Валентин.— Такую девку забарабать.

— Я тут ни при чем. Наверное, женский каприз...

Вдруг перед ними откуда-то появился штурман Иноземцев.

Матвей Иванович,— он встал на колени — действительно встал! — Заберите меня к себе, не могу больше!

— погоди, погоди,— Матвей поднял его.— Что я тебе, богородица? В чем дело?

— Тут жизнь, девки, приволье... — штурман чуть не плакал.— А там одна маета. Я ведь молодой мужик. За борт брошусь!

— Да заскочи в любую каюту — приглубят твою истерзанную душу. И размагнитись. Ваши-то успевают! Занавески на втором ярусе задернул — влюбляйся. А другие девки в это время в каюте читают, вяжут — все спокойно.

— Я по-собачьи не могу. Я привязчивый, мне одна нужна.

Матвею действительно требовался помощник: флотилий много, в сроки не укладывался. Кажется, он сказал об этом в каюте Бисалиеву, когда выпивали, а этот усек.

— Ладно. А капитан согласен?

— Да он... да хоть сейчас! Он меня сразу невзлюбил.

Тут бы Матвею и насторожиться, почему капитан невзлюбил своего штурмана, спуститься на траулер и поговорить. Но он помнил Кулакова, тоже ведь невзлюбил его, и было некогда — внизу, наверное, уже ждала Вера.

— Собирай манатки, завтра дам эрдэ в управление.

Вера действительно ждала около надписи: «Посторонним вход воспрещен!» Успела переодеться в бархатную мини-юбочку, тонкую обтягивающую кофточку из золотистой ткани. Едва вошли, она прыгнула на какой-то ящик и уселась, болтая изящными ногами. Закурила.

— Ловко устроились. А я думаю: зачем надпись? Когда я вижу такую надпись, мне всегда кажется, что я и есть в этой жизни посторонняя.

Валентин не отрывал глаз от ее круглых розовых коленей.

— Дай поцелую, ягодка,— он церемонно приник губами.— Диво! И создает же всевышний! Одному все, другому кукиш в кармане.

Вера пила наравне, но это не разочаровало Матвея. Она была из тех редких-женщин, у которых все естественно и ничто от нее оттолкнуть не может. И даже потом, в его каюте, когда она оказалась опытной и умелой в любовных делах, это тоже не вызвало разочарования, а лишь усилило чувство восхищения ею. Обняв го. она заливалась ласковым серебристым смехом, будто находилась в неведомой стране счастья, и такое же ощущение

охватило его. Все забылось, ушло, осталось одно — счастье!

И оно не исчезало, а росло от встречи к встрече с этой волшебницей. Теперь уже все на судне знали, кого избрала Вера, она открыто приходила в его каюту после смены и оставалась там до утра. И это не считалось здесь аморальным: одна ходит, не вереница.

Морская жена. Почти законная, а на плавзаводе такая и считалась законной. У многих на плавзаводе, даже у женатых, были морские жены, причем иная связь продолжалась из путины в путину, годами. Пусть там, на берегу, ждет и кусает локти так называемая законная жена с паспортом, в котором все ее права указаны — качай! Но ей достается муж всего на четыре месяца, а морской — на восемь. Да и те четыре месяца большой радости законной жене не приносят — муж только и поглядывает в окошко: когда же весна, путина, когда он встретится со своей ненаглядной голубушкой — молодой, пригожей, без всяких претензий, которая не грызет его изо дня в день, как эта опостылевшая мымра, а заботится о нем тепло и нежно, моет после вахты его натруженные ноженки.

Некоторые меняли жен каждую путину. А были мастаки, которые заводили сразу по две, по три — глаза-то избегают, богатейший выбор! Но на такое уже смотрели косо: между морскими женами начинались свары, волей-неволей приходилось разбираться судовому начальству, общественности — кому эта тягомотина нужна? Держи в узде!

Изменилось и отношение «кобылок» к Матвею. Раньше, бывало, то одна, то другая метнет призывный взгляд, пробегая, толкнет локтем, зацепит недвусмысленным словом. Теперь — как отрезало. Мимо него проходили как мимо пустого места — застолбила Вера. Но он не жалел: разве сравнится кто-нибудь из них с ее совершенством, с ее несравненным серебристым смехом!

Блаженство окончилось неожиданно и тяжело. С очередным перегрузчиком прибыло двое молодцов в штатском, но с выправкой, взяли Веру под белые локотки и увели с ее чемоданчиком. Подробности сообщил ему второй штурман, от него капитан-директор не скрывал своего торжества: «Повязали-таки зазнобу нашего суперспециалиста! Теперь он подожмет хвост...»

— За что?

— А из Львова! А там по-иному говорят. Раз по-иному говорят, значит и думают по-иному. Оказалась наводчицей, а тут хотела укрыться на время. Да разве от наших молодцов скроешься?

Матвей не успел даже попрощаться с ней. Выскочил на палубу, когда перегрузчик уже отходил. Она стояла у борта между двумя — даже лиц их не разобрать: серые, мутные пятна.

— Вера! — крикнул он отчаянно. — Да что же это?

— Судьба! — прозвучал ее серебристый голос. И уже издали сквозь шум заработавших винтов донеслось: — ... не забуду!

Он пошел к судовому костоправу, рыжему прохиндею Заги-айло, и сказал:

— Володя, выручай. Дай спиртяги.

— Рад бы, друже! — приложил тот руку к груди.— Все вы-жрал косоглазый Винни-Пух. И просит, и требует! Божья кара! Остался энзэ только на операции. Дам я тебе, а вдруг завтра у кого аппендицит? Ну не заставляй меня голову под топор класть, я ведь тебя люблю!

— А что есть?

— Только борный.

— Давай.

— Смотри, его больше пузырька пить нельзя, разные ослож-нения... отравиться можно.

— У меня и так жизнь отравлена. Лей полный стакан.

Костоправ поставил перед ним пузырьки.

— Лей сам, я умываю руки,— он действительно отошел к умы-вальнику и стал мыть руки, потом спохватился: — Смотри!

Матвей ахнул стакан, и сразу отпустило. Сквозь дымную за-весу перед ним качалось рыжее добродушное лицо, зудел голос:

— Действие борного спирта специфично. Он проникает сквозь заградительные системы организма быстрее пули... опасно...

Матвей грохнул кулаком по столу:

— Ну почему нам с детства талдычили, вбивали в голову: нет у нас никаких пороков? Она — наркоманка? Да ни в жизнь не поверю! С самых высоких минаретов напевали: «Все спокойно в великом Хорезме!» А тут шайки, наркотики, наводчицы... теперь вот гангстеры объявились. Ветром нанесло, что ли?

— Откуда гангстеры? — переполошился Загинайло.

— Будто я их не узнал! В униформе, сволочи! А как попал к ним в лапы — исчез, канул. И ко мне подъезжали на кривой козе: подпиши обет молчания. А нет — в деграданты запишем.

Костоправ пучил на него глаза:

— Точно, бред. Говорил: остерегись борного...

Не слушая его, Матвей побрел в каюту. Там, как всегда, си-дел Иноземцев — на стуле, но поджав под себя ноги по-восточ-ному. Глаза полузакрыты — путешествовал внутри себя.

Этот оказался еще тем фруктом. Давно занимался йогой и ве-рил в верховное существо. Доказывал, что человек может жить до пятисот лет, а в идеальных условиях и до тысячи.

— Это что, в колбе? — не понял Матвей.

— Нет, в идеальном мире без дрызг, нервотрепки, гонки за престижем, шмотками, гарнитуром...

Зайдя в каюту, Матвей стал быстро собирать портфель.

— Ты куда? — очнувшись, спросил Иноземцев.

— Будешь отвечать на эрдэ: поехал по флотилиям,— перед глазами у него все плыло, но мысль работала четко. Пора..

А его аппаратура, собранный материал? Кто выведет прохвоста Винни-Пуха с его орангутаньим болботаньем на чистую воду? Он отмахнулся: я не защитник человечества!

На корме, как всегда в это время, было безлюдно, откуда-то снизу с шипением вырывались облака пара, тяжело плескалось свинцовое море.

Как там объяснял Короткое? На транспортер можно ступить и по своей воле, нужно только пренебречь явной опасностью. Ну, ему к этому не привыкать. Закрывать глаза, сосредоточиться. Вызывать ощущение безбрежной поверхности... Серая, неразличимая, она уходит во все концы Вселенной, до самых дальних звезд!

Вот она. Теперь — к Лене.

Перешагивая через борт, прямо в облака пара, он еще успел подумать: механик оказался прав.

Транспортер сработал.

Когда он очнулся в звенящей белой тишине палаты с высоким потолком, как-то сразу инстинктивно понял: он в другом месте. Не просто в другом помещении или в другом здании, а далеко на другом конце земли. Вокруг внимательные, напряженные лица, белые халаты, висится капельница. Один со вздохом откинулся:

— Ну, парень, четверо суток... не одной — двумя ногами стоял в яме. Еле вытащили.

Нарко, понял он, прислушиваясь к разговору вокруг. Специфические, профессиональные термины. Неужели придется отбыть весь срок?

Из осторожности не стал ничего спрашивать. Все само выяснится. Нужно уметь ждать. Выдержка — вот его единственное оружие.

Обычно ему удавалось вырваться на третьи — пятые сутки, проведя с похметологом несколько дискуссий на литературные и внешнеполитические темы, и тот убеждался, что у пациента нет патологического перерождения личности, что попал он сюда, видимо, случайно, основательно перебрав (с кем не случается!), не рассчитав дозы и длительности интоксикации. Он ограничивался словесным внушением и предостережением, что это может плохо кончиться, если спиртное не ограничить или вовсе не исключить из рациона (а попробуй исключи, если все вокруг, наоборот, только и включают!), и со вздохом сожаления выписывал.

Действительно, зачем держать здесь культурного и так мучающегося человека, если то и дело поступают уже не люди, а человекообразные, одичавшие, не мывшиеся годами, забывшие половину алфавита и даже имя родной матушки, если

месяцами ждут принудления уже приговоренные судом: не хватает мест, а они ведь не просто ждут, а ежедневно накачиваются пойлом, того и гляди совершат антиобщественный поступок, а то и преступление! Этот же ведет себя тихо, скромно, санитары характеризуют положительно, клянется в рот больше не брать. Правда, все клянется, но этот ведет совсем иные речи:

— Дорогой Евгений Дмитриевич! (Опять, кажется, он?) Не нужно говорить мне разные укоризненные слова, я сам их сказал, и покрепче! Из эпикриза вы видите, что у меня сызмала предрасположенность к алкоголю,— уже десять раз мог спиться! А я держусь, противоборствую всей силой воли, всей моралью! Но он, гад, коварен,— подстерег! Вы меня вытащили, укрепили, спасибо и слава вам, всей нашей могучей медицине! Теперь я снова чувствую в себе силы бороться, творить, тяга полностью исчезла. Дайте мне сейчас сотню и отправьте по городским соблазнам, а вечером я вернусь как стеклышко. Я равнодушен к водке! Зачем я буду занимать у вас драгоценное койко-место, потреблять дефицитные препараты? У меня дел... эх! Надо впрягаться в работу, наворачивать упущенное...

Не речи, а масло по сердцу похмелолога. И, видя такое искреннее раскаяние, печаль в светлом взоре, красноречиво поникшие плечи (руки он прятал между колен, чтобы скрыть тремор, а со стороны казалось — переживает), свободное владение речью и даже специальными терминами (другие-то маму родную не помнят!), похмелолог сдавался. Ну, бог с ним, если врет, все равно сюда залетит, куда денется, все они бумерангами летают — кто выше, кто ниже.

К чести Матвея нужно сказать, что он не врал, искренне верил в то, что говорил. Каждый раз разрабатывал все новые, все более изощренные планы борьбы с зеленым змием. Только одного не было в этих планах: просто бросить пить. Как метко сказал один из похмелологов: «Вы из тех, кто хочет пить и в то же время оставаться непьющим...»

Но он и вправду боролся, изнемогал и напрягал все свои физические и моральные силы. Цель была — небывалая, фантастическая: победить змия на его же почве. Не уйти, не сдаться, а победить. Ведь должно быть у него слабое место, ахиллесова пята. У любого чудища она есть.

Когда чувствовал, что несмотря на зеленый чай с молоком по утрам, настои шиповника, зверобоя, томатный и фруктовые соки и прочее отравы все же переполняет организм, тогда начинал голодовку от трех до пяти суток. Пил только воду и чувствовал, как организм торопливо освобождается от ядов, как светлеют сны, крепнут нервы, возвращается уверенность, та самая целеустремленность, против которой так выступал Иноземцев. По утрам де-

лал сначала короткую, а потом часовую гимнастику с тяжелыми гантелями, обливался холодной водой. И когда веселый, стремительный, жизнерадостный снова появлялся среди друзей, они удивлялись:

— Да с тебя как с гуся вода! Ты что, петушиное слово знаешь?

Он мрачно предупреждал:

— Кто предложит сивухи, бью без предупреждения в зубы.

Однажды на пятые сутки голодовки его уговорили, прямо-таки затащили на чьи-то именины или какое-то другое семейное торжество: «Мы тебя по всему городу искали! Все просят, ты же душа общества! Без тебя и веселье не веселье...» — «Ну смотрите — пить не буду и есть тоже». — «Как хочешь, только поехали!»

Компания подобралась высокоинтеллектуальная, не запивохы, все чисто, пристойно — даже белоснежные скатерти и салфетки на столах. Старый граммофон с жарко полыхавшим медным раструбом, которым явно гордились хозяева — молодые ученые. Пластинки Лещенко, Шаляпина, Шульженко, Ларисы Мондрус... Полумрак, холодная закуска в виде натюрмортов, дымящаяся баранина в горшочках. Матвея принялись бурно уговаривать выпить, но хозяин вступился: «Мы договорились!» Там оказался еще один абстинент, правда, не голодал, и они вдвоем нажимали на местную минеральную воду «Ласточка», поднимая стопки с пузырящейся влагой, когда все остальные поднимали со зловеще-синевой. И здесь впервые в жизни он посмотрел на пьяную компанию как бы со стороны, проследил все стадии ее самооглушения.

Интеллектуалы пили крепко — скоро у Матвея и его коллеги по трезвости вода булькала уже в горле, а стопки все поднимались, и водка беспрепятственно проходила в пересохшие глотки (женщины пили, правда, вино) под добротную закуску. Сначала еще кое-как слушали друг друга, зажав стопки в кулаке, дожидаясь окончания очередного цветистого тоста. А потом тосты стали куцыми, да их никто и не слушал, говорили кто во что горазд, перебивая самих себя. Разговор шел какими-то обрывками, рывками, и Матвей, превыше всего ценивший связность и стройность речи, уныло созерцал перерождение еще совсем недавно милых и умных людей в каких-то портовых амбалов с багровыми физиономиями и бессмысленно выпученными глазами.

Зачем все это? К чему? Кому нужно?

А потом все как-то разом осовели от поглощенных напитков и яств, сидели, тупо глядя перед собой, кое-кто беззастенчиво икал. Правда, хозяин и хозяйка держали себя в узде — положение обязывает, ухаживали, меняли тарелки с окурками в порушенных натюрмортах («Ну почему даже культурный человек, окосев, норовит окурочить в салат воткнуть?»), подливали, заводили граммофон.

И тогда Матвей и его друг абстинент принялись веселить компанию: рассказывали анекдоты, интересные истории, подзуживали, разыгрывали интермедии, показывали фокусы (отрывание большого пальца), кукарекали, тормозили осовевших, плясали. В конце концов кто-то из гостей не выдержал:

— Слыш-те, д-да они, наверное, какую-то особую сивуху пьют! Гля, какие веселые!

И все по очереди принялись пробовать из их стопок: тьфу, обычная минералка. Как же укоренилось в сознании людей, что веселиться можно только с выпивкой. А на самом деле никакого веселья, одно утробное иканье...

При воспоминании об этом вечере у Матвея всегда появлялась горькая улыбка. Улыбка над самим собой: веселился ведь без допинга, да еще как! Казалось бы, наглядный урок, но он так ничему и не научил.

Напряжение — вот бич современного человека. На столе у Матвея всегда лежало несколько листочков бумаги, с утра заполненных: кому позвонить, что написать, что сделать, куда зайти... И эти бумажки стегали его весь день, словно бич: работай, работай! А входя в штопор, он с наслаждением рвал их в клочья: пропади оно пропадом, да здравствует беззаботность!

Правда, сладкое забытие потом неизменно переходило в черное с кошмарами, наплывающими звериными ликами, гоняющимися за тобой оскаленными пастями, гадюками, пауками, из которых вырываешься с тяжким испуганным всхрипом, словно конь из трясины, и скорее тянешься к спасительнице сивухе, чтобы хлебнуть и хоть немного прийти в себя. Но краткий проблеск быстро проходил, опять тяжелое забытие, кошмары...

Проблески становились все короче, забытие все тяжелее, и где-то подспудно-инстинктивно тлело понимание того, что неуклонно, шаг за шагом приближаешься к роковой красной черте, к самому краю пропасти без дна и возврата...

И тогда появлялось противоестественное жгучее желание: скорей бы! Однажды, не выдержав, Матвей отправился к переезду положить голову под проходящий поезд. Все понимал, но шел, словно вели под уздцы. К счастью, переезд был далеко, он устал, задыхался: «Нет, без допинга не дойду, надо вернуться...» Но допинг снова бросил его в забытие...

— Четверо суток,— повторил, качая головой, врач.— И как такое выдержать...

Ни о каких интеллектуальных разговорах теперь, конечно, и речи не могло быть. Покорно слушал Матвей краткие энергичные распоряжения лечащего похмелолога: десять суток вывод интоксикации, витамины, глюкоза, totally поддерживающие, снимающие тягу... сульфазин регулярно... («Сволочи, без серы не

обойдутся!»), потом лечение по обычной схеме: антабус, рефлектормое («И рыгачка!»). Ну и, естественно, трудотерапия.

Тело казалось ватным, в сознании все еще крутился черный вихрь, глаза не фокусировались.

— Мне бы... в туалет... — еле выдавил и не узнал своего голоса — слабый, хриплый, какой-то выпадающий.

— Лежите, лежите. Сейчас принесут утку... или еще что?

— Я... я стесняюсь... ведь культурный человек, — он начал мобилизовывать волю. Вываться, хоть на миг вываться... сорентироваться.

— Культурный, так напиваетесь, — проворчал похметолог. — Вас проведут.

Его подхватили под руки, он с трудом поднялся, и все завертелось перед глазами, в голове забухали колокола. Это не игра. Закрыв на миг глаза, пытался сгруппироваться, но ничего не получилось. Так и повели его — растрепанного, жалкого, дрожащего. Врачи внимательно наблюдали, фиксировали каждое неточное движение.

Коридор дыбился и норовил хлестнуть его в лоб, он валился то вправо, то влево. Хорошо, что вели его санитары из добровольцев-алкашей, таких же, как он, и, может быть, прошедших те же стадии. Они сочувственно поддерживали.

— Ишь, вальяет тебя, — хмыкнул один. — Где набрался? Какой день штопоришь?

— Хрен знает... Какое сегодня число?

Тот засмеялся и сказал. Наверное, суток двадцать. Пока не вспоминалось.

— Покурить... есть?

За этим и попросился в туалет. Курить хотелось нестерпимо, нервы гудели натянутыми струнами.

В туалете его усадили, дали сигарету. Затянулся, стало немного легче, хотя сильнее закружилась голова. Зато в груди распустилось что-то сведенное в каменный узел. Мордовороты-добровольцы, ожидая, тоже закурили. Один присел на пятки у стены, п Матвей машинально отметил: бывалый. Тот, кто по многу раз залетал, вырабатывал такую вот стойкую привычку: сидеть на пятках. Им приходилось подолгу ждать и перекуривать там, где стульев не предлагали.

— Ну... как тут... obsлyгa? Как порядки?

— Как везде... — неохотно ответил сидящий. — Медом по губам не мажут.

— Тебе сколько осталось?

Сидящий ответил сразу, почти автоматически. Каждый из них считал дни до выхода, как считают медяки на последнюю кружку пива. У него было непреходяще багровое лицо, мешки под глаза-

ми поперек щеки синий шрам. Руки блестели, словно на них надеты коричневые резиновые перчатки, смазанные вазелином, такой же была и шея, кое-где блестящая пленка отшелушилась и виднелась розовая кожа. «Экзема, гепатит. Печень отказывает. На таран идет мужик — цирроз в последней стадии...»

Второй — широкоплечий молодой парень с румяным лицом — так и просился на плакат «Сдадим нормы ГТО!», если бы не младенческий беззаботный взгляд, даже какой-то неприличный. Он не сводил своих безоблачных голубых глаз с Матвея и все ему заговорщицки подмигивал. «Что-то хочет сообщить? А что? Может, напарник-стукач?» Но не стал задумываться, слишком сложно. Стукач так стукач.

Среди алкашей, слабовольных опустившихся людей, было много таких. Они доброхотно доносили врачам о тайных выпивках в палатах, о разных случаях нарушения режима, иудиним старанием заслуживая досрочно освобождение. Врачи их терпели — полезные люди, активисты, стали на путь сознания, исправления. Но в большинстве своем они просто мечтали поскорее дорваться до заветного горла, а ради него готовы были и маму родную положить.

Матвей встал, но тут же упал на стульчак. Тем же макаром его отвели в палату. Врачи уже ушли по своим неотложным делам, напряженность момента миновала.

Организм быстро приходил в себя, и к вечеру Матвей уже сзы выползал в туалет, стрелял сигаретки, курил, заводил осторожные разговоры. Но по некоторым неуловимым признакам чувствовал, что до выздоровления еще далеко, ни на какое серьезное дело не годился. Да что там — ему и табуретки сейчас не перенести с места на место. Все еще шагало, все кидало на стены.

Ночь почти не спал, хотя и получил оглушающую дозу снотворного: засыпал на минуту-две, тут же со страхом просыпался — казалось, останавливается сердце. «Стукнет вот так в последний раз... отгорит. Нет, тут помирать не хочется...»

Выход из штопора в нарко имел свои положительные стороны: ее мучили кошмары, ужасы, все эти очаги напряженности в мозгу снимались, купировались специальными препаратами. Но на смелую зубастым чудовищам приходили подавленность, мрачные мысли о бесполезности своей жизни, жгучее чувство вины перед всем миром, черная тревога. И все это, возможно, было не легче.

Хорошо, что в наблюдательной палате всю ночь горит свет, У столика сидит дежурный мордоворот, читает затрепанную книжку. Время от времени появлялась медсестра, глядела внимательно на Матвея (свежевытащенный) и, встретив его тоскливый взгляд, Укоризненно качала головой:

— Вам нужно уснуть...

— Как уснешь? — Матвей сядил на постели. — Тревога... все время тревожно на душе.

— Кого-нибудь видите? — осторожно спрашивала она. Дурень он, что ли: все фиксируется в журнале.

— Нет, не галлюцинации. И не голоса. Просто тревожно... дайте что-нибудь сердечное.

— Возьмите валидол под язык, — она протягивала таблетку. Что ж, валидол самое надежное, хотя и простое средство. На некоторое время колющая боль в сердце проходила, он шел в туалет, курил, думал.

Ну как же так?

Начиналось вроде безмятежно — с кружки пива. Там кружку,, там кружку, чем еще утолишь жажду в зной и жару? В работе появилось больше энергии, выдумки, мастерства. Несколько беглых контактов в ресторане — там приходилось пить легкое вино («что-то от сиводрала у меня в последнее время голова раскалывается, никакого удовольствия...» — хитрил), потом вино крепленое. Но неуклонно шел к ней — чистой, сорокаградусной. И надо же такому случиться: приехал знакомый армянин Жора и подарил бутылку трехзвездного.

— Из Еревана! Вах! Такого нигде не купишь. Пачему грузинский коньяк стоит в магазине? Патаму что не умеют делать? Коньяк делают в Армении! Плюнь в глаза тому, кто скажет другое.

Сивушные масла, вот что его подкосило. И знал ведь... Коньяк тем и отличается от других напитков, что в нем оставляют сивушные масла — для букета. Пьешь крохотной рюмочкой, смакуешь: вах, вах! Но где найдешь крохотные рюмочки? Разлил, как обычно, по стаканам. Трах! Тепло разлилось, оранжевые круги перед глазами.

— Ты чего здесь?

— Дорогу строю. Вчера в Литвяках поставил асфальтовый завод.

— А-а,— кивнул Матвей. — Что такое асфальтовый завод? Две трубы и один армянин.

Жора хлопнул себя по коленкам.

— Ха-ха-ха! Две трубы и один армянин. Правильно! Надо записать... А что такое ваш завод? Две трубы, один рабочий и десять начальников! А? Разве не так?

Жора был веселый, добродушный, но вечно озабоченный — летал на своих «Жигулях», что-то добывал, привозил, строил. Его бригада проложила сеть дорог уже в нескольких районах. Нужно отдать им должное: армяне строили быстро, добротнo, дешево. Но и работали как проклятые — от зари до зари.

— Вы как рабы,— сказал Матвей. — Рабы денег.

— Мы зарабатываем, да! Тысячи зарабатываем! Но мы не крадем, мы своими руками, вот этими,— он вытягивал черные от асфальта руки в мозолях.— А говорят — жулики. Плохие люди говорят, сами жулики.

— Но взятки даете?

— Не даем, у нас из горла вырывают! Кто свои деньги отдаст? Приходится: куда ни ткнешься — давай взятку!

Он разволновался, сбегал к «Жигулям» и приволок еще две бутылки. Так они уломали все за один присест. На следующий день, проснувшись, Матвей еле оторвал голову от подушки и понял: взят жестоко. Голова будто заколочена в тесный деревянный ящик, виски стягивает. "Знакомо. Коньяк всегда так ошарашивает...". Пришлось с утра плестись в пивной бар. А там как раз накануне кончилось пиво и еще не подвезли. Но возле бара стояли группы страждущих — видно с первого взгляда. Подошел.

— Кто сбегает?

Гастроном был рядом, но до одиннадцати еще далеко, дают не всякому. Головы повернулись как по команде.

— Матвей! — молодой, но уже лысый, сгорбленный, похожий на параграф парень раскинул руки.— Здорово! Ты откуда?

— Вот ты откуда? Тебя же из нарко за два побега прямо в элтэпэ наладили.

— Был, был! Полгода кукарекал, недавно вернулся.

— Ну как там?

— Житуха — во! — Параграф показал большой палец.— Столяриль в одной мастерской. И там жить можно.

— А сиводрал?

— С этим плохо. Ну ладно, потом поговорим. У тебя есть?

Матвей достал десятку. Оставался еще четвертной.

—Давай!

Параграф (Матвей напрочь забыл, как его зовут) выхватил деньги и деловито потрусил в магазин. Вернулся быстро, со стороны поглядеть — безрезультатно, ничего не оттопыривалось, не вздувалось. На нем были надеты белые брюки, правда уже замызганные, и коротенькая кремовая курточка — пачки сигарет не спрячешь. Но по озабоченному виду сразу стало видно — взял. «Бомба» оказалась за поясом, прикрытая курточкой.

— Пошли... — трое без слов потянулись за ним. Параграф на ходу отдал сдачу — алкаши в предвидении дармовой выпивки, как правило, люди аккуратные. По пути сорвали по паре вишенок с веток, густо усыпанных ягодами,— на закуску.

В уютной рощице неподалеку расположились. Параграф сноровисто сдернул ногтями пластмассовую пробку (трезвенники с превеликим трудом снимают ее плоскогубцами), достал из-за пня стакан и протянул Матвею.

Отпустило. Заели вишнями, закурили, попомогли о жизни.
— Я ведь только из трезвария,— сказал один.— Вечером взяли как раз после получки — только квакнул, белый свет увидел... Я бушевать, а они меня — на ласточку.

— Какую ласточку? — Матвей в вытрезвитель не попадал — везло, да и остерегался: во время штопора не шатался по улицам, а если приходилось идти в магазин, то надевал темные очки, брал портфель и деловым шагом проходил дистанцию — посмотришь, клерк спешит на работу, кому какое дело?

— Подвесили за руки и ноги врастяжку — мол, успокойся. Утром, правда, выпустили. Раздобрились, потому как деньги были. Говорят: коль расплатился, сознательный, на работу сообщать не станем, у нас мало кто платит, шантрапа, неплатежеспособная публика. На службу сообщил: вывихнул ногу. Надо ведь поправиться...

— А если проверят? Нога-то здорова.

— Вечером вывихну,— сказал парень спокойно.— Поднаберусь...

«Велика ты, сила народная»,— подумал Матвей и отдал смятые трешки:

— Сбегай еще.

Параграф рысцей побежал к гастроному.

И это тоже знал Матвей: бормотуха коварна. Пьется легко, чувствуешь себя нормально, радостно, а потом — как обухом по голове. Поэтому после третьего «гуся» (скоротали время до одиннадцати) запаса еще пойлом и поспешил домой, на дороге вырубаться не хотелось. Только ступил на порог — провал. Очнулся вечером. Что такое? Глянул в зеркало: паспорт в крови, сам разбит. Видать, с порога так столбом и рухнул. Такое с ним уже бывало. Кое-как умылся, дрожащими руками открыл портфель, там поблескивали темные бутылки. Ага, до завтра хватит. Откупорил, выпил, стал немного соображать. «Придется спускаться на тормозах, работать дома и общаться по телефону».

Два дня спускал на тормозах, но виражи становились все круче — на бормотухе никак не спустишь, она все время заносит в сторону, коварный напиток, слишком много гнилья намешано.

Пришлось попудрить ссадины, подмазать кремом, надеть черные очки (хорошо, что синяки под глазами очки закрыли) и отправиться наконец за белой, сорокаградусной родимой матушкой. С нею сразу стало легче, организм тут же переключил обмен веществ на чистый алкоголь. Время от времени разжижал алкоголь* в артериях пивом — брал по трехлитровой банке и пытался выйти из штопора на пиве.

Такое ему раньше удавалось. Но для этого нужно запастись большим количеством пива. Ему повезло — как раз в магазинчик

напротив привезли бутылочное «Жигулевское». Он взял, не посмотрев на число, ящик (пересыпал в рюкзак), но как только хлебнул дома стакан, понял: и тут прокол. Пиво было старое, перебродившее, даже числа не разглядеть — чернильное пятно расплылось на косой бумажной выцветшей наклейке.

Пиво все-таки до капли высосал, так что утром снова пришлось плестись на пяточок перед пивбаром. Он пошарил в карманах — одна мелочь. «Ничего, бог алкаша хранит». На пяточке опять встретил Параграфа в окружении тех же опухших морд — как будто и не уходил с того дня, вертелся, улыбался, сыпал шуточками, только брюки еще больше замызгались и уже совсем не выглядели белыми.

«Железные люди! — с каким-то мистическим удивлением подумал Матвей. — А ведь он в эти дни тоже не просыхал... Его в бак с пойлом запусти — не только выживет, но и потомством обзаведется».

— У меня пусто, — сказал он Параграфу, — Но надо.

Параграф вытащил смятый дежурный рубль и мелочь.

— Понимаешь, тут всего-то не хватает...

Матвеева мелочь пригодилась — там вдруг наскреблось несколько рублей. Опять вишни, знакомая рощица, знакомый захватанный стакан. Но стало легче.

— Теперь можно ориентироваться. Надо добыть копеек.

На занятые деньги он допился до того, что пытался выбраться с балкона, но случившаяся внизу соседка закричала, спугнула... Дальше мрак, он до сих пор не знал, упал он с балкона или нет. Судя по кровоподтекам на всем теле, ужасающему синяку поперек ребер, разбитой морде — выбросился. Но если выбросился, то почему жив остался? Ведь пятый этаж.

— Где я? — спросил осторожно в туалете. — Это Север?

Кто-то загоготал.

— Можно сказать, что и так. Хотя скорее это Юг.

По виду из окна было трудно что-либо определить: бетонный забор, все занесено снегом, голые деревья. «Деревья! Значит не Север — там деревьев почти нет... А ведь мы срывали вишни... Должно быть лето. Почему зима? А может, это было в другой раз?»

Ему нужно срочно установить, где он, в какой точке пространства и времени находится, чтобы не произошел в сознании оборот хаоса, утвердиться хотя бы в малом. Но сделать это осторожно — заподозрят, что в такой стадии, примут радикальные меры, продлят срок, изменят курс лечения или вообще запретят к идиотам. «Без срока давности...» Вот почему он разговаривал, пытался, хотя ни разговаривать, ни пытаться не хотелось — Депрессия. Наконец по оброненным названиям сел, идиомам, оборотам речи удалось кое-что понять — напряжение спало, мозаич-

ные обрывки воспоминаний стали складываться в какую-то стройную картину. Он уяснил.

Поездка в Киев была деловая и закончилась глубоким штопором. В гостинице Матвей подарил дорогую нерпичью шляпу юркому парикмахеру Рудику, которому она приглянулась, И ВЫШЕЛ под косо идущий снег простоволосый — все было нипочем. Еле доехал до автовокзала, стал в раздумье — пугали оружие, тесные, душные очереди, еще вырубись в костюмке. К нему подскочили два шустрячка.

— Куда ехать?

— Далеко, в Сумскую область.

— Давай деньги, возьмем билет.

Матвей отдал последние рубли. Шустрячки не обдурили, принесли тотчас билет, взяв комиссионные. Заметив его состояние» вдруг предложили:

— Хочешь довезем? Машина вон стоит.

— Сколько шкур сдерете?

— Сотню.

— Ну, поехали. Только деньги дома.

Шустрячки заехали домой, заправились, взяли с собой какого-то вонючего пойла — самогон, что ли? — и, посоветовавшись, сказали:

— Сотняги-то маловато. Дорога дальняя, снегопад...

— Что, овес дорог? И сколько же?

— Полторы.

— Ну вы... Ладно, поехали.

Ехали долго, снег падал все гуще, по пути останавливались, угощали Матвея пойлом, от которого он несколько раз вырубался (подмешано?), а остановившись на полдороге, заявили:

— Нет, ехать трудно. Меньше чем за двести не повезем.

— Да вы люди? Что же я теперь, по полю пойду?

— Как хочешь.

Видимо, Матвей показался им бобром, которого стоило ободрать. Но он согласился: что поделаешь, шустрячки за горло взяли. Чувствовал — у них иная мораль, иные мерки. Уже потом, анализируя происшедшее, понял, что если бы деньги оказались при нем, то нашли бы его только весной, точнее, не его, а хладные останки под снегом. Оказывается, пока он вырубался, шустрячки тщательно обшарили все карманы, портфель, забрали документы, электробритву, рубашки, часы — все, что представляло какую-то ценность.

Доехали, зашли в квартиру. Матвей отдал им две сотни, хот» и было велико искушение сделать козью морду и показать кукиш с маком, как он поступил с одним чересчур наглым шоферишкой. Но тот катался на государственной машине да и ехал попутно,

а эти все же потратили целый день, везли его, вели под руки, опять же овес, то бишь бензин... Его остановило чувство справедливости. Подзалетел, но сам виноват.

Мало,— заявил один, пересчитывая деньги.— Надо бы двести пятьдесят.

От своего слова не отступаю,— пошатнулся Матвей.— Но и вы держите...

— На, возьми паспорт,— один положил на стол документы, командировочные. Подстраховались, сволочи. А военный билет с собой увезли — видимо, боялись осложнений в самый последний момент. Выслали его потом почтой, без всяких комментариев. «Вот как стригут собачек, когда они шибко лохматые». Он долго смотрел на закрывшуюся дверь. Как таких носит земля?

Теперь можно было начинать отсчет, на что-то опираться. Он порадовался, что оказался в такое время и в таком заведении — закрытом. Он не любил открытых нарко в городе, и особенно в хорошую летнюю погоду, когда под ярким солнцем идут за окнами веселые жизнерадостные люди, а ты, как последний оборот, прозябаешь тут, живешь какими-то пошлейшими мелкими заботами: занять очередь у раздаточного окна, захватить чистую миску и ложку, стрельнуть сигарету, покурить, чтобы не застучали. Тьфу!

Насколько говорливы и веселы алкаши на воле со стаканом или кружкой в руке, настолько необщительны и угрюмы здесь, в нарко. Словно вольные птицы, которым вдруг подрезали крылья. Три или шесть месяцев — срок немалый, чтобы подумать на трезвую голову и, может быть, переоценить свою жизнь, подернутую до этого пьяным туманом. Одни действительно думают и переживают, искренне дают зарок больше не глядеть на проклятую, хотя редко кто выдерживает потом этот зарок; другие молча бешутся, что их оторвали от заветного горла,— эти психуют по малейшему поводу, затевают базарные склоки из-за стула, куска хлеба, тарелки, ложки, хорошо что вилок тут не дают, а то бы так и прыгнул в соседа. И все они, как правило, молча бродят по коридору, погруженные в мрачные думы, только слышится шарканье ног, руки заложены назад, лбы изборождены многдумными морщинами — ни дать ни взять кулуары какой-то высокой ассамблеи во время перерыва, если бы не надписи на одежде, вытравленные хлоркой: «нарко». Валяются на койках, глядя в потолок, или курят в туалете, надсаживая душу короткими затяжками и оставляя окурки по углам, на умывальнике, на подоконнике, чтобы Докурить потом,— другой алкаш такой окурочек не возьмет, разве что ничего не соображающий «кальсонник» из наблюдательной.

Особенно тяжек первый период — пять-шесть дней в наблюдательной. Тут все облачены в белые солдатские кальсоны и та-

кие же рубашки, хоть сейчас выводи и снимай в фильме о гражданской войне сцену «Расстрел пленных красноармейцев». Свет горит и днем и ночью, слышны глухие стоны и хрипы, жуткий храп, кто-то бесконечно балабонит, кто-то обирает с себя пауков,, тараканов, хлещет полотенцем по крысам, вскакивающим на койку, кто-то сидит, глядя перед собой остановившимся взглядом, кто-то куда-то порывается. Даже после выхода из бессознательного состояния и усиленного питания витаминами и прочей химией «белочка» может хватить на третий или четвертый день.

Смирно лежавший вот уже трое суток рядом с Матвеем сосед с почерневшим от водки лицом вдруг выхватил из-под одеяла напильник (и где-то же присмотрел, спрятав в кальсонах) и с криком «Поезд идет!» вонзил себе в горло. Очевидно, не выдержал зрелища накатывавшего на него поезда. Брызнула кровь, прибежали, вырвали напильник, еле скрутили вчетвером — худой, а мордovorотами мотал, словно куклами: «белочка» сил прибавляет. Через несколько минут фельдшер уже накладывал повязку на промытое окровавленное горло (напильник тупой, только кожу содрал), материл дежурного мордovorота, который недоглядел, а крепко связанный алкаш дергал ногами, закатив глаза.

Вообще в наблюдательной палате и здоровый человек с крепкими нервами не соскучился бы, а тот, у кого вместо нервов — раскаленная проволока и, кажется, с живого содрана кожа, чувствует себя как в земном аду: бесконечная, невообразимая пытка изнутри и снаружи.

С другой стороны рядом с Матвеем лежал деградант, как тут называли деградировавших, — старик с опухшим лицом, покрытым серой щетиной, и с одной рукой — другую по пьянке отморозил, обычное дело среди алкашей: кто безрукий, кто безногий. Его все называли дедом, и Матвей безмерно удивился, узнав позже, что этот дед его ровесник. Он жил где-то около вокзала, покинутый всеми, в халупе, ободранной и пустой, и все время отирался на станции, подбирая бутылки, сшибая пяточки и допивая из стаканов в буфете. Его все знали и уже не забирали ни в вытрезвитель, ни в нарко. Он сам приходил, когда наступала зима, и просился на лечение, потому что зимой боялся замерзнуть — топить нечем. Каждую зиму вот так приходил, чтобы перекантоваться холодный сезон. Его принимали из жалости, назначали курс лечения, который он исправно проходил, работая где-то подметалой, а выйдя на волю с первыми ласточками, тут же устремлялся в родной буфет.

— Смотрите, — сказал Матвею похметолог, — внимательно смотрите! Это ваше будущее.

Но смотрел в основном дед. Когда бы ни повернулся к нему Матвей, он встречал тупой пристальный взгляд бессмысленно вы-

пученных слезящихся глаз из-под надвинутого на голову одеяла. Гипнотерапия!

Ближе к выходу лежал здоровый мужик, водитель «скорой помощи» Саша. Когда его привезли, он кричал, что не останется здесь, перережет себе вены, выбросится из окна и тому подобную чушь, которую тут не раз слышали. В ответ на угрозы его аккуратно привязали, и он сучил ногами и руками до тех пор, пока не содрал себе кожу до живого мяса. Пальцы на одной ноге у него были обмотаны грязным бинтом, сквозь него проступала кровь. Всю ночь он плакал и просил сбить велосипедиста, который катался по карнизу и показывал ему язык. К утру затих в тяжелом оглушающем забытии. Очнувшись, он уже весело попросил его развязать, пообещал не буянить, разговаривал связно, толково. Его повели в туалет два мордоворота, но по пути он сшиб их, вырвался из нарко и босиком помчался по сугробам к автобусной остановке. Но куда убежишь в кальсонах? Снова водворили на первую койку.

Пришел он в себя аж на третий день. Уныло наблюдал, как перевязывают его многочисленные раны, приговаривая: «Ай-ай-ай! Что я наделал?» Для него наступил «период зализывания ран». В курилке он поведал о том, что после двух поллитр на спор сорвал с большого пальца плоскогубцами ноготь — с корнем, с мясом (и таких людей когда-то пытались испугать иголочками под ногти!), выиграл еще две поллитры, их тут же прикончили, а дальше ничего не помнит. Жизнь у него тоже шла полосами — в светлую он был самым искусным шофером в городе, водил «скорую» как виртуоз, потому и держали, а в черную его отстраняли от руля и он начинал куролесить.

Был еще один, с отморозенными ногами,— этого выволокли прямо из сугроба, где он безмятежно замерзал. Ноги почернели и распухли, не лезли ни в одни тапочки, вот-вот должна была начаться гангрена, а он еще из «белочки» не мог выползти, время от времени кукарекал и хлопал руками, воображая себя бравым петухом.

— У этого песенка спета,— сказал врач.— Ноги он уже потерял. а если не возьмется за ум, то и голову потеряет.

Пять суток! Храп, стоны, вскрикивания, кулдыканье, свет в глаза, стойкий запах мочи. И уколы — в левую руку, в правую, в вену, в одну ягодицу, в другую. Разноцветные таблетки горстями (а что в тех таблетках?), стаканчики с успокоительным — микстурой Павлова, от которой его выворачивало наизнанку.

Напоследок вкатили серу. «У, гады! — сквозь зубы шипел Матвей, поддергивая кальсоны,— Не забыли. Поведет теперь, только держись на выражах... »

Вообще, сульфазин, или сернокислая магнезия,— желтоватая

маслянистая жидкость рекомендуется врачами как весьма полезное средство: очищает якобы организм от всех видов интоксикации, и в больших городах шустрячки, берегущие свое здоровье, покупают серу по червонцу за кубик, чтобы периодически очищать свой организм от накопившихся шлаков и прочей гадости, — на голодовку у них духу не хватает, жратва милей здоровья. Считается даже, что сера омолаживает. Здоровый человек переносит ее легко: ночью небольшое недомогание, на следующий день побаливает место укола, апатия, поскольку есть небольшое побочное действие — подавляет волю. Но для алкоголика, организм которого переполнен сивухой, сера — это кара божья, расплавленная смола из адава котла. Ночью его то морозит от пронизывающего холода, то жжет пламенем или одновременно и морозит и жжет, корежит, вытягивает жилы и поджилки, ухаает по голове. В организме разворачивается грандиозная битва между белыми и черными, гудят тигли дьявольской лаборатории, шипят форсунки. Пьешь, пьешь и пьешь, чтобы залить бушующий внутри огонь, и тут же бежишь — процесс идет по конвейеру, накопившаяся гадость требует выхода.

Но бежишь — не то слово. Получивший серу может только ползать, хоть и на двух ногах, словно разбитый параличом кузнецик. Нogu тянет и стреляет в пятку, при каждом шаге подступает тошнота. А едва совершив тяжкий вояж, со стонами и зубовным скрежетом укладываешься на койку, стараясь не коснуться места укола — там пульсирующая боль, словно готовый лопнуть нарыв, как чувствуешь, что снова нужно бежать. И так всю ночь.

На следующий день абсолютная апатия и безразличие, полное отсутствие воли, стремлений, желаний. Закричи сейчас: «Пожар!» — и получивший серу алкаш даже не пошевелится.

И это после двух-трех кубиков! Но его получали не по два, а по четыре, шесть, восемь! Четыре кубика — по два под каждую лопатку — называлось «планер», если в обе ягодицы — «ракета», =если по два в ягодицы и под лопатки — «вертолет». После «вертолета» алкаш лежал пластом и даже не мог повернуть головы на звук (проблемы туалета для него уже не существовало). Подниматься он начинал только на третий день и ходил, оберегая свой «тыл», — дотронуться нельзя.

Правда, «планеры», «ракеты» и «вертолеты» получали не все, а только те, кто нарушил режим и втихаря где-то насосался. Это было одновременно и лечением, и наказанием. Двумя кубиками наказывали за провинности помельче: курил в неположенном месте, не убрал за собой, пререкался. «Ванцаксон, куда бросил окурок? Запишите ему серу два кубика!» — «Это не я, это Кирченко!» — «Еще два кубика!» — «Да за что, вы разберитесь... » ч<Еще два!» — «Понял, больше не буду».

В разных нарко были свои курсы лечения, своя методика и рецептура и даже свои, доморощенные, снадобья. В одном дурдоме заведующий нарко разработал свой очищающий препарат и с успехом пользовал им алкашей, хотя нигде он не был утвержден и не проверялся. Но кого это интересует? А сера — король снадобий — неизменно практиковалась во всех нарко, даже милейшей львовской заведующей Галиной Ивановной, хотя к алкашам она относилась гуманно и пыталась видеть в них людей. Были тут и свои рекордсмены. В одном нарко Матвей встретил мученика, хромого шофера Дубака, который переломал ноги в автомобильной аварии — спьяну таранил трактор Т-150. Он получил за месяц в общей сложности сто шестьдесят четыре куба! Несколько раз убегал домой и напивался, отводил душу, а потом покорно принимал терновый венец. Матвей просветил его насчет серы.

— По червонцу за кубик? — не поверил тот. — Да ведь мне на тысячу шестьсот рубликов вкатили. Эх, лучше бы деньгами...

— По всем расчетам, ты должен настолько омолодиться, что уже выглядел бы младенцем. А у тебя по-прежнему морда как печеное яблоко.

— Брехня! Какое омоложение? Сера у меня полжизни отняла.

— Но как ты перенес?

Рекордсмен оглянулся по сторонам и хитро подмигнул:

— А она уже на меня не действует. Они колют, а мне хоть быхны. Поначалу, правда, крутило, а потом как с гуся вода. А я стою, волочу ногу — после серы освобождают от работы, лафа!

И еще раз подивился Матвей великой силе приспособительного механизма у человека — вот ведь, и к сере притерпелся... А у Матвея при одном воспоминании о ней сводило скулы.

Наконец солдатское исподнее ему сменили на голубую пижаму и назначили «полусвободный режим». После серы во всем теле чувствовалась легкость и какое-то просветление. «Верующие гадают: каково в чистилище? А я точно знаю: там серу дают. Смотри-ка, не зря от чертей в сказках разит серой. Что-то в этом есть...»

«Полусвободные» жили в другой палате, поспокойнее. Тут уже никто не балаболит и не ловил пауков, хотя кое-кто и страдал бессонницей. Пересчитав всех наличных по списку, дежурные гасили на ночь свет, и тогда начинались долгие разговоры о выпивках, «подвигах», коварных женах, подлых мильтонах, опостылевшей общественности, активистах-подхалимах, дуболомах-начальниках. Никто не винил себя — только обстановку, окружающих, судьбу-злодейку.

— ...тоненькая, красивая, скромная, ну я и влюбился,— бухтел в углу хриловатый голос.— А через месяц свадьба. Кто же знал? Лентяйка, неряха, сразу же села мне на шею и ножки све-

сила. Я бьюсь, бьюсь, как головой об стенку, все надеюсь: вот-вот. А она и ухом не ведет. Нагло обманули меня, как жулики на базаре: вроде лошадь продали, а привел домой — чучело на копытах. Я перевоспитывать — она в крик. Разве таких перевоспитывают? Ну и домой по вечерам не тянуло... А куда?

— В клуб, театр, на концерт,— подавал кто-то ехидную реплику.

— В гробу я их видел! — взвился голос.— Приезжал как-то один театр, профсоюз билеты всучил. Ну и пошел я. Наломал горб на работе возле станка, потом на собрании чумед, думаю: развлекусь в театре, актрисы ля-ля-ля, ножки голые. А там на сцене опять производственное собрание, морока про шпинделя и гайки, все в брезентовых робах, одно видно: не работяги, морды ухоженные, робы художественно поляпанные, сигаретки двумя пальчиками берут. Ну, я и смылся с первого действия в буфет — а там уже толпа наших. Телевизор включишь: шахта какая-то выдала на-гора миллион тонн угля. Да мне-то какая забота? Стал зашибать, поволокли меня на пьяную комиссию, дудят: или добровольно лечись, или мы тебя полечим. Ну, я и пошел... добровольно.

— И вот что странно,— начинает кто-то из противоположного угла,— гипертоники, язвенники, геморройщики — все прямо почетные академики наук, им и курорты, и санатории, и сочувствие. Ходит крючком — ох, у меня радикулит. А ведь он, подлец, па рыбалку ездил в свое удовольствие, там и просквозился. Но никто его не укоряет. А скажут: алкаш — и ну его травить, улюлюлю! Тут нам доказывали, что алкоголизм та же болезнь, Значит, я больной? Говорят: больной-то больной, но в болезни сам виноват. А разве не виноваты те, у кого геморрой? Ожирение? Ему врач предписывает: этого нельзя, того нельзя, побольше двигайтесь, придерживайтесь режима. Он плевать хотел на режим, жрет себе копченую севрюжку, попивает коньячок. И никто ему серу не вкатит, не погонит в горячий цех, на разгрузку гнилой картошки из вагонов, где жирок сразу слетел бы. А ведь все, все в своих болезнях сами виноваты, так же, как и мы. Почему такая несправедливость, даже больные делятся на черных и белых?

— А с другой стороны,— вступает визгливо в дискуссию еще один,— мы ведь не запрещенное что-то потребляем, скажем гашиш, анашу, другую нелегальную гадость. Вот она, родимая, во всех магазинах блестит! Молока, мяса нет, а она есть! Тот же продукт. И за потребление нашего отечественного, самого широкого продукта нас же и по заправку!

— Пей в меру.

— Как ее в меру пить, коли кругом немереное количество — реки, моря, океаны? В какую меру?

— У меня одна мера — килограмм,— отвечает кто-то.— Как

потребил килограмм, так домой идти можно. Жене говорю: по пороге пива хлебнул. А она и верит, ведь не шатаюсь. Перед соседями хвалится: мой-то пьет в меру.

— Как же сюда попал?

По случайности. Жена с детишками укатила к теплым морям, меня одного оставила. Ну я и обрадовался, меру превысил. Только не помню, на сколько. Живу на пятом этаже...

Что, доползти не смог?

— Какое доползти! Утром спуститься не смог! Щупаю, щупаю ногой ступеньку, а она из-под ноги выскакивает. Я и покатился... Правда, счастливо, одними ушибами отделался. Да ушибы такие, что сразу больничный выдали.

— А запах? Неужто в поликлинике не усекали?

— Меня кум научил. Есть такая болотная травка: пожеешь корешок — и напрочь отшибает. Мы с кумом хлебнули по полному стакану, а потом он дал корешок пожевать — иди, дело проверенное. Пошел я. Посмотрели мои ушибы, покачали головами. Но врач задумывается. «Вы, кажется, пьяны!» — «Да что вы! — мекаю. — Это у меня от боли в глазах мутится». Он носом водит, а ничего не слышно. «Д-да, ушибы серьезные...» — пробормотал в больничный выписал. Три дня гулял. Иду продлять, а дорога пляшет и как раз мимо кума. Зашел, хлопнул стаканчик, пожевал корешок. Врач снова засомневался: «Кажется, вы опять пьяны!» Санитарка подставила стакан, надышал я в него, понюхали: нет, запаха никакого. Продлили. Тут бы мне и съежиться, притормозить, а я обнаглел. В третий раз мимо кума пошел, тут врач не выдержал: «Все-таки вы пьяны! Глаза мутные!» «А жизнь у меня какая? — убеждаю. — С чего им светлеть?» Нюхал-нюхал он стакан, потом распорядился анализ крови взять. Тут я и струхнул, к дверям рванул, а за дверями дед на костылях стоял, сшиб я его, и покатались оба. Оттуда меня и отправили... больничный перекрестили.

— А дед?

— Дед выжил, что ему делается? Из-за него, гада, меня повязали. А чего на костылях в поликлинику поперся? Сидел бы на печи, врача дожидался...

Крысы мы,— вдруг сказал молчавший до сих пор алкаш Нивуха. Он говорил о себе: «Ну как с такой фамилией и не алкаш?» Когда его привезли и в нарко еще не привыкли к его звуковой фамилии, алкаши все так и вздрагивали радостно, если санитарки выкликали его на укол.— Загнали нас глубоко в подполье, дают охнуть. Дед мой пил, и прадед пил, а такого не припомнят — Травят, уничтожают без жалости... Но мы, крысы, живучи, ас никакой яд, никакая отравка не берет. И не возьмет... выжи-

Повествовали о тех, кто бросил пить.

— Мой сосед мастером на авторемзаводе работал, Ульев его фамилия. Пил до того, что средь бела дня у него колеса по двору сами бегали. Пропил все с себя. Рабочие пожалели, мастер не зверь, плохие разве пьют? Собрали денег на лечение — езжай. Он и эти деньги просадил. А потом за голову схватился. Видать, так на него подействовало, что бросил. Вот уже двадцать лет в рот не берет. Жалуется: друзей растерял, только на работе и живет,

— Шурин Кононюк инспектором работал. Утром едет в село на мотоцикле инспектировать, а обратно после обеда волокут на телеге и мотоцикл и его, оба выключены. Билась-билась жена, повезла на лечение. При себе держит, ни на шаг не отпускает, даже до туалета провожала. А он заскочит в туалет, отлепит от ноги мерзавчик — заранее пластырем три-четыре штуки к ноге под штаниной прилеплял — и дербалызнет. Она дивится: что такое, еще до места не доехали, а он готов. Так с полдороги и возвращались. Потом сам бросил: подкатило. Теперь ни поговорить с ним, ни выпить.

— Дядька мой тоже зарок дал, двадцать два года не пьет. Но иногда накатывает, злой становится, вот-вот все порушит. Он уже эти моменты знает, говорит: поставили бы передо мной сейчас ведро сивухи, не отрываясь осушил бы, как конь. Берет тогда полотенце, намочит в водке, разденется и весь водкой-то и оботрется. И как рукой снимает!

— Видать, через кожу свою толику все-таки получает, — поучительно басил кто-то.

— Шофер наш Синяков, здоровый бугай, зараз по две «бомбы» высасывал, и хоть бы в одном глазу. А потом как вдарило — руки-ноги отнялись, паралич. Лежит и только «ма-ма-ма»... Через неделю отпустило, а ноги по-прежнему не работают. Повезли на консилиум. Ну, там песня известная: от сивухи все и от табака. Еще через неделю и ноги возвратило, стал двигаться помаленьку. С перепугу и пить, и курить бросил. Вот уже семь лет... снова баранку крутит. Говорит: водка долго снилась, года два при виде ее слюной исходил. Но теперь ничего, копошится. Улыбаться, правда, перестал — никогда не видел, чтобы улыбался...

— Пугнуло его и, наверное, всерьез.

— Да, нашего брата надо пугнуть, тогда образумится.

Долго не затихали ночные разговоры. А потом короткое забытие и — «Подъем!» Режим был организован как-то глупо: поднимали в шесть утра, а завтрак приносили аж в полдевятого. Туалет, умывание, заправка коек, уборка палат — от силы час. Потом медсестра выдавала утренние порции химии — еще минут пятнадцать. Ну а остальное время шатались по коридору, курили в подъезде, мрачно молчали. Кое-кто не выдерживал, доставал из

холодильников свои запасы в мешочках, подкреплялся в столовой перед завтраком. А таким, как Матвей, которых чуть не голышом доставили сюда, что делать? У него даже бритвы и мыла не было. Утром, когда уже появилось желание привести себя в порядок, прошла водобоязнь (один из этапов возвращения к жизни), он попросил алкаша поинтеллигентнее:

— Друг, одолжи бритву.

Тот замычал, доставая коробку:

— Вообще-то я свою бритву никому не даю, это негигиенично. В первый и последний раз.

Матвей швырнул коробку ему на койку.

— А валяться в лужах, в собственной блевотине, пить в подворотнях из одного горла или стакана — это, считаешь, гигиенично?

Вокруг одобрительно загоготали. Интеллигент побагровел:

— Я не валялся в лужах!

— Да? А как ты сюда попал? Из ванны тебя вытащили? Ну ничего, еще наваляешься... Гигиенист!

Бритву ему дал шофер Саша с оторванным ногтем. Матвей выскоблил щеки, умылся, причесался и почувствовал, что становится на рельсы. Подошел к старосте Мише, который ковылял на костылях (где-то вывихнул ногу, Матвей сильно подозревал, что по рецепту того безымянного парня, закусывавшего вишенками) и потому на работу не ходил, гужевался в палате, следил за порядком.

— Кто этот гигиенист?

— Этот? — Миша посмотрел. — Подонок. Вконец измордовал жену и детей. На работе — примерный исполнитель, а вечером напивался, приходил домой, поднимал всех, заставлял мыть себе ноги, издевался, бил жену пяткой в грудь, одного ребенка довел до заикания и нервных припадков, другой стал мочиться ночью. А жена все терпела, но соседи не выдержали, спровадили его сюда.

— Тьфу! А я еще хотел его бритвой попользоваться... Чего ж он здесь? В элтэп его, гада, без срока давности!

— Так и хотели, да он трижды вешался, решили понаблюдать.

— Почему не повесился?

— А он веревку под грудь пропускает и под мышки — так и висит.

— Научили бы, если неграмотный. Вербку поправили бы, табуретку из-под копыт вышибли бы. Ишь ты, суицид имитирует. Да он здоровее нас всех! Хитрый Митрий: умер, а глядит.

У стенки шел разговор на интересную тему.

— Вот, об алкоголиках пишут, — желчно говорил прапорщик Дима, у которого глаза как разъехались в пьяном виде, так уже

и в трезвом не съезжались, смотрели в разные стороны, как у кролика. Точнее, бывший прапорщик — известие о его увольнении из армии пришло, когда он попал в нарко, и воспринял он его спокойно, махнув рукой: «Отыгрались на прапоре! А вон командир соседнего дивизиона, подполковник, полный срок инкогнито тут отбыл, привратником у двери сидел — и тут нашли ему дело по способностям, — и ничего. После выписки надел мундир и так в полной парадной обошел палаты, со всеми за руку прощался. Я ему говорю: а я так запросто с тобой здоровался, даже послал однажды. Он смеется: ты сегодня меня послал, а я всегда посылать буду...»

Алкаши читали книги, но, как правило, простую доходчивую литературу: про войну, про шпионов и про своих же братьев обиженных. Последнее они иногда горячо обсуждали. Вот и сейчас прапор Дима процитировал:

— «Больной Д., 42 лет, пьет политуру...» Чем они хотят меня убедить? Политуру я никогда в жизни не пил. Ты про меня напиши, почему я дошел до жизни такой? А все она, стерва, — приподнимаясь на локте, он аж забрызгал слюной. — Сразу, не разобравшись, побежала жаловаться к начальству! А того не сообщила, дура, что у начальства разговор короткий: в приказ! И сунули меня из большого города в тундру комаров кормить...

В тундре или в тайге Дима допился до «белочки», полез на сосну и стал оттуда палить из личного оружия по «летающим самолетам противника». Вопил: «Воздух!» Ну, и сняли его...

Теперь он все не мог успокоиться:

— Больной Д., 42 лет, пьет политуру... Да пускай он захлебнется! Вот я почему здесь кукую, кто скажет?

— Читал я недавно детектив иностранный, — тоже приподнялся на локте тракторист Чусин, который на своем Т-150 пытался устроить гонки по трассе с какими-то «Жигулями», да спьяну не разобрал, что «Жигули» с синей мигалкой и полоской на борту — «раковая шейка». — Там описывается, как гангстеры похищают людей: прижмут в уголке, двое держат за руки, а третий вольт в пасть бутылку — и готов, можно везти куда угодно — пьяный, отключился. И связывать не надо. Думаю: меня бы так похитили...

— Кому ты нужен? — скупое усмехнулся лесник Сушков — мрачный, неразговорчивый детина с густыми сросшимися бровями. — Чтобы тут похищения устраивать, им пришлось бы с ящиками за людьми бегать.

Обычно он молча сидел в углу, клешнястые, потрескавшиеся от тяжелой работы руки его сложены на коленях, черные, глубоко запавшие глаза уставлены в одну точку. Но и он не выдержал, как-то поведаль о себе.

Его начальник, лесничий Вшиян, рабская душонка и первый лизоблюд в районе, всячески ублажал начальство: возил узко сбитые группки «охотничков» в тирольских шляпах с перышками по лучшим угожьям, чтобы они отстреляли кабанов, лосей, косуль, отвели душу на привольных плесах. И даже лично привязывал леской уток к камышам, чтобы не улетали под высоким дулом. Посылал «нужных людей» с записочками к лесникам, чтобы отпустили им красного леса для строительства двухэтажных махин с гаражами, сараями и другими надворными постройками; районный центр Лохица быстро разрастался. Все лесники отпускали лес по записочкам, а Сушков взбунтовался и тесно сбитые группки «охотничков» в свои угожья тоже не пускал. Так он «откололся, противопоставил себя коллективу», как было сказано в формулировке его увольнения. И куда потом ни ездил лесник, в какие высокие двери ни стучался своими корявыми кулаками, так ничего и не добился. Качали головами, цокали сочувственно языками, обещали «пресечь и оградить», но не только не пресекали и не ограждали, а все новые и новые силы подключались к его травле, в последние дни в погребе сидел.

Не выдержало тогда у бесхитростного лесника ретивое, ахнул он два стакана первача, хотя до этого пил мало, разве что по большим праздникам, взял верную двустовку и подстерег лизоблюда на просеке. Наставил ружье: «Молись, гнида!»

— Я тогда так и решил: застрелю,— рассказывал он, поблескивая глубокими глазами, и Матвей верил — такой слов на ветер не бросает, уготована была Вшияну бесславная точка.— Рука не дрогнула бы. Пусть хоть от одного земля очистится. И тут он сделал такое, что у меня ружье опустилось...

— Стал на колени?

— Какое! У него ноги от страха не гнулись, шевельнуться не мог — стоит и глаза вытарачил, белые, ровно у мороженого судака. Прохватила его медвежья болезнь. Ну как я мог выстрелить? Махнул я рукой, закинул ружье на плечо — и домой. Только сел, опрокинул еще стакан, уже подлетает одна машина, вторая — виу, виу! Тут правоохранители быстро среагировали. Ну и отправили... сначала в трезварий, потом в суд, потом сюда. Надрали с меня штрафов, как лыка с дерева, что ж, теперь ребятишки наголодаются, будут помнить батьку-дурня, который правду искал. Ничего, будут, как мы в войну, картошку да капусту жевать, а я тут — рыбкин суп хлебать. Зато наука. Наука дорогого стоит...

— А коллектив... что же, не поддержал?

— Пора уж это слово дурацкое забыть. Где ты коллективы видел? Прихлебатели и молчащие... в тряпочку. Поддерживают обычно того, кто крепко стоит на ногах,— опять слабо улыбнулся.

своему каламбуру, который в этом случае получился двусмысленным.— Хорошо, хоть срок не дали, рука у судьи не поднялась, и так два несправедливых приговора вынес, когда отказал мне в восстановлении на работе. Да еще хватило наглости после суда мне сказать: «Пойми, если бы я тебя восстановил, то завтра самому бы пришлось работу искать...»

— А прокурор?

— В кусты сховался, где ж ему быть? Только заглядит в окно, что я иду, сразу тикать: «На совещание, бегу, бегу, некогда!»

Разъяренные, растравленные бесплодными разговорами о водке и своих несчастьях, шли в курилку. Строго говоря, курилки в нарко не было — не предусмотрели, хотя алкаши курят жадно и помногу. И в этом была какая-то загадка, вопрос: создать дополнительный резерв для наказаний или для дополнительной травли алкашей? Курили в подъезде около выхода, где был страшный колотун — зима, не ягодки собирать, и в туалете, где было то же самое,— тут открывали настежь окно, чтобы дым не шел в корпус. В обоих местах курить было строго запрещено, висели соответствующие таблички с угрозами — кого застукают, наказывали серой. Однако из обоих мест к вечеру выносили окурки целыми урнами. А тех, которые лежали в наблюдательной палате в солдатском белье, и вовсе в подъезд не выпускали, где же еще им курить, коли уши пухнут? Похмелологи и дежурные мордовороты делали вид, будто им ничего не известно о курении в запрещенных местах, и время от времени под плохое настроение врывались туда с криком: «Кто тут курит? Сурмач, Соболев, по два кубика!» Алкаши торопливо и покорно прятали тлеющие окурки в рукава и проскальзывали мимо разъяренного эскалапа — забитый, бесправный народ. А кто, обжигаясь, гасил окурки в ладони и незаметно спускал под ноги.

Тут, в курилке, шли самые задушевные разговоры, открывались истерзанные сердца.

Инженер-связист Московских задумчиво бурчит:

— В загсах вообще следует вывешивать объявления для нобобрачного аршинными буквами, чтобы от входа бросалось в глаза.

— Какое объявление?

— Формулу английской полиции. При аресте они говорят каждому: «С этого момента каждое ваше слово может быть использовано против вас». Дескать, отныне заткнись и помалкивай в тряпку.

Его жена улучила момент, когда он подвыпил, разодрала на себе сорочку и выбежала на улицу, подгадав как раз на проходивший мимо патруль. А может, патруль специально подгадал. Инженера, который ни сном ни духом не виноват, повязали в собственной квартире, повезли и посадили в клетку —такой закуток

в отделении, огороженный решеткой, куда сажают задержанного до разбирательства.

И просидел я, как дикий зверь, в этой клетке тринадцать-часов без жратвы, без воды и, конечно, без курева. Это я, у которого прямая связь с главком, министрами! Что же о сирых говорить... Потом начальник явился. Обматерил меня и отправил в нарко, а разве там разбираются?

Его сосед, сумской хохол, которого все звали Тарапунькой, а некоторые Штепселем, сочувственно кивал. Он выгодно продал на базаре трех хряков, запил на радостях, потом закупил бочку пива и стал всех угощать бесплатно, «хотив подывыться, як у раю будемо жыты». И «подывывся» — самого чуть алкаши не растоптали, бочку опрокинули.

Веня Рыбаков дал Матвею сигарету. Он попадал в нарко уже в третий раз и все по недоразумению. Началось с того, что он явился в цех пьяный, мастер стал отстранять его от токарного станка, а тот послал его подальше. Мастер не стерпел и набил ему морду, за что его, правда, судили и дали год условно.

— Как это — осужден условно? — рассуждал Веня злобно. — Преступление совершил не условно, голову мою об станок разбил не условно и повыбивал совсем не условные зубы, а мои собственные. Вот теперь у меня зубы условные — железные. А он, гад, условно осужденный...

— Вся закавыка в том, что ты был пьяный. Если бы трезвый, тогда бы ему не условно дали, — говорил бывший юрист Малый,

На завтрак привозили неизменную «шрапнель» — перловую кашу с рыбой жареной или консервированной, масло, чай, иногда вареные яйца, наесться можно. Матвей вообще был неприхотлив в еде и считал, что кормят сносно. И обед тоже неплохой, хотя и простой, без разносолов, правда. Зато ужин — неизменная молочная болтушка — оставлял желать лучшего. Тем более что на третьи сутки на Матвея напал «едун», обычная штука, и он готов был выть от голода.

Во время сухого запоя алкаш не чувствует голода, он только «загрызает». Организм переходит на питание сивухой, ко там лишь голые калории, а белков нет и жиров тоже, вот и опустошаются резервы, запасы организма, иногда алкаш совсем высыхает. Потом, после выхода из штопора и нормализации, да еще на подпитке витаминами, организм начинает спешно пополнять опустошенные депо. Вот тут-то на вялого до сих пор и безразличного к еде алкаша нападает «едун». Он мечется, как голодный волк, высматривая, чего бы урвать. Предвидя это, Матвей запасся кое-чем еще с тех первых дней в наблюдательной палате, когда ничего не хотелось есть, — яйцами, маслом, хлебом — и хранил его в холодильнике. Но запас оказался съеденным в первый же

голодный день, а «едун» продолжал одолевать. Выручил староста Миша, подкармливая его из своего мешочка, пока Матвей не наладил связь кое с кем из знакомых на воле,— тоже проблема, звонить алкашам не разрешают, вдруг начнет жаловаться или попросит привезти поллитру. А в письме не напишешь ничего об этом — проверят и вычеркнут. Но Матвей написал обтекаемое письмо, и ему привезли бритву, туалетные принадлежности, сигарет, продуктов, денег. Нет, не друзья по бутылке, а другие, которые с Матвеем ни разу-то и не выпили, относились с сочувствием к его «залетам» и горькой беде и всегда готовы были выручить. Один из них, Саша Доценко, и прилетел на своих «Жигулях» — сам давно бросил пить и другим не советовал. А зарок дал, когда начал воевать за правду и вдруг обнаружил, что обложен: шагни не туда — и загремишь. Вот он и понял, что самое верное, на чем его могут подловить,— бутылка. От нее отказался, заодно от курева и даже от баб. «У меня растут крылышки»,— говорил печально.

А к собутыльникам Матвей и сам не обратился бы: где их найдешь, шарахаются по шалманам, сами сшибают копейки и крутятся в штопоре.

Это было на седьмые или восьмые сутки его пребывания в нарко. Они сидели вместе с Мишей в пустой палате (контингент смотрел футбол или хоккей), между ними на койке лежал большой пакег с продуктами.

— Угощайся,— пододвинул он пакет Мише.

— Потом,— махнул тот, не отводя глаз от денег,жатых в руке Матвея. Они посмотрели друг другу в глаза и все поняли. — А как? — Матвей протянул ему пятерку.

— Сделаем,— Миша заковылял на костылях к выходу.

В этом деле самыми опасными для них были не медсестры, не мордовороты, не персонал, которые могли заметить, а могли не заметить — тут уж от твоего искусства зависит, а собратья-алкаши. Доверься не тому, а он, слабая душонка, и побежит с доносом, заслуживая себе отнюдь не условное досрочное освобождение. Тогда не миновать «вертолета» и прочих репрессий.

Но Миша не зря был старостой, изучил контингент. Пришел Андрей, коренастый неразговорчивый мужик в робе, заляпанной красками, хмуро и деловито взял из тумбочки холщовую сумочку и молча вышел.

— Так в сумочке и понесет?

— Не держи нас за придурков,— усмехнулся Миша. У него было длинное лошадиное лицо с умными черными глазами под припухшими веками.— Сумочка для отвода глаз, для продуктов.

— А где он возьмет? У него же тавро на куртке и штанах: «нарко». Кто ему даст?

Миша терпеливо объяснил:

Андрей на свободном режиме, может выходить и за территорию дурдома. Тут есть один магазинчик, но без сивухи, пиво иногда завозят, только для obsługi. Могут и психам из неврологического отпустить, им дозволяется. А нам даже чая не продадут. Но подальше, за пределами, большой микрорайонный гастроном и аптека. Там Андрей и отоварится. А тавро под козухом не видно, у него хороший козух.

— Но медсестра на входе может ошупать! Некоторые так делают, я видел.

— Он в сугроб сунет, до вечера. А вечером раздетый выйдет, будто покурить. Раздетых не шупают.

А в обед Матвея напичкали антабусом. Раньше его выдавал^л в таблетках, и медсестра после приема заставляла открывать пасть: не спрятал ли под язык, за гланды. Но некоторые так наловчились прятать, что и найти было невозможно, а потом, отойдя в сторонку, выплевывали гадость. Но свои же иуды продали, и тогда метод усовершенствовали: давали препарат в толченом виде и заставляли тут же запивать. Порошок под язык не спрячешь.

Пришлось Матвею, как ни противно было, покорно проглотить зелье.

— Все рухнуло,— сказал он Мише, войдя в палату.— Могу и выпить, а толку много ли? Один кашель и морда красная, будто крапивой настегана.

Многоопытный Миша только усмехнулся.

— Только что принял? Дуй быстро в туалет, нет, лучше в умывальник, там сейчас никого нет, и два пальца в рот. Если и всосется, то немного. А потом придешь.

Матвей выблевал гадость, умылся и с полотенцем через плечо, насвистывая, прошел мимо медсестры.

— А теперь вот это,— Миша сыпанул из белого пакетика в стакан кристаллического порошка, налил воды, размешал пальцем,— Хлебни.

Матвей выпил, и ему свело скулы.

— Что это?

— Абсолютно безвредная вещь. Даже более того, полезная, видел в вестибюле перечень продуктов, которые можно приносить в нарко?

— Видел.

— А что внизу написано? Красным?

— А-а... «Приносить лимоны строго воспрещается». Я еще подумал: ну и дурни, там столько витаминов.

Не такие уж они и дурни. Лимон нейтрализует эту пакость.

У меня лимонов нет, зато есть лимонная кислота. Еще лучше.

Уроки народные! Внимай и говори: спасибо. Сколько раз они спасали жизнь и отводили беду.

И снова уколы. Матвей не боялся их, как некоторые алкаши, дрожащие и по-куриному заводящие глаза при виде иголок и окровавленных комков ваты. Но процедура была муторной, уколов множество. Раз на раз не приходится. Одна медсестра делала уколы легко, словно играючи, другая тыкала, как в доску, не попадала в вену и шарила толстенной иглой под кожей, шарила, потом вытаскивала ее и снова тыкала, пока алое облачко в стеклянной трубке не возвещало о том, что вена найдена: кровь под давлением устремлялась в шприц. Но и после этого умудрялась потерять вену и ввести глюкозу под кожу — на том свете бы тебе так вводили! Некоторые от этого теряли сознание, Матвей тоже не раз «отходил», сидя на кушетке и обливаясь потом.

— Не больно?

— Ваше дело колоть наше — терпеть. Расплачиваемся за грехи наши — колите, режьте!

Такое самобичевание им нравилось хотя на самом деле Матвей и не кривил душой. Так и думал получи, что заслужил. Но иногда это оборачивалось против него. Дело в том, что, вводя в вену лекарство и спрашивая: «не больно?», «не печет?», медсестра заботится не о прекрасном самочувствии алкаша, как это кажется со стороны, а лишь контролирует правильное прохождение лекарства. Если печет — значит лекарство пошло не в вену. Ему пекло, аж на стену хотелось лезть, а он цедил:

— Ничего... нормально...

— А почему волдырь вокруг укола? — замечала наконец она и выдергивала иглу.— Что же не говорите?

У него уже звезды роились в глазах.

— Посидите, посидите, сейчас пройдет,— хлопотала она, опять-таки озабоченная не его самочувствием, а тем, чтобы не стало известно врачу — брак в работе.— Ладно, больше уколов вам делать не буду.

Нет худа без добра.

Он сразу выделил двоих: суровую неприступную Галю и веселую смешливую Люду. У обеих, как говорится, «легкая рука» — уколы ощущались, словно укусы комаров, а в вену попадали с первого захода. Была еще толстая добродушная Мария Степановна, но у той под конец смены начинали трястись руки, и попадать к ней нужно было в первых рядах.

— Почему руки трясутся? — спросил он.— Ну я алкоголик, понятно.

— Эх, милый,— проворно отламывая кончики ампул, охотно заговорила она.— Я ведь с параличом месяц лежала, спасибо нашему Игорю Ивановичу Овчаренко, невропатологу, хоть и за-

шибает, а золотая голова, руки бриллиантовые, выходил. Дали инвалидность, а как на ту инвалидность проживешь? Дочка в институте, ей тоже помогать надо. Вот и попросилась снова, дотяну до настоящей пенсии, хотя и она не клад...

Ее можно было попросить не делать некоторые уколы, она охотно ставила плюсы в карточке.

— Иди, болезный...

Но серу даже она не пропускала — нельзя, это ведь не столько лекарство, сколько дисциплинарное наказание. Если бы стало известно, что она не дала кому-то серу (алкаши и ее заложили бы как миленькую — для многих из них нет ничего святого), так и полетела бы Мария Степановна из нарко, не дотянула бы до пенсии своей жалкой, оставила бы без помощи дочку-студентку да и сама перебивалась бы на ливерной колбасе.

Кроме серноокислой, назначали и обычную магнезию — тоже не подарок. Всем больным ее колют вместе с новокаином, чтобы не лезли на стенку, ну а алкашам ее вкатывали без обезболивающего — терпи, бесправное семя! И выползал алкаш из манипуляционной выпучив глаза и подтягивая ногу, словно параличный,, долго шкандыбал по коридору взад-вперед, чтобы «расходиться» укол, иначе будет торчать болючим холодным камнем. Можно бы грелкой рассосать, да разве положена алкашу грелка?

Матвей искоса смотрел, как Галя воровато выхватила коробку с новокаином и смешала магнезию с ним, а потом спрятала коробку. «Симпатизирует,— подумал с теплотой.— Или сочувствует...» Укол почти не услышался, холодного камня не было.

— Спасибо,— он повернулся и прямо посмотрел в ее темные, опущенные густыми ресницами глаза.— Не забуду.

Она зарделась, но ничего не сказала. На следующий день Люда сделала то же самое. Матвей и ее поблагодарил, она нервно хохотнула:

— Носите на здоровье.

«И здесь есть люди,— подумал, выходя в коридор.— Какая же малость нужна нашему человеку, чтобы воспрянуть!»

А иногда он даже думал, что алкашам в нарко вообще грех жаловаться, разве что на строгий режим, серу, скудное арестантское питание и отсутствие сивухи. Здесь к ним действительно относились как к больным и называли больными,— это на воле всячески изгалялись. А отдельным зачуханным и немывым, как тот преждевременный старик деградант, никогда за пределами нарко не видевший ни бани, ни чистой простыни, так и вовсе санаторий. Иногда приходили навещать жены — нервные, издерганные, с настороженными колючими взглядами.

— У вас тут рай! Никто не кричит, и помыться есть где. А я вот недавно лежала в детской больнице — новой! — так натерпелась.

Орут, как на придурков: куда пошла, чего за ребенком не смотришь, холод, сквозняки, месяц горячей воды не видела... Ка-торга!

Вечером, когда спало напряжение, ушли врачи и почти вся обслуга, за исключением дежурных медсестры и санитарки, а контингент собрался около телевизора снова смотреть какой-то эпохальный футбол, Миша сказал:

— Двинули.

Где в нарко, переполненном и простреливаемом насквозь взглядами, найдешь укромное местечко для совершения тягчайшего нарушения режима? Но такое местечко нашлось, алкаши-старожилы вопрос проработали. Андрей все так же хмуро добыл из втянутого живота «бомбу», из кармана пузырьки туалетной воды.

— Березовая! — узнал Матвей. — Мягко пьется.

Теперь он понял, почему Миша упомянул аптеку. Березовая шла хорошо, брала крепко — чистый спирт, почти без примесей, так что Матвей заколебался: березовую или бормотуху?

— Ты как держишься? — спросил Миша. — Качать права, баллабонить нет склонности? На этом и горят. Набрался, прошмыгнул в палату и лежи на койке, кейфуй. А как начнешь липнуть ко всем с откровениями, тут тебе и «вертолет».

— Контролирую, — заверил Матвей. — До последнего, пока не вырублюсь. Но тут не с чего вырубаться, только душу отвести.

Андрей впервые улыбнулся.

— Таких, как ты, мы и сами видим.

В конце концов порешили не смешивать: Миша взял пузырьки, Андрей разлил себе и Матвею бормотуху.

— Ну, за встречу, — обратился Матвей к стакану. — Вытерпели сейчас, вытерпим и потом.

Миша аккуратно выбулькал жидкость прямо из нарезного горлышка, утерся, спрятал пузырек, чтобы не оставлять следов. У всех после первого спало наконец страшное напряжение и тревога последних дней. Как же она снимает, родимая! Словно материнская рука коснулась и забрала с сердца все заботы. Вот оно, прекрасное состояние невесомости, зачем и в космос летать! Уйди, жизнь, со своими опостылевшими пакостными заботами, сплошной брехней вокруг, бессмысленными достижениями! Изю дня в день ползаешь, копошишься, а когда же летать?

— Ну, — сказал Андрей, — скоро тебе выбирать лопату по руке. Куда попросишься?

— Хрен знает! Тут выбор как у десятиклассника — все дороги открыты, а попадаешь почему-то в подметалы.

— Просись ко мне. Скажу, что одного не хватает.

— Что делать-то?

— Соломку утюгом разглаживать. Сможешь?

— Вроде немудрено. Ты кто?

— Художник. Мы тут холл делаем, идем покажу.

На втором этаже они вошли в вестибюль, и Матвей замер, пораженный. Казалось, холл выложен чистым золотом. Приглядевшись он заметил, что золотистые кирпичики переложены золотисто-коричневыми швами. На одной стене красовалось большое панно: он и она в золотистых халатах, целеустремленно глядят вперед, взявшись за руки, в композицию вписаны колбы, реторты, шприцы. Обычная агитка, но вид...

Он подошел к стене, провел рукой. Сверкающая зернистая поверхность.

— Такого холла и в министерствах не видел. Из чего это?

— Министерство без штанов останется, если такой холл закажет. Соломка, обычная ржаная соломка.

В углу стояло ведро с водой, где мокли пучки аккуратно нарезанной соломы. Рядом длинный стол с утюгами, на втором столе остро заточенные треугольные ножи, изрезанные доски.

Андрей пояснил:

— Ржаную солому для нас заготавливают в подшефном колхозе, там у них целые стога. Наши же и заготавливают. Только срезать ее нужно вручную, серпами, как в крепостную пору, из-под комбайна не годится — расщеплена, деформирована. Тут сутки ее вымачиваем, потом нарезаем разной длины — видишь, шаблоны: короткий, средний и длинный. Из коротких — кирпичики, из длинных — швы между ними, средние идут на промежутки. Каждую соломку разрезаешь вдоль, разворачиваешь, разглаживаешь утюгом и наклеиваешь на картон одна к одной клеим ПВА. Швы между кирпичиками темнее — утюг держишь дольше, чтобы соломка чуть подгорела.

— А вот эта... картина? Она тоже из соломки?

— Нет ни одной капли краски. Все из соломки — светлой и подгоревшей.

Матвей пригляделся.

— Да ведь ты Левша! И сколько вам платят за эту... работу?

Андрей скрутил и поднес ему под нос добрую фигу.

Сполна! Как разнорабочим, хорошо, что на разгрузку картошки не гоняют. За вычетами на лечение только на курево да на какую-нибудь констерьву хватает.

И вы терпите? Почему не жалуетесь, не требуете... — он осекся, увидев улыбки на лицах новых друзей.

— Ты что, забыл, где находишься? Пошли лучше кquam.

Пошли, кquamули. Матвей продолжал бушевать:

Это же обдиаловка! Новое рабство. Чтобы я согласился на Ри месяца гнуть горб на их контору...

Андрей помрачнел:

— Да ты, кажется, из балабонщиков?

Матвей спохватился и пожал ему руку:

— Прости, друг. Брякнул не подумавши. Конечно, попрошусь в твою шарашку. Но я так этого не оставляю! Потом...

— Потому не будет,— жестко перебил его Андрей.— Сам знаешь, какие у нас заботы потом: забегаловки, подворотни, подпол. Вырваться бы отсюда.

— И сколько времени вы корпите?

— Начал еще мой предшественник, один заслуженный. **Ой** и картину сделал, а я заканчиваю. Заведующая хвалилась, что все нарко выложит соломкой, художников хватит.

— У меня много друзей художников,— Матвей опустил голову.— Есть такие... конечно, хватит, бульдозерами их гребут. А где заведующая, что-то ее не вижу.

— Гриппует. Скоро выйдет. Увидишь — бой-баба. Всех тут в кулаке держит... Ну да с нами, алкашами, иначе нельзя.

Прикончили все, что оставалось, замели следы, окурки попрятали. Потом по одному с озабоченным видом прошли мимо поста медсестры, Матвей даже держал под мышкой какую-то потрепанную книжку, и снова сошлись в палате. Легли, беседовали. В эту ночь Матвей заснул, впервые не мучимый тревогами.

А поутру его вызвали к заведующей,— значит, оклемалась.

Симпатичная женщина средних лет, дородная, в лисьей шапке и в очках с тонкой золотой оправой сидела за столом, разбирая бумаги.

— Матвей Иванович Капуста,— она приветливо улыбнулась полными накрашенными губами и спросила профессионально поднятым тоном: — Ну как самочувствие, как жизнь?

— Разве это жизнь? — он тут же попытался перехватить инициативу.

— А что так? — тон еще довольно бодрый, но брови поползли вверх.

— Как говорил герой Чехова, не жизнь, а одно поползновение, Валентина Михайловна! — он сложил руки.— Спасибо вам и нашей славной медицине. Чувствую себя как пожилой бог и готов выполнить любое специальное задание. А как общее состояние вашего организма? Такая женщина и... заболела.

Она немного зарделась. Не каждый день приходилось слышать ей тут живую речь, а не бессвязные спотыкающиеся реплики.

— Да так... немного простыла. Приходится долго ждать автобуса, живу на другом конце города.

Чуть приоткрыла дверку, и он тут же всунул туда ногу:

— А почему? Разве от дур... от психбольницы не ходит служебный автобус, не развозит сотрудников?

— Давно уж поломался. Вот и приходится с пересадками-

елый час добираешься! Иногда на такси мчишься — дома-то внучка. - У вас — и внучка! Да ведь вы совсем молодая женщина! С какого вы года? Простите, такой вопрос женщине не задают, но я бы никогда не подумал...

И она сказала! Не давая ей передышки, Матвей так и сыпал вопросами, вспомнив свою молодость интервьюера. Наконец она спохватилась:

Ну-ка, измерим давление. Вы к нам поступили в таком состоянии... ужас!

Она уже ознакомилась с историей его болезни.

История болезни... Что слава — дым! Будь ты хоть семи пядей во лбу, совершай самые удивительные дела, никто и не подумает именно сейчас, сию минуту записать их. Но достаточно человеку заболеть — и заводится целая история, фиксируются самые незначительные смехотворные подробности: как спал, какая температура утром, вечером, был стул или не было стула.

Он протянул левую руку, положил, но совершил ошибку («эх, расслабился!») — не прижал сразу ладонь к столу, и она зорким профессиональным оком мгновенно отметила:

— Тремор еще не прошел...

— Это от нехватки солей,— спокойно пояснил он.— Я тут провел суточную голодовку, позже проведу еще трехсуточную.

— Зачем? — при слове «голодовка» она сразу же подобралась, глаза холодно блеснули.

— Чтобы вам же помочь, быстрее очистить организм.

— Это лишнее,— в ее голосе впервые прозвучал знакомый металл.— Вам нужно усиленно питаться, укрепить нервы. Так... давление олимпийское.

— Я же говорил,— он снова попытался перехватить ускользнувшую инициативу.— У меня всегда сто двадцать на восемьдесят.

— Но сюда вы поступили с высоким давлением. Расскажите, сколько выпили, сколько дней это продолжалось, как давно употребляете... — теперь сыпала вопросами она.

Матвей отвечал, следя только за тем, чтобы паузы не затягивались, ответы звучали просто и естественно. Да, выпивать приходится, такая уж работа. Бывает, тянет и опохмелиться. Но Лтрезвом виде никакой тяги не испытывает. А тут приехал друг, сто лет не виделись. Ну, на радостях и набрались. Утром поправились, потом добавили по ходу дела. Разговоры. Показал ему город...

— и забегаловки,— чуть улынулась она.

— Мы мужчины! —он выпрямился.— Друг в отпуске, у меня казалось свободное время. Вот и затянулось...

— На сколько же?

— Наверное, на недельку,— сбрехал Матвей. Штопор продолжался не меньше трех недель, но попробуй вякнуть, сразу Третью стадию запишут. Тут без права на ошибку.

— Вот видите,— она поверила или только сделала вид, что поверила.— Всю неделю беспросыпно... Это вам серьезный звонок.

Заведующая Матвею явно нравилась. «В молодости за ней' наверное, мужики цугом бегали. Да и сейчас... выглядит». И вела опрос спокойно, без дешевых сентенций, поучений, крикливых укор. Как бы говорила: вы для нас только больной. Не всеми презираемый гонимый алкаш, не пария, не изгой, которого нужно сечь розгами, а еще лучше шомполами, рвать ноздри, клеймить, повесить пудовую петровскую медаль «Пьяница» на грудь, выставить на площади, чтобы проходящие плевали, запереть куда-нибудь с крысами или вообще утопить. Матвей вспомнил одну заведующую нарко, которая, бывало, кричала, доведенная бесплодностью своих усилий до отчаяния (искренне верила, что может искоренить пьянство, точнее, вначале верила): «Была бы моя воля, всех перестреляла бы! На Северный полюс к белым медведям отвезла! В поганой проруби утопила!»

Да и как не вопить ей: лечит, продумывает курсы, методику, перелопачивает литературу, перенимает опыт зарубежных друзей, ведет душеспасительные речи, вызывает к совести (откуда она у алкаша?) и к чести (а это что такое?), напоминает о несчастных детях (кто о них помнит?), а он, стервец, бараний лоб, является в нарко с работы, залив шоры одеколоном, и никакой «вертолет» ему не страшен.

Но у Валентины Михайловны чувствовалась хватка, профессионализм. Ее глаза, слегка увеличенные стеклами очков, пристально вглядывались в Матвея, и ему подумалось вдруг, что она не такая уж простушка, как показалась вначале. «Больше двадцати лет с алкашами возится... — вспомнилось.— Знает нашего брата вдоль и поперек».

— Сегодня перевожу вас на свободу,— она выписала распоряжение на склад.— Возьмете свою одежду...

— Вы великая женщина! Только два человека в стране могут вот так, одним словом, росчерком пера, дать человеку свободу — вы и... — он многозначительно возвел очи горе.

Она снова зарделась, опустив глаза в бумаги.

— Нарядчик уже спрашивал о вас...

Заместитель по трудоустройству алкашей (трудотерапии) каждое утро наряжал выписанных на свободу по объектам. Это был высокий морщинистый человек неопределенного возраста, и почему-то, впервые увидев его, Матвей по неуловимым признакам определил: «Глушит. Но, видать, втихаря...» А оказалось, что не

харя. Нарядчик периодически тоже входил в штопор, и его подлечивали без отрыва от производства, так что он был одновременно и пациентом, и персоналом. Наверное, только в нарко такое могло быть! Переплелись доли людские.

А где бы вы хотели работать? — вопрос прозвучал невинно, но он подобрался: очередной тест на безволие. Алкаши обычно канючили местечка потеплее — лишь бы перебыть, перекантоваться. Но начальство поступало как в армии: если просишься в одну сторону, пошлют в другую.

— Куда направите,— твердо сказал Матвей.— На разгрузку свинца, в топку парового котла, в аду готов работать!

Тут бы и пижаму на груди рвануть, но это пошло бы в явный пережим, дешевую театральщину. Еще за урку примет, который скрывается тут от каких-то темных дел,— и такие в нарко объявлялись, искусно имитируя «белочку», но, по слухам, Валентина Михайловна сразу их раскусывала, и вскоре за ними приезжали «знатоки» в форме.

Она заколебалась.

— Меня художник просил... не хватает у него человека, но... — сделала испытующую паузу — тест не кончился, и Матвей молчал.— Но я пошлю вас в другое место.

«Сам накликал,— подумал с горечью он.— Нарядит на кухню тарелки мыть».

— В библиотеке инвентаризацию проводят, просят помочь. В литературе разбираетесь, кажется?

Ну не дьявол ли? Откуда она знает, что на этом коньке он неоднократно досрочно выезжал из нарко? Может, запросила сведения и теперь играет, как кошка с мышью? Не могла успеть — сама болела, Матвей тут всего неделю, да если бы и запросила, бюрократы пока раскачаются с ответом...

— Вот чего мне действительно не хватает, так это книг,— сказал он искренне.— Хожу, выпрашиваю у других, да все читают про шпионов, а начало и конец оторваны...

Она улыбнулась:

— Санитарки говорили... даже в манипуляционную с книгой приходите.

Он вздохнул с облегчением — все объяснялось просто. Тут свои надежные методы изучения пациентов, не надо никого запрашивать, глаз наметан, денек тебя понаблюдают и скажут, какая стадия деградации.

И все-таки насчет Матвея они неизменно ошибались. А может, и сам он ошибался. Ибо все более убеждался, что у него какой-то особый случай алкоголизма. По всем признакам уже давно наступила третья стадия: неудержимое влечение к сивухе во всех ее видах, глубокие потери сознания, провалы памяти, затяжные што-

поры и прочее,— но после лечения он снова жил полной жизнью, восстанавливал интеллект и память, никогда ничем не болел — даже карточки в поликлинике на него так и не завели, никаких органических изменений. Может, это благодаря его особым методам борьбы? Или на нем ставится кем-то непонятный зловещий эксперимент, организм его избран в качестве испытательного полигона для чудовищного опыта?

Размышляя так, он шел морозным солнечным утром по территории дурдома на склад, представляя собой комическое зрелище: в голубой пижаме, поверх которой надета чужая рваная телогрейка, в чужих расхлябанных ботинках и в довершение на макушке слежавшаяся шапочка на два размера меньше. И на всем белело клеймо: «нарко», «нарко». Видок! Сфотографировать и в газету под рубрику: «Пьянство — наш враг!» Вот он, враг в человеческом облике... Конечно, лучше всего объявить врагом человека, а не явление — бороться куда легче.

Отдав на складе записку и получив мешок с вещами, Матвей дрожащими руками распотрошил его, горя желанием увидеть, в чем же его доставили сюда,— тогда еще один провал восстановится. Так и есть! Короткая меховая куртка, рыжая шапка, костюм, галстук (!), модные туфли. С банкета привезли какого-то, что ли?

— Документы, деньги и часы у фельдшера отделения,— сказала завскладом.— К нему обращайтесь.

Значит, привезли не пропившегося до нитки. В таком случае денег и часов не оказалось бы. Переодевшись тут же у склада, причем никто из проходивших не обращал никакого внимания на человека в трусах, стоящего на снегу, что особенно нравилось ему в дурдомах и нарко, Матвей почувствовал себя уже не экспонатом, а человеком. «Возрождаюсь!»

Алкаши встретили его настороженными и в то же время почти-тельными взглядами — шустряк, уже на свободе и в своем барахле. Такого права утомлялись немногие, хотя для работы и переводились все со временем на свободный режим, «свободу», но одежду носили рабочую, с клеймом. Кто-то решил: наверное, начальство или большой прохвост, что нередко одно и то же. Если начальство, то почему здесь, а не на переднем рубеже?

Один закинул удочку:

— Что, уже выписывают?

— Еще нет, но скоро,— не стоило посвящать контингент в подробности, это породило бы нездоровые злобные эмоции, и даже шапку могли украсть. Чем меньше они знают, тем лучше для него. Хотя он сам был алкашом и многим сочувствовал, слушая печальные повествования, но всегда помнил, что подлее и продажнее нет, наверное, на земле существа, чем деградирующий алкаш,— в пер-

вую очередь у него выветривается или, точнее, вымывается водкой все человеческое. А тут в основном и были такие. Некоторые уже начали было покрикивать на него: почему не убирает в палате в умывальнике, в туалете, почему сидит с книгой.

— А что мне, с тобой сидеть, хая? — шуганул их Матвей отборным морским, но когда староста Миша попросил, для приличия пару раз убрал палату — дело святое, за собой убирать надо.

Теперь же они сразу притихли — чутко улавливали статус каждого. Коль Михайловна его отметила, доверяет, лучше не встречать — живо серу вкатят, рыло в узелок сведет. «Не высовываться!» — первое и главное, что усваивал алкаш в нарко.

Он сходил в библиотеку и познакомился со своими несложными обязанностями: перебрать книги и расставить их по каталогу, оценить степень истрепанности каждой для списания негодных, сделать выписки задолжников. Библиотека оказалась маленькой — но емкой, тут брали книги обслуживающий персонал и больные некоторых отделений: нарко, невро, инвалидов, подростков. Остальные — идиоты, маразматика, буйные — книгами не интересовались.

Легкая, приятная работа, а главное — можно много читать. С самого раннего детства, сколько он себя помнит, не расставался с книгой. Даже в детдом его доставили с книгой сказок «Соловей и медянка», засунутой за пазуху вместе с ворованными яблоками. Читал в автобусах, трамваях, очередях, в тяжкие часы жизни и в светлые. Особенно помогала книга при выходе из штопора и в нарко. Как только начинал соображать, тут же хватался за ближайшую из тех, которые лежали на тумбочках алкашей, пока они работали. Если бы не книга, от мук и тяжких раздумий можно свихнуться.

А в нарко его ждала неприятная процедура. Алкаши завладели широкими тазами, садились в кружок, как на сеансе спиритизма, под зорким надзором медсестры.

— Капуста, на рычачку! — увидев, окликнула она.

Он неприятно удивился:

— Уже? Ведь по схеме не скоро...

— Иди! — алкаши оживились — хоть чем-то отыграются. Ишь, Фря в рыжей шапке! Оказывается, не очень-то привилегированный. Те проходят лишь дезинтоксикацию, им не назначают рефлкторное, как официально называется выработка рвотного реф? лекса против алкоголя, а в просторечии «рыгачка». — Сейчас будешь арию Рыголетто петь!

Но я не вижу здесь моего любимого вина, — для Матвея эта процедура была тяжелой не столько в физическом, сколько в моральном отношении. Проводилась она просто: сначала выпиваешь четыре-пять стаканов тепловатой воды, потом стопочку

медного купороса, а потом — алкоголь, и тебя выворачивает наизнанку. После определенного числа сеансов вырабатывается стойкий рвотный рефлекс даже при одном виде или запахе алкоголя. Считалось, по теории, что в будущем рефлекс уберет алкаша, когда он выйдет из нарко и отправится в одиночное плавание по бурному морю питейных соблазнов.

И дело было не только в том, что рефлекс никого не уберегал на практике и оказывался чистой липой, — он видел, как алкаши, добросовестно исполнив в обед «арию Рыголетто» и всем своим видом выражая сильнейшее отвращение при виде алкоголя, к вечеру исправно напивались чем попало, и никакой рвотный рефлекс не срабатывал. Дело в том, что подсознательно Матвей чувствовал себя при этом каким-то подопытным кроликом, сидящим в клетке.

Однако возражал он осторожно, будто и соглашаясь, — раздевался, причесывался, а сам проверял реакцию медсестры, нащупывал, как далеко может зайти в сопротивлении: тут не очень любили протестующих. Назначили процедуры — давься, а принимай.

Дежурила неулыбчивая строгая Галя, та, что баловала его новокаином.

— Вы ведь порядок знаете — нужно самим покупать любимое.

Алкаши бывают разные — кто на «массандре» свихнется, кто на «сухаче», кто на роме, а кто даже на шампанском, если карман позволяет. Бывали и «пивные» алкоголики. Кто к чему пристрастился, против того и вырабатывается рефлекс. В таком случае алкаш сам приносит свое любимое пойло — можно сказать, сам роет себе яму. Наивность подобных легковерных всегда умиляла и удивляла. «Взрослый дядя, с лысиной, а поди ж ты, рассуждает как Бармалей: выпьем все лекарства и будем здоровы».

Если уж так захотел бросить пить, встань, почувствуй себя мужчиной и скажи: все, завязал! А он сидит, глаза красные, как у кролика, и давится: ве-е, ве-е! И надеется, что ему поможет добрая фея в белом халате, вытащит за уши из грязи.

— Как я его куплю — любимое? Сюда ведь не донесу, — он направился к указанному месту.

— А какое ваше любимое вино? — полюбопытствовала Галя, — Может, у нас и найдется...

После курса «рыголетчиков» оставались недопитые бутылки — стояли в шкафчике красочной батареей как свидетельства былых страстей и увлечений.

— Денатурат три косточки, — быстро ответил он.

Алкаши захохотали. Все шутки на пьяные темы они воспринимали хорошо, а другие обычно до них не доходили.

Галя впервые улыбнулась.

Не верится,— протянула она.— Непохоже, чтобы вы пили денатурат...

Он промолчал. Если перечислить ей, что пил, то еще, пожалуй, в обморок хлопнется. Ладно, придется перенести, процедуры назначает заведующая, и у нее, похоже, какие-то замыслы.

И он стойко перенес процедуру. После нее мерзко внутри, мерзко снаружи, во рту — будто дверную ручку сосал. Утер слезы, отвернулся от Гали — пусть не видит такую харю...

После обеда уколы. В одну руку, в другую руку, сзади и спереди... «Только что в голову не колют, а надо бы, раз у нас такие дурные головушки...» — во время уколов он почему-то ожесточался сам на себя, появлялись элементы мазохизма: колите, режьте подлеца, раз не умеет пить!

А мысли насчет уколов в голову оказались пророческими...

Устав от бессмысленного хождения (как в клетке!), Матвей присел на скамеечку у стены рядом с инженером-связистом Володи Московских, худощавым интеллигентом с живыми, глубоко сидящими глазами. У них с первых дней установился контакт. Тут же сидел и шофер Саша с оторванным ногтем, читал книжку в сиреневом переплете.

— Что читаешь?

— Зарубежный автор,— Саша показал: начало было оторвано. — Тоже о пьянстве. Хорошо написано. Видать, автор крепко залетал, да только не повезло ему в нашем нарко побывать — живо излечился бы. Читаю и думаю: ну чего ему не хватало? Денег куры не клюют, свой дом, огород, сад, на лошадях катается, машина, цветной телевизор... хлебай мед да еще ложкой. А он, видите ли, хотел... — он полистал замусоленные страницы,— «ощутить еще больше всю полноту счастья...» С жиру бесился. А с жиру много ли выпьешь? Он себя тут алкашом изображает, у нас бы считался трезвенником, возглавлял пьяную комиссию. Тут получишь твердую зарплату, ох и твердую — аж ребра ноют! — там вычет, там вычет, только на бутылку и осталось. Куда ее? Вот и оприходуешь... чтобы ощутить всю полноту счастья. С одной бутылки не ощутишь, добавишь... и пошло-поехало!

— А ты не пей,— лениво посоветовал Володя,— вот и заведутся деньги, машина, огород...

— Откуда они заведутся, от грязи моей неумытой, что ли? — вскинулся Саша.— Я вот в молодости свою двадцатилетнюю программу по глупости разработал: подкупить к сорока годам сто тысяч, положить на сборкнижку и жить на проценты. Как раз будет по двести пятьдесят в месяц. Копил, копил, копил...

— Ну и где они, эти сто тысяч?

Где... — Саша ловко срифмовал.— Вот ежели бы красть... а тут и украсть негде. Как тот хохол, который мечтал: «Колы б

я був царем, я б украл сто рублев и утик». Видать, и ему негде было украсть.

— Вся беда алкашей в том, что у них полная разобщенность, — заговорил Володя негромко, раздумчиво. — Вот смотри: каждый ходит со своими думами, а если и сбредутся поговорить, то о водке, политуре, кто, как и где пил. Ни общих интересов, ни общих целей. Разные стадии, разные уровни, даже пьют разное! Ну о чем, мне, например, говорить с деградантом?

Деградантов сразу было видеть: синюшная морда, с которой синь не сходит уже от самых просветляющих лекарств. У большинства экзема, кожа шелушится, лобная кость выдается вперед, как у боксера, перенесшего сотни боев, и пустой взгляд, оживляющийся лишь при появлении бачка с едой. Набор слов невелик, да и тот весь нецензурный. Матвей часто задумывался: почему алкаши все забывают, даже маму родную, а «мать-перемать» не забывают, полный набор всегда наготове. Видимо, оседают в памяти как самые общеупотребительные слова, по закону частоты применения.

Один из них, Митя, и мат забыл, вовсе не мог говорить. Единственное, что мог из себя выдать, — какой-то птичий звук: «пи-пи-пи»... Каждое его появление в столовой вызывало у алкашей злорадное оживление, словно выход клоуна на арену. И действия Мити вправду носили клоунский характер. Возьмет пустую миску, подойдет к окошечку.

— Тебе полную миску или половину? — нарочно спрашивает дежурный мордovorot.

— Пи-пи-пи... — силится тот сказать. Мордovorot довольно ухмыляется и наливает полную миску — ведь знает, гад. Тот идет к столу и хочет спросить, занят ли стул: «пи-пи-пи...» Ему пододвигают стул. Он тянется за солью: «пи-пи-пи...» Так и слышится беспрерывно, словно кто-то созывает разбежавшихся цыплят. Алкаши гогочут. «Над кем смеетесь, паразиты? — злобно думал Матвей. — Такие же, только на ступеньку выше... да с этой ступеньки и вы скоро сорветесь, может и «пи-пи-пи» не осилите. Как куры — готовы раненого заклевать...»

С первого дня за Матвеем ухаживал тот молодой румяный? парень с младенческими голубыми глазами: водил в туалет, принес чай, еду, даже кормил с ложки, когда он не в силах был и ложку в руки взять — вырывалась, как живая. В каждом нарко есть такие алкаши, добровольно помогающие вновь поступившим, изнемогшим бедолагам. Вскоре их выделяют и ставят санитарам. Но этот проявлял особую старательность, и Матвей сначала заподозрил: уж не приставлен ли, чего он все подмигивает? Может, на провокацию какую хочет толкнуть? Есть такие. Но позже заведующая отделением рассказала, что парень не только пил, но

напяливал на голову полиэтиленовый мешок, садился над ведром бензина — надышится, бегает по крышам, взлезает на антенну, мяукает, лает. Успел заработать и цирроз, который еще не проявился и тяжелое поражение мозга, и букет сопутствующих болезней. Жалко Матвею стало этого парня, видимо по натуре доброго и отзывчивого, потому что только эти черты в нем и сохранились. Ему бы такие дела ворочать, после работы обнимать красивую молодку — за него любая пойдет, нянчить подрастающего сына, мастерить ему голубей из бумаги...

Ничего такого ему не видать как своих ушей. Зашелушится кожа, враз молодецкий румянец прорубит сетка глубоких морщин, выпадут зубы — а там и бабища с косой.

«Ну ладно, мы, алкаши старшего поколения, — люди конченные. С этим давно смирились. Так ли, не так — судьбу сами выбрали. А этого ведь мы предали, не сумели отстоять у сивухи...»

И замысел его, тот замысел, что родился в заливе пантачей росистой яркой ночью, стал еще крепче, заставлял сжать зубы и терпеть.

Через несколько дней (рыгачка, антабус, уколы, муторные процедуры) Валентина Михайловна пригласила его в кабинет:

— Ну что же, лечение идет успешно. И в библиотеке о вас отзываются хорошо... Выловили какие-то книги, из-за которых могли быть неприятности...

— Списки спустили, а не успели списать. Или забыли. Разные там стейнбеки, бёлли, Кузнецовы, гладилины, аксеновы... да еще речи Го Можо, — он умолчал, что эти книги выпросил себе, безмерно удивившись, что встретил их здесь. Пожалуй, только в библиотеке дурдома они и могли уцелеть.

— Долго еще продлится инвентаризация?

— Скоро заканчиваем, — осторожно ответил он, взглядываясь в ее крупное красивое лицо. Он начал ее уже немного побаиваться: ощутил, с какой непреклонной волей управляет она отделением, как панически бояться ее алкаши, как неукоснительно выполняются все распоряжения. Однажды два алкаша нажрались одеколона, и в наказание за это она распорядилась (помимо обычных репрессий провинившихся — «вертолет», наблюдательная) в десять часов вечера выключить телевизор. А как раз шел футбол, любимое зрелище, которое как-то еще воспринимали, и всегда стово собирались у телевизора. Она ушла в семь, а в десять дежурная выдернула штепсель из розетки. Алкаши матерились, росили, на колени становились — ничего не помогло. Ну и отыгались на виновных! Ни один не дал им закурить, когда они, белея кальсонами выползали в туалет. Что может быть мучительнее! Те собирали окурки в урнах, на заплеванном полу и жадно досасывали

— Как настроение?

— Сами понимаете... — он опустил голову. — Тяжко.

— Ну ничего, ничего, — в ее голосе прозвучали ободряющие сочувственные нотки. — С завтрашнего дня процедуры я отменяю, а вы запишитесь на иглотерапию у Петра Борисовича. Дело это новое, перспективное. Но — добровольное, — подчеркнула она.

Матвей лихорадочно соображал. Что кроется за этим предложением? Приоткрывают ему дверку или... Раздумывать некогда.

— Вам верю беспредельно, Валентина Михайловна! И если вы велели записаться...

— Не велела, а предложила, — тут же поправила она.

— Да, но я лично воспринимаю ваше предложение как веление царствующей королевы. Об иглотерапии мне известно, и самому хотелось попробовать, а вдруг?

— Вы же гипнозу не поддаетесь, — заметила она. — Сами говорили. А традиционные методы рассчитаны на три месяца. Если меня спросят, почему я раньше вас выписала, как объясню? За нами тоже, знаете ли, контроль...

И тут в мозгу Матвея будто молния вспыхнула! Какой же он олух! А вернее тогда, во время первой беседы, полностью, видать, еще не включился. Ведь она и тогда приоткрывала ему дверку.

Речь шла о сеансах гипноза, который затеял проводить один из лечащих похмелологов Петр Борисович. Это был живчик — плотненький жизнерадостный мужичок, любящий поест и выпить (не скрывал), но в меру, «ухлестнуть за бабцом». Энергия в нем так и кипела, он всегда был обуреваем новыми идеями лечения и искоренения алкоголизма. Все его любили, и Матвею он нравился. Самое удивительное было в том, что этот врач, повидавший алкашей во всех ипостасях, изучивший их вглубь и вширь, все еще свято верил в успех безнадежных усилий. Каждый день отрубал голову гидре, а на ее месте вырастало десять новых, но он с той же неиссякаемой энергией бросался в бой. Прямо-таки современный Еруслан Лазаревич!

Но именно благодаря таким энтузиастам наркология, наверное, и получила статус науки и кое-как держалась на грани хирения.

Сначала он пытался воздействовать на сознание и внедрить гипноз — где-то вычитал, что им может практически овладеть каждый (будто речь шла о тачании сапог), было бы желание. Ну, этого у Петра Борисовича было хоть отбавляй. Он перелопатил литературу, освоил методику и однажды собрал добровольцев в пустой палате. Усадил их полукругом, поставил на табуретке перед ними запечатанную бутылку водки и торжественно начал:

— Перед вами величайшее зло вашей жизни! От нее все ваши беды! Горе и несчастье близких, родных и детей! Смотрите на это проклятье с наклейкой!

Алкаши и так не сводили глаз с бутылки, давились слюнями. Сразу засекли, что не вода,— на стенках белели бы пузырьки, да и по цвету неуловимо отличается, как — не объяснишь, но алкаш за двести метров разберет, где вода, а где водка.

Теперь вы закроете лицо руками — вот так! — и будете нагибаться вперед, повторяя за мной то, что я скажу. Говорите: я решил твердо избавиться от пьянства, от алкоголизма. Мое решение непреклонно. Мне надоело быть пьяницей! Спиртное больше не будет привлекать меня! Я забуду об алкоголе. Какая бы в жизни ни сложилась ситуация: горе, радость, обида, ссора,— я не должен брать в рот ни капли спиртного, ни капли алкоголя — всю жизнь! Ни капли спиртного!

И так далее, и тому подобное — все по науке, на криках и восклицаниях — длинную формулу, каждое слово которой отскакивало от сознания алкашей, как от стенки горох. Но сам Петр Борисович увлекся, все повторял, закрыв лицо руками и слыша в ответ согласованный хор голосов, а когда открыл лицо — бутылка на табуретке оказалась пустой, а на полу валялась металлическая пробка, сорванная чьими-то торопливыми ногтями. И главное — высосали, не издав ни одного звука, глотали, передавая друг другу бутылку, ни на секунду не прерывая хор послушных голосов.

Петр Борисович ногой опрокинул табуретку. В ту секунду поддержка изменила ему и оптимизм поколебался:

— Могила исправит вас, обормоты! Всем «вертолет», «вертолет».

И убежал в отчаянии. Но потом изменил методику и уже не приходил на сеансы с бутылкой, а раскладывал всех по койкам и усыплял, расхаживая в мягких тапочках и монотонно повторяя формулы внушения.

Как ни странно, желающих попасть на его сеансы оказалось много, а некоторые даже искренне верили, что гипноз им помогает, и уверяли доброго Петра Борисовича, что чувствуют после сеанса «какое-то облегчение».

Все объяснялось просто: сеансы проводились в рабочее время, и записавшихся освобождали на два часа раньше. Вот они и рвались — лучше «покемарить на гипнозе», чем ворочать мешки с мерзлой картошкой или копать канавы.

Петр Борисович охладел к гипнозу после того, как его лучший «медиум» Хомчик, которого все называли Хамчик, засыпавший по первому слову, прямо после сеанса проник в манипуляционную, крючком из проволоки открыл шкафчик и выкрал оттуда сулею спирта, по недосмотру старшей медсестры не спрятанную вовремя в сейф. Спирт он перелил в заранее припасенную грелку, а в сулею набуровил воды, так что пропажи не сразу хватились,

и «медиум» успел насосаться под лестницей, за мусорными ведрами до того, что тут же схватил «белочку», а когда разгневанный Петр Борисович лично принял участие в скручивании любимца, укусил его за то место, куда обычно ставят «ракету» из серы, причем прокусил сквозь штанину до крови.

Но еще до этого прискорбного инцидента Матвей побывал на его сеансе и не ощутил ничего, кроме скуки. Он добросовестно пролежал целый час, слушая бубнение гипнотизера, и даже не мог уснуть. После этого и брякнул легкомысленно Валентине Михайловне, что не поддается гипнозу. А ведь она еще тогда давала возможность избежать и уколов, и омерзительной рычажки. Притвориться бы ему, как тому Хамчику, да и полеживать на сеансах, повторяя про себя любимые песни Высоцкого, стихи Омара Хайяма или по памяти читая незабываемую «Одиссею капитана Блада».

— Все понял, Валентина Михайловна. Простите меня, дураля,— он встал и сделал единственно необходимое — поцеловал ей руку. Тут она покраснела по-настоящему — у нее была нежная кожа, и краснела она легко,— и далее слабо попыталась отнять руку. Наверное, никто из алкашей за двадцать лет работы не целовал ей руки, разве что в белой горячке, принимая за мамочку. Кстати, в нарко ее чаще называли «мамой» («Полундра, мама пришла!»).— Сегодня я окончательно убедился: в груди у вас бьется благородное сердце. И вы настоящий специалист, во мне-то не ошиблись!

Последняя фраза была крючком — теперь ей отступать некуда, Верит она ему или не верит, а выпишет досрочно. Рассуждать при этом будет так: доверие иногда исцеляет алкашей, не пропивших окончательно совесть. По наблюдениям персонала, Матвей был похож именно на такого человека. А вдруг макаренковский метод и тут сработает? Она-то ведь ничем не рискует: сделала все по науке. Риск доставался только ему.

Как, впрочем, и с иглотерапией. Правда, тут Матвей особенно ничем не рисковал: Петр Борисович хотя и был увлекающимся беспечным энтузиастом, но к делу относился добросовестно. По слухам, он где-то в столице прошел специальные курсы и долго практиковался, прежде чем приступить к своей ответственной миссии. У некоторых алкашей за пять минут снимал нестерпимую головную боль, воткнув пару иголок в кисть руки, Матвей сам видел. К нему даже приезжали из города какие-то дамочки, измученные бездельем, и он пользовал их от всяких мигреней, неврозов, закрывшись в своем кабинете.

К вечеру того же дня Матвей уже лежал в манипуляционной, весь нашиглованный иголками — из головы их торчало не меньше пяти,— и размышлял о бренности своего существования: промах-

нись иголка на миллиметр, поразит не тот центр — и будешь ходить всю жизнь с вывалившимся набок языком и перекошенными глазами, хорошо если ходить будешь... Иголки были длинные и тонюсенькие, почти не чувствовались, но все равно ощущение было не из приятных. «А не пил бы, подставил бы свою дурную головушку под эти эксперименты? Эх, свобода дороже головешки...» Правда, в глубине сознания где-то теплилась надежда: а вдруг? Ведь не зря эта мудрейшая китайская медицина насчитывает тысячи лет — значит, были у нее и успехи.

У Петра Борисовича лежал на столе атлас точек для чжень-цзю-терапии — так это называлось, и всем желающим он показывал, какие нервы нужно раздражать и к чему это приведет. Текст был написан по-русски, хотя фигуры людей и лица на рисунках носили явно восточный характер, а точки укалывания и вовсе назывались по-китайски, даже глубина погружения иголки указывалась в фэнях (0,3 сантиметра). Все это делается для того, пояснил Петр Борисович, чтобы сохранить единую терминологию в иглоукалывании — она распространена во всем мире, и специалисты должны говорить на одном языке, а не кто в лес, кто по дрова.

Матвей полистал альбом и долго читал описания болезней, которые лечатся китайским способом, удивляясь, как их много, — оказывается, дело-то серьезное, основательное.

— Ну, болезни органов дыхания, обмена веществ, внутренней секреции и тому подобное, даже плешивость, — понятно, — сказал он врачу. — А вот тут и грипп, и дизентерия, и коклюш — они-то вызываются бактериями, вирусами. Как их выгонишь иголочками?

— Все это еще раз доказывает, что лечат не лекарства, а сам организм. Нужно только его активизировать, мобилизовать.

— Но алкоголизма-то тут нет! — кинул он главный козырь. — Не знали его древние китайцы, что ли? А ведь вино пили. Вот недавно читал Пу Сунлина — на каждой странице глушат.

— Да разве это глушат? — махнул рукой Петр Борисович. — От того, что выжрет наш рядовой алкоголик за вечер, десять китайцев коньки откинут. Не было у них раньше алкоголизма. Не знаю, может, сейчас оперились...

— А как же вы лечите от алкоголизма? В руководстве ничего не сказано.

— Во-первых, мы проводим лечение по разделу нервно-психических заболеваний, — он заговорил лекционным тоном. — Прежде всего нужно снять разные расстройства, неврозы, депрессии — последствия алкоголизма. Во-вторых, уже есть и новейшие разработки, отечественные комплексы — нас ознакомили с ними.

Он замаялся.

— А в третьих? — настырно спросил Матвей. — Нашли в-третьих или нет?

— Пока нет, — вздохнул тот. — Точки, снимающей тягу к алкоголю, еще не нашли. Бьются ученые во всем мире...

«Этот, по крайней мере, честен, — тепло подумал Матвей. — Не пудрит мозги своим всемогуществом, а это вызывает доверие. Доверие — вот что главное».

— Но все-таки иглоукалывание и при алкоголизме дает очень и очень положительные результаты, — опять взбодрился врач, — Так что советую...

Вечером на немой вопрос старосты Матвей покачал головой:

— Пока что я пас. Если засекут, может сорваться важное дело. А тебе я взял, — он вытащил небольшой пакетик — три пузырька «березовой».

Миша благодарно вздохнул, и пакетик скользнул куда-то под костыли. Он тут же направился в укромный уголок.

«Разобщенность, — вспомнились слова инженера Володи. — Он свое получил, а больше его ничего не интересует... Даже такие вот, лучшие среди нас!»

Прославленное в веках древнее иглоукалывание тоже оказалось бессильным — на горизонте по-прежнему маячила бутылка. Как у Буратино: закрыл глаза — и появилась тарелка манной каши пополам с малиновым вареньем. Только вместе тарелки появлялась бутылка — хоть закрывай глаза, хоть лежи с открытыми, словно покойник в кино.

«Это у меня от напряжения, — думал Матвей. — Тут как в абвере, без права на ошибку. А выйду, расслаблюсь немного...»

Но Валентину Михайловну он горячо заверил, что сеансы крепко помогают. Тут он не сильно кривил душой — каждый раз после иглотерапии действительно наступало успокоение и в то же время ощущалась какая-то бодрость, легкость в теле.

— Я даже почувствовал себя древним китайцем, — пошутил он. — Лезут в голову разные конфуции, будды, даосы, гейши... виноват, это из другой оперы. Сейчас не до гейш.

Она весело засмеялась.

— Вылечитесь, и гейши будут. Мы вас выписываем. Отметим, что иглотерапия дала положительный результат... — она лукаво взглянула на него, — но понаблюдаться немного придется.

— Где? — насторожился он.

— По месту жительства. А еще... я дам вот это, — она вытащила из стола маленькую коробочку. — Новейшее средство, зарубежное, только недавно получили — и немного. Называется орап —

— А от чего оно?

— Снимает тягу. Очень эффективное, — она высыпала на ладонь крохотные таблетки, выбрала одну, переломила пополам

половинку протянула.— Будете принимать по половинке в день. и Матвей послушно бросил таблетку в рот, неуловимым движением языка переправил за щеку и запил водой из стакана, протянутого заведующей. В нем, как у всех алкоголиков, жило неистребимое подозрение ко всякого рода химии, и, если была возможность не принимать, он тут же ею пользовался.

Через полчаса, попрощавшись с Мишей и немногими обитателями, которые слонялись в рабочее время в корпусе, выйдя за ворота и бегло ознакомившись с инструкцией, по оплошности (или намеренно?) забытой заведующей в коробочке орапа, он похвалил себя, что не проглотил таблетку. Лекарство действительно оказалось новейшее, импортное и даже дорогое, но... для шизофреников. «На арапа хотели взять, арапы,— подумал со злостью.— А раз для шизиков, значит, подавляет волю. Ведь врачам от шизика и других свихнутых нужно только одно: чтобы сидел в уголке и не выскакивал, не выступал, не чудесил. Словом, вел себя «нормально», как все: ходил по одной половине и слушался. Не-ет, единственное, что у меня еще осталось и благодаря чему я существую,— это несгибаемая воля!»

Он вспомнил, как, прощаясь, заведующая сказала:

— Если только возникнет тяга, даже не тяга, а только мысль об алкоголе, сразу же к нам. Мы тягу снимем.

«Принимают меня за какого-то дурачка,— думал он, споро шагая по заснеженной тропке.— За болванчика с медным лбом и разрезом для отвертки: куда крутнешь, туда он и глядит, тупо вытаращив глаза. Так я к ней и побегу».

Отдаться чужой воле, послушно следовать чьим-то указаниям (а кто их отдает, не объявят ли его завтра безумным волюнтаристом?) всегда казалось ему пределом унижения для гомо сапиенс. Его пробрала дрожь. Сегодня нашенчук ему бросить пить, а завтра взять топор и рубить головы ближним. Избавиться от порока или недостатка. А взамен отдай душу? Плохой ли, хороший — а мой ум. Выправлять умы — самое гнусное, что мог придумать венец природы. Тем и хороши люди, что они разные, ну а недостатки, пороки — издержки производства. «Своей жизнью человек распоряжается сам, и даже если лишает ее себя, то ему какое наказание потом не страшно»,— злорадно подумал он.

Матвей! — голос болью отдался в сердце.

От заснеженных сосен к нему шла Лена. В коротком пальто Узеньким меховым воротничком, в пушистой вязаной шапочке.

Матвей не сразу понял, что это именно она. В глазах вдруг чало двоиться, четкие силуэты на фоне ясного зимнего неба змазались. Так бывало только после глубокого штопора,

ин стоял, не двигаясь, а она молча подошла и прикикла лицом к его плечу.

— Как... как ты здесь?—дрожащей рукой он погладил ее по шапочке.— Ты же от меня все время убегала?

— Мне сказали, что ты в беде,— пробормотала она глухо,— Иначе я бы не приехала.

— Да кто сказал?

— Сначала сердце,— она подняла лицо и посмотрела сухими, но страдающими глазами ему в лицо. Прямой, светлый взгляд. Глаза ореховые... нет, сейчас они янтарные. Сердится или радуется? — Ты не подумай, я только повидать тебя приехала. Мое решение остается неизменным.

Как тогда, на мосту Поцелуев, вдруг остро захотелось ее ударить. Не могла подождать с этим... Но теперь он сдержался, уроки нарко кое-чему научили. Да и дурдом оставался в пределах видимости, вдруг оттуда наблюдают? Чуть что — и вышлют группу захвата. Чувство смутной опасности вновь охватило его, пришло спокойствие и холодная расчетливость.

— Ну что ж, пойдём,— взял ее под руку, и они медленно направились по аллее, ведущей к автобусной остановке. Пусть посмотрят — влюбленная пара идет в светлую жизнь! Только перед его глазами было по-прежнему черно.

— Рассказывай,— проговорил он глухо.

— За эти годы я поняла, что жить без тебя не могу,— прошептала она.— Люблю по-прежнему... проклятый!

— Да, я проклят,— глаза его сузились,— только не знаю, за что и кем. Кто-то нагрешил, а расплачиваюсь я.

— Кто?

— Откуда я знаю? Эх, Лена... Ну зачем ты так? Живут ведь и с пьяницами. И сколько их живет. Кто здесь мечтает о трезвой семье... А может быть, с тобой...

— Не могу. Как вспомню отца... и наши страдания с матерью. Неужели все должно повториться — на этот раз со мной и моими детьми! А я кем проклята? Кем прокляты мои будущие дети... если они будут!

Долго молчали. Дошли до автобусной остановки. Она оказалась пустынной — рабочее время. Дурдом скрылся за соснами, казалось, они остались одни на длинной зимней дороге. Где-то вдали, в небольшом поселочке под горизонтом, поднимались дым.

— Хочешь выпить? — вдруг спросила она.

— А у тебя есть? — вырвалось, и он спохватился, но было поздно.— Поймала-таки!

Ее пальцы торопливо рвали застежку сумки, ремень которой был переброшен через плечо. Никогда бы не подумал, что в такой маленькой сумочке поместится бутылка.

— Нет, и не собиралась ловить. Я думала... если ты покончил, то оно не понадобится. А если нет, то ты мучаешься и... вот,—

она как-то беспомощно-непрофессионально держала за горлышко коньяк, протягивая вперед донышком.— А еще апельсины... сигареты вот, твои любимые, болгарские.

Матвей во все глаза смотрел на нее. Даже сигареты... В магазине дурдома был только один сорт сигарет с фильтром — индийские от, которых бил неудержимый кашель, и он не устал проklinать их. Но курил. А она не забыла!

В любом горе и при любых неудачах он не прибегал к подбадривающему действию сивухи, всегда выстаивал, только больше ожесточался. Тех, которые топят свои беды в бутылке, считал слизнякам. Но в радости... «Чтобы лучше ощутить всю полноту счастья...» — вспомнились слова из исповеди зарубежного алкаша. Видать, мудрый мужик. Да, счастье приходит так редко, что поневоле цепляешься за него, как малыш за юбку матери.

Одним движением он сорвал вместе с флажком и запрокинул бутылку. Выпил не очень много, может быть, со стакан. Спрятал бутылку в портфель и закурил.

— Апельсины себе оставь. Ешь, ешь, не стесняйся,— слова срывались с губ легко, разом спало напряжение последних дней — исчезло унижительное чувство подопытного кролика, распластанного с электродами, вживленными в мозг. А может быть, они действительно вживили в его мозг электроды? Мысль пугающе блеснула. Он снял шапку и, делая вид, что поправляет прическу, ощущал голову. Нет, ничего не торчит... — Ну, а теперь скажи: вот и променял ты меня на бутылку.

Она молчала, опустив глаза.

— Вся беда в том, что они ставят вопрос примитивно: или я, или бутылка. А мужчина испокон веков, во всяком случае с тех пор как появился алкоголь, успешно совмещает то и другое. Он ничего не требует от женщины, кроме одного — чтобы она была женщиной, подругой. А она все воспитывает его, переделывает... перекраивает, и кричит она, кричит, голос тоненький...

Сигарета сломалась в его руке, он торопливо зажег новую.

— Сегодня ты скажешь: брось пить. Как только я бросил, значит сломался, подчинился. Теперь уже выдвигается следующее требование: брось курить. Потом: делай то, делай это, ходи по одной половице. И так до бесконечности. Сказка о рыбаке и рыбке... Сколько я таких историй наслушался! Мужик в конце концов закусит удила — и понес... Или вырождается в слизняк-в штанах, не мужик, не баба, не разбери-поймешь. Тебе такого нужно?

Будь самим собой...

— Будь самим собой, но при этом делай так, как мне нравится - вот ваше кредо,— горько сказал он.

Лицо ее как-то сразу осунулось, сделалось усталым. Вдали по-

казался желтый автобус. Они молча доехали до центра, вышли,

— Тебе куда?

— Мне? — он на минуту задумался. — Куда бы я ни направился, тебе, наверное, в другую сторону. Твой опыт увенчался успехом... или неудачей, как смотреть. И теперь ты уезжаешь.

— Да, — губы ее будто не двигались. — Сегодня... улетаю.

— Если не секрет, то куда?

Она промолчала.

— Но пообедать в ресторане мы успеем? Ведь столько не виделись... — Его тон стал просящим, он уже чувствовал настоящую потребность добавить, но не станешь хлебать из горла в центре города! Торопливо сказал: — Мне нужно сообщить тебе что-то очень важное.

Молча пошли рядом. В ресторане Матвей помог ей раздеться, она поправила волосы перед зеркалом. В зале было пустынно в это послеобеденное время. Они выбрали столик. Матвей заказал порционное блюдо, бутылку шампанского, водки. Лена взяла со столика сигареты и закурила.

— Куришь?!

— Научилась, — она посмотрела на него сквозь облачко дыма. — Ты что-то хотел сказать...

— Да!

И он заговорил, хотя клялся себе, что никому этого не скажет. Он рассказал ей обо всем странном и страшном, что происходило с ним в последнее время, и о своем решении сделать это. Шампанское было выпито, порционные стили нетронутыми. Он налил водки и опрокинул.

— Поверь мне, Леночка, — он сжал ее тонкие неподвижные пальцы. — Я сам жду, когда это кончится. Но верю, что кончится. Происходит нечто темное, непонятное... Сейчас я тебе что-то скажу — не поверишь. Куда ты летишь?

— На Крайний Север, — лицо ее сделалось меловым, словно маска, глаза огромные. Она тяжело дышала. — Но... но...

— Сегодня же я окажусь там раньше тебя. Транспортёр Мебиуса доставит меня туда быстрее. Мне кажется, что я уже научился им управлять. Или угадывать направление...

— Для этого нужно выйти в окошко? С пятого этажа?

— А хоть бы с десятого!

— Ты понимаешь, что это значит?

— Еще не совсем... Дай мне время — во всем разобраться. Дай мне время!

— Потом может быть поздно... — прошептала она. Всклипнул я уронила голову на стол. — Ну как же ты не поймешь, как не поймешь...

— А что мне делать? Отдать свой разум на растерзание,; что-

его топтали, отсыпались на нем? Придумали красивый камуфляж: гипноз, внушение, аутотренинг... Повторяй как баран чужие формулы. Пусть повторяют те, кто их придумал!

Но ты можешь согласиться с ними или не согласиться.

Вот я и не соглашаюсь! Пусть лучше разгадают загадку алкоголя, а в мой мозг не лезут.

На них уже начали с любопытством поглядывать сидящие в углу официантки, разжиревшие, как осенние воробьи. Матвей подождал одну, рассчитался.

Посиди здесь,— Лена вытерла глаза.— Я сейчас.

Она пошла в сторону туалета, исчезла за портьерами. Матвей злобно усмехнулся. Та-ак... Значит, все идет по программе. Только они опять не учли одного — его ума, сообразительности, быстроты действий. Опыт поставлен, разыгран, но завершится он совсем не так, как им представлялось. Наверное, уже расправляют простыни на первой койке в наблюдательной. Ну что ж...

Сейчас она звонит от администратора — в том конце зала находились и кабинеты, он засек, а пока группа захвата доедет сюда, он будет уже далеко. Так далеко, как им и не снилось.

Он подхватил портфель и быстро направился к гардеробу. Нужно одеться — там, куда он направляется, холодно. Получил куртку, накинул ее и выбежал, даже не застегнувшись.

День угасал. Холодный ветер обжег лицо. Он шагал, размахивая свободной рукой. Завернул за угол и ступил на транспортер. Серый, необозримый, он уходил в пространство и безостановочно двигался. Как она сказала? Нужно прыгнуть с пятого этажа? Нет, тому, кто хоть раз побывал на транспортере по своей воле, уже не нужно прыгать. Он может ступить на него в любой точке пространства и времени.

«Крайний Север. Как она назвала город? Он обозначен на всех картах мира...».

Что-то стукнуло его по ногам. Он стоял на заснеженном тротуаре у обочины узкой улочки, вдоль которой уходили в сумрак пятиэтажные дома без балконов. Мела поземка, злой мороз леденил лицо. Хотя он здесь ни разу не был, но сразу узнал — тот самый город. В нем он прожил больше пяти лет. Но это позже проживет... а сегодня какое число?

Справа светилось яркой витриной, сквозь которую ничего не видно — вся заиндевела,— одноэтажное здание гастронома. «Это же пятый!» Так и говорили: «Пойдем в пятый, отоваримся». Снизу поднимался его владивостокский друг, но на этот раз ни кривоносый художник (тут кривоносых не было, он точно помнил, а журналист Вадим Окрестил в запотевших, как всегда, очках поблескивающих над заиндевелой полуседой бородачкой.

Дом с ним двигалась приземистая фигура в кожанке.

— В такой момент закрыли — прием товара! — возмущенно говорил Окреестиллов, протирая очки.— Топай теперь до двенадцатого. А это кто? Матвей, друже! Этот нас выручит, у него в портфеле всегда есть.

— Ты откуда? — спросил Матвей, пожимая его руку.

— Только с вертолета, полмесяца мотался в тундре. Вот его сейчас со льдины сняли, открывая портфель.

Матвей со стесненной душой открыл — есть ли там? И выволок на свет булькнувшую бутылку — коньяк, подаренный Леной,, больше половины.

Мужик в кожанке жесткой задубевшей лапой молча выдрал у него бутылку и тут же осушил ее до дна.

— Ф-фу! — выдохнул, швырнув бутылку в сугроб.— Ну, теперь... Дай закурить.

Он задымил, темное лицо его вроде бы стало оттаивать.

— Ты куда? —спросил Вадим.

— Домой,— наобум сказал Матвей.— Квартиру получил, обмываем.

— О, тут близко. Пошли, отогреем парня, а потом будем марковать.

Он тут же повернул и уверенно потрусил впереди. Это оказалось на руку Матвею, потому что он не знал, где живет. Тротуар перемело глубокими сугробами, пробитыми узенькой тропкой, и они вытянулись цепочкой. Сзади пыхтел мужик, вольготно распахнув кожанку,— мороз ему уже был нипочем.

Прошли мимо Дворца пионеров, холодно блиставшего алюминиевыми гранями стеклянного куба: достопримечательность! Сбоку в глаза вдруг полыхнуло, и Матвей чуть не оступился. Задрал голову: полыхало во все небо! Через весь космос с головокругительной скоростью пронеслись голубые призрачные всадники.

— А почему оно... черно-белое?

— Сколько раз говорил тебе,— ворчливо отозвался Вадим,— что тут черно-белое, а повыше к Провидения и Уэлену цветное. Ты же сам видел!

Спустились вниз с холма к желтеющему деревянному дому о двух этажах, напротив которого высился знак и название города. То самое название...

Скрипя мерзлыми ступенями высокого крыльца, вошли в просторный коридор, заставленный решетчатыми ларями с картошкой (все лари однотипные, их делал по червонцу за каждый известный алкаш Веклин), и поднялись на второй этаж. Подойдя к двери, Вадим пропустил его вперед — все-таки хозяин. Матвей толкнул дверь, она у него никогда не закрывалась.

В прихожей стоял совершенно незнакомый рыжий мужик с рысьими глазами и красной лисьей мордой, разглядывал на свет

пустую «бомбу». Он недружелюбно покосился на них и буркнул:

— Вам кого?

По слухам, это моя квартира,— нагло ответил Матвей.

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Лучше власть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глотать, чем прельститься сляктями
Со стола у мерзавцев, имеющих власть.

Омар Хайям

Отыскивая корень зла, смотри не только вниз.

— Задание не из легких,— сказал я, ознакомившись с документами.

Директор завода откинулся на спинку жесткого кресла. Молодой, энергичный, он умел располагать к себе и заражать других оптимизмом. Лицо простецкое, с перебитым носом,— в юности, наверное, был дворовым хулиганом, из таких впоследствии вырабатываются настоящие мужчины. Однако не курил и, по слухам, не злоупотреблял — увлекался шахматами и добился уже звания кандидата в мастера спорта. В нем чувствовалась пружина.

— А мы и не даем вам легких заданий, Матвей Иванович. Для них существуют шмаркачи.

— Но почему вы решили, что наша продукция в этих местах расхищается? Ведь рекламации составлены по всей форме.

— Слишком их много,— директор забарабанил пальцами по столу.

— А не могут запчасти действительно ломаться в условиях низких температур? — выдавил я.— Ведь там Крайний Север.

— Мы поставляем запчасти и в другие районы Крайнего Севера, там они не ломаются. Конечно, мы только недавно начали осваивать этот ассортимент, но... — он гибко наклонился вперед.— Есть и другие данные.

— Могу я их узнать?

— Конечно, конечно,— директор искоса метнул на меня трусливый взгляд, и это было непривычно.— Скоро будет знать весь завод. Никита Петрович, который выполнял там аналогичное задание, застрелился.

И это вы называете «другими данными»! — теперь мне пришлось откинуться назад.— Застрелился? Как?

— Как Хемингуэй. Приставил ружье к груди и нажал курок ногой. Нам вчера сообщили. Ничего толком не говорят, загадка какая-то.,,

Минуту царило молчание. Никита Петрович Березняк был лучшим из нас, ветеран завода. Въедливый, дотошный и педантичный, он толково разбирался во всех производственных вопросах, никогда не допускал проколов. Мне так и не довелось с ним встретиться, все носило нас по разным меридианам.

И вот теперь мне предстояло занять его место в строю и, может быть, тоже подставиться под пулю. Директор точно угадал мою реакцию.

— Конечно, поеду. Морду разобью, а узнаю...

— Это не обязательно. Проводить самостоятельное расследование... Но если что-то случайно...

Городок на краю света встретил промозглым холодом, пылью на улицах, метущей прямо в глаза, настороженностью. Где-то на материке стояла жаркая золотая осень, а тут все дышало близкой затяжной зимой.

Завод разворачивал широкую поставку запасных частей и оборудования для приисков, поэтому тут был открыт постоянный пункт представительства: однокомнатная квартира в центре города с телефоном. Именно в ней жил и дожил последние дни Никита Петрович, мой предшественник.

Поселился я в гостинице, а на следующий день побывал на квартире. Намеренно или случайно все здесь оставалось нетронутым с тех пор, как унесли распростертое на полу тело хозяина. Ключ выдали в горжилуправлении, и мы отправились вместе с журналистом Вадимом Окрестилковым, которого я знал еще по Владику. Оказалось, он работал на местном радио. Поистине, даже просторный Дальний Восток тесен.

Спартанская обстановка: тахта, низкий столик с пишущей машинкой, полка с книгами, кухонное окно оплетено побегами гороха, уже засохшего, с осыпавшимися листьями. Но прежде всего бросались в глаза побуревшие пятна крови на стенах, потолке, на книгах, подоконнике.

— Вот тут он расстелил матрас на полу, сел, разделся до пояса, а может, сначала разделся, а потом сел и... — указал Вадим. — Жаканом пулял, чтоб наверняка. А жакан на выходе знаешь какой разворот дает?

— Он говорил что-нибудь о... об этом? Собирался заранее или стукнуло в голову?

Вадим стоял у подоконника.

— Однажды сказал: когда горох вырастет вот таким, — показал рукой, — то меня уже не будет. Но мы так поняли: собрался уезжать.

— Пил? — я вспомнил свои попытки покончить расчеты с жизнью.

— Не особенно. Пьяным его никто не видел. В компаниях

редко бывал и особенно не налегал. Держался особняком, был нелюдим.

Я принялся перебирать все документы, книги, барахло, заглянул под тахту, на антресоли, даже перевернул засохшие корки хлеба и пакеты с продуктами на кухне, осмотрел ванную и туалет, искал хоть какой-то след, указание на причину, заставившую моего предшественника так поспешно погасить свечу. Ничего. Впрочем, кое-что было. На подоконнике валялось два больших флакона, наполненных диковинными прозрачными таблетками, похожими на леденцы. Я сунул флаконы в карман.

— Не может быть, чтобы в таком маленьком городке про него ничего не знали.

— А кто это говорит? Про него тут знают все,— просто ответил Вадим. Я так и остолбенел.

— Для чего ж я тут, как дурень, копошусь?

— А я не знаю, что ты ищешь. Сказал бы.

— Причину, причину ищу! Я ведь должен тут работать и не собираюсь измерять срок жизни этим... горохом.

— Причина одна и единственная — танцовщица Уала из ансамбля Дома культуры.

— Отвергла?

— Пошли отсюда, а то меня уже мутит от этого... красного дождика.

По пути зашли в магазин, взяли пару бутылок, закусь и направились в гостиницу. Оприходовали одну, закурили.

— Рассказывай.

— Твой предшественник был сильно падок на женщин, причем лет на двадцать моложе. Менял их, правда, не часто, но уверенно. Кто только на этой квартирке не побывал! И Лида из радиокомитета, и Таня из Дворца пионеров, и Света из детского сада... не воспитанница конечно, а воспитательница. Последнее увлечение — Уала. Ты ее увидишь — девка еще та. Но уже на пределе, искала мужа. А Петрович жениться не собирался. Что-то у них там получилось... крутое. Нашла коса на камень.

— Постой, постой! История со стороны правдоподобная, но если вникнуть... из-за такой мужик карты на стол не бросит.

— И мы так думаем,— легко согласился Вадим.— Дело темное. — Но кто в нем разберется? Кому нужно?

— Мне, во всяком случае. Давай высвистаем Уалу.

— Она в гастрольной поездке по районам. Вернется не скоро.

Ничего, мне тоже по районам нужно. Перехвачу в поездке.

В дверь постучали. Вошел моряк в меховой зийдвестке. Из Рманов его торчали горлышки бутылок.

Узнаешь? — просипел он.

— Витя! Щербак! — меня приподняло.— Да у вас тут что, филиал Владика? Откуда?

Мы крепко пожали друг другу руки.

— Моя коробка на рейде. Обычный снабженческий рейс. А я иду по улице, вдруг... ты или не ты? Борода седая, постарел...

— Годы, друг, годы. Да и ты не помолодел.

— Есть маленько,— он снял шапку и обнажил розовую лысину.— Зашел следом в гостиницу, говорят: такой-то здесь. Ну, я и мотнулся в магазин...

— Разоблачайся.

Щербак выволок за горлышки два коньяка, промасленный пакет, скинул куртку, заблестал шевронами. За пазухой у него оттопыривалось.

— Ты же собирався распрощаться с морем, клялся, помню, еще семь лет назад мне на причале Певека. Думал умотать на Украину, в садок вишневый коло хаты... И опять с моря?

— А куда я от него денусь? — он развернул пакет, там оказалась жареная курица, два соленых огурца — бочковые, деликатес! — Недавно из Австралии пришли, тягомотина... Тебе кошка нужна?

— На двух ногах?

— Нет, австралийская. Породы неизвестной, черная, как ведьма, и такая же злая. На судне ей не жить — железо. Моряки пока что смастерили ей браслет-ошейник для отвода магнитных полей, а теперь вот решили на берег спустить,— он вытащил из-за пазухи черную извивающуюся кошку с желтыми глазами, с ошейником, сплетенным из медной проволоки. Она тут же расплосовала ему руку когтями.— Багирой зовут.

— Наверное, сиамская.

— У той расцветка другая. Это помесь кенгуру с носорогом,— моряк оторвал кусок курицы и бросил кошке. Та с жадностью заурчала над мясом.

— Пусть остается. В гостинице места много.

Незаметно в воспоминаниях летело время.

— Что везете?

— Я же сказал: последний рейс! А первый и последний снабженец обязательно привозит что, Вадим?

— Водку,— невозмутимо ответил тот.

— О! Старожил знает.

Вадим продолжал:

— Не только первый и последний, а и на протяжении навигации все подвозят. Сколько бы ни завезли, все равно высосут за зиму. Весной кончаются картошка, крупа, макароны, другие продукты, но первый снабженец по традиции всегда приходит с водкой. Раньше так и называлось: первый пароход с водкой. Я да-

же хотел репортаж с таким заголовком тиснуть,— задробили.

Уходя, Виктор задумался:

Что бы тебе подарить в честь встречи? О! Вспомнил,— он полез в карман,— у меня как раз два фальшфейера есть.

Да зачем они мне?

Пригодятся... А то запалишь на берегу, и я буду знать, что меня выкликаешь, приплыву.

— Вы же скоро уходите.

— Дня три простоим...

В бутылке еще оставалось, и мы сидели. Вадим заинтересовался фальшфейером.

— А что это такое?

— Трубочка, начиненная горючей смесью вроде напалма, горит и в воде и в земле,— стал объяснять я.— Ими снабжаются шлюпки, в случае кораблекрушения подавать сигнал бедствия. Чиркнешь вот с этой стороны...

И получилось так, как в том случае с бравым солдатом Швейком и железнодорожником: неизвестно, кто из нас чиркнул, но фальшфейер запылал.

Конечно, создатели не рассчитывали, что какие-то дурни станут зажигать его в закрытом помещении, тем более в гостиничном номере. Он горит слепящим огнем электродуги, разбрызгивая шматки раскаленной смеси и выделяя столько едучего дыма, что его вполне можно применять в душегубках. Мы сразу закашляли и заплакали горючими слезами.

С фальшфейером в руке я заметался по тесному номеру, рассыпая раскаленные угли, прожигавшие пол. Подскочил к открытой форточке — выбросить? А вдруг кто идет внизу по тротуару, не дай бог с детьми?

Кинулся в туалет, бросил адов огонь в унитаз и спустил воду. Куда там! Фальшфейер продолжал гореть и в воде, из унитаза валил сизый дым, будто там открылась заслонка в котельную.

В номере слышалось чье-то перханье и отчаянный визг. Сквозь густой дым из-под кровати виднелись ботинки Вадима, который залез туда, спасаясь, а в дверь билась обезумевшая Багира. Я выпустил ее, и дым повалил в коридор. Тотчас послышались крики: «Горим! Горим!», и я торопливо захлопнул дверь.

Что делать? А в гостинице уже поднялась суматоха, слышался толот многих ног, распахивались двери.

— Пожарных! Вызывайте пожарных!

В дверь забарабанили. Делать нечего — пришлось открыть.

— Что у вас?

— Ничего особенного. Загорелся фальшфейер,— успокаивающе ответил я.

За окном завывала сирена пожарной машины — до части один

скок. В дверь, уже распахнутую, стремительно влетел молодой лейтенант.

— Где горит?

Я снова объяснил ему про фальшфейер. Но этот сразу понял. Снаружи в окно стукнуло — выдвигалась пожарная лестница.

Лейтенант стал на батарею и высунулся в форточку:

— Рукав не надо!

Потом он критическим взором окинул сквозь уже рассеивающийся дым столик с опорожненными бутылками и ботинки Окрестилова, высовывающиеся из-под кровати.

— Хоть бутылки уберите,— посоветовал он.— Сейчас капитан придет, цацкаться не будет...

И так же стремительно ушел.

Вадим вылез из-под койки, протер очки.

— Чем хорош Север,— сказал он, будто продолжая неторопливый задушевный разговор,— никто ничему не удивляется. Тут и не такое видели. А бутылки не убирай, я капитана знаю.

И точно, он по-дружески обратился к вошедшему капитану в защитной форме, который на ходу раскрывал планшетку.

— Садись, Юра. Протокол не составляй, ведь ничего не сгорело. А дым сейчас выветрится.

Минуту капитан колебался, оглядывая вакхический стол, разгром, царивший в номере,— видимо, уже настроился допрашивать, распекать, репрессировать. Но потом взял протянутый Вадимом стакан с коньяком, хлопнул его и пробормотал:

— От жены я ушел...

— От Лильки-то? — махнул Вадим.— Ну и не желей. Она меня на Мамина-Сибиряка не подписала.

Капитан выглянул в окно — уехала ли машина — и тоже удалился.

— Хороший мужик,— кивнул Вадим.— Все сочиняет мне статьи под рубрикой «Пожарам — заслон!»

— Слушай,— сказал я Вадиму.— Поедем со мной! Ты знаешь тут все ходы и выходы, введешь в курс дела.

— Я в пастухи собираюсь податься. Побегая с годик по тундре за оленями, а потом книгу напишу — «Не убегай, друг!» Ну ладно, я уже давно не был в командировке, заkis. Завтра решим.

Новости на Севере распространяются быстро. Когда на следующее утро я обходил нужные мне учреждения «отметиться» и познакомиться, на меня поглядывали почему-то с любопытством. Одна секретарша не выдержала:

— Это вы вчера чуть не подожгли гостиницу?

У нее были светлые кудряшки и наивные голубые глазки. За такой явной наивностью, случается, скрывается развратная многоопытность.

Нет, я пытался ее взорвать — горячей воды нет, а холодная с перебоями, тараканы, скука, не с кем словом обмолвиться...

— Ха-ха-ха! А с кем бы вы хотели обмолвиться? — точно, набивалась. Надо взять на заметку. Но дел было много, и донимали другие заботы. В середине дня на улице повстречался Окрестиллов в запотевших очках.

— Ну, как дела? — бодрячески заговорил он.

— Плохо.

— Почему? — он остановился, стал протирать очки.

— Уже прозвенел на весь город. Обсуждают...

— Да ты что! — полуседая бороденка Вадима затряслась от возмущения. — Наоборот, это прекрасно! Меня уже чуть не разорвали — все тобой интересуются, просят познакомиться. Благодаря этому случаю ты сразу вписался в общество. «Наш человек» — единодушное мнение! Одним махом — и самая высокая оценка. Л другие годами бьются как муха об стекло и даже «удовлетворительно» не вытягивают. К тебе долго бы еще приглядывались...

— Да, но владельцы города...

— А владельцы так прямо потирают руки! Вчера утром ты был еще терра инкогнито, кто тебя знает, может, приехал вынюхивать, кляузы строчить. Теперь ты голенький, тебя самого можно за одно это выступление выслать в двадцать четыре часа. Город-то режимный, погранзона, не забывай.

— Перспектива... — сипло засмеялся я.

— Ты, можно сказать, устроил дымовую завесу, — зашептал Окрестиллов, хотя на улице никого не было. — И теперь под ее прикрытием можешь спокойно работать. В конце концов, что тебе можно инкриминировать? Всегда отбреешься: несчастный случай.

По пути завернули в горжилуправление. Начальник, благодушно глядя на нас, спросил:

— Так когда квартиру занимать будем?

Я положил ключ на стол:

— Если хотите, занимайте. А я человек мистический, проснусь ночью, а он у изголовья стоит. Лучше я пока поживу в гостинице. Может, выделите какую-нибудь другую.

Он скривился:

— Это не так просто... Впрочем, на Партизанской строится Деревянный дом, двухэтажный. В деревянный пойдете?

Видим мигнул, утвердительно кивнул.

Почему Же не пойду? Всегда мечтал жить в деревянном Доме.

— Ну, месяца через четыре сдается...

Когда вышли, Вадим сказал:

— Я знаю этот дом. Все рвутся в панельные, олухи, а на Се-

вере лучше всего жить в деревянном, радикулита не будет.

Как раз проходили мимо аптеки. Я вспомнил о флаконах, лежащих в кармане.

— Ну-ка, зайдем.

Заведующая повертела в руках флакон, испытующе поглядела на меня.

— Средство импортное, дорогое. Откуда оно у вас? Мы такого не получали.

— Тогда можете оставить себе. Только скажите, от чего?

— От эпилепсии. Принимается перед приступом, снимает напряжение.

— Значит, Петрович не зря сторонился людей,— задумчиво сказал Вадим на улице.— Видать, боялся, что Кондрат его хватит среди шумного бала...

— Да, появляются все более загадочные обстоятельства... Ты едешь?

— Еду.

— Тогда вот что. Сегодня еще глушим, раз уж а с завтрава — сухой закон. Нужно разгрести кучу дел.

— Заметано.

Несколько дней, пока перегрузчик переправлял на берег свой смертоносный груз, пришлось напряженно поработать, приводя в порядок дела представительского пункта. Хорошо, что я приучил себя: работа — одно, пьянка — другое, и никогда не смешивал. В накопившейся почте обнаружилось еще несколько актов рекламаций с приисков, и я представил, как насупится директор, получив их. Отправляя акты, я присовокупил коротенькое письмо о состоянии дел и о том, что еду по побережью.

На судне встретили нас приятной вестью, здесь имелась сауна. Для северян это большая редкость, и мы тотчас поспешили туда.

Сауна состояла из раздевалки, душевой и парилки — глухой каютки, обшитой мореными буковыми досками. В парилке два полка и электрокамин в виде каменки. Виктор нажал красную кнопку, и сауна начала прогреваться мощным жаром.

— Поддадите на каменку воды — вот вам и русская парная,— проинструктировал он и ушел.

Закрыв глаза, я лежал на верхнем полке, а Вадим стоял внизу, растирая свое бледное северное тело,— теперь такое же, без загара, будет и у меня долгие годы... И вдруг я почувствовал запах дыма и понял, что он курит! Преспокойно курит «Беломор». Страхивая пепел на каменку! Молча, мгновенно озверев, я бросился на него сверху, но он оказался проворнее и с гнусным смешком выскочил.

— Это тебе за фальшфейер! — крикнул он.

После того как я основательно изругал его на все корки и не

менее основательно проветрил парную, он как ни в чем не бывало появился из раздевалки и набросился на меня:

Уже и покурить нельзя! Скифская морда...

Рассолодевшие после парилки, не сговариваясь, мы вздохнули: Вот теперь бы...

— А в трюме ж у них есть! — оживился Вадим.

То, что в трюме, свято и неприкосновенно, — наставительно сказал я. — Тут не портовые амбалы — кадровые моряки

Еще Суворов говорил: век не пей, а после бани, укради и выпей.

— Неужто ты век не пьешь?

— Кажется, что век...

...Утро наступило золотое. Теплоход лежал на глади; лагуны, из репродуктора мощным валом обрушивалась бравурная музыка. Я поднялся на мостик, где стоял капитан с биноклем.

— Лорино, — сказал он, передавая мне бинокль.

Глубоко вдаваясь в голубую зеркальную гладь, тянулась длинная белая коса. От основания косы вверх на крутой берег взбирались дома. Среди одноэтажных деревянных особняков, словно военная колонна, стояли двухэтажные. Справа виднелись приземистые строения зверофермы.

Все это было залито щедрым солнечным светом, и, если бы не ветерок, изредка острой бритвой проходивший по лицу, можно было бы подумать, что это какой-то южный берег, но без пальм,

— Отмякла погодка, — появился Вадим, протирая очки. Теперь надолго будет тишь. Ну-ка, дай бинокль. Ага! Так и есть — нас встречают. Пилипок. Видишь черная фигура мечется по берегу и размахивает руками?

— Кто это?

— Директор совхоза.

— А как он узнал?

— Еще вчера позвонил ему.

Мы тепло простились с капитаном, со всей командой судна) совершавшего свой губительный рейс по побережью.

Пилипок встретил нас с распростертыми объятиями. Высокий, стремительный, в мятой кепочке из крашеной в коричневое нерпы, в распахнутом пальто, директор мне понравился. Он работал на контрастах: вот только что кричит, по-военному командует, рассказывает — и вдруг спохватится, улыбнется мягко, извинительно;

— Рассаживайтесь — и поехали! — скомандовал он, указывая на два самосвала и автоцистерну, что стояли на берегу.

— Куда?

В экскурсию по селу.

Погоди. Где танцевальный ансамбль? Где У ала? — требовательно спросил Вадим. — Узнал?

— Они в Нешкан поехали, потом будут на Горячих ключах Траур у нее.

— Петрович?

— А то кто же...

Вадим сказал:

— Таки отпусти Нам пройти интересно. Матвей еще не был, пусть посмотрит.

— Ну ладно,— Пилипок махнул рукой машинам: — Пока нимайтесь.

По селу бродили большие лохматые собаки, бегали замурзанные ребятишки, у домов на вешалах вялилась красная рыба, пламенея развернутым нутром.

— Бригада ловит гольца на озере, все село снабжает и район,— пояснил Пилипок.— Отменный голец, лучший на Севере.

Я подошел к ближайшим вешалам, отчекрыжил большим складным ножом шмат аппетитно сочившейся жиром мякоти и протянул.

— Угощайтесь.

Мякоть гольца была непередаваема на вкус нежная, сольная, ее можно было есть без хлеба.

— М-да...— проорчал Вадим, обсасывая пальцы,— Даже жалко употреблять без...

— Это будет,— бросил на ходу директор,— Деликатес! А раньше собак этим кормили.

— И сушеной красной икрой. Им-то нечего было жаловаться,— он пнул ближайшего пса, обнюхивавшего его ноги.

Так, озираясь, добрались до зверофермы — главного богатства села, как пояснил всезнающий Вадим. В клетках метались пугливые изящные зверьки. Голубой песец — мечта всех модниц. Собственно, они не голубые, просто белые шерстинки у них зачернены на концах. Это оттеняет воздушность меха, придает ему объемность. «Все беды зверей от женщин. Сколько животных мучаем и уничтожаем в угоду этим жадным созданиям... Мужчина убил какого-то овцебыка, мясо съел, шкуру напялил — и доволен. Много ли ему надо? А женщины... То им крокодила подай для сумочки, то ягуара для накидки, то песка на шапку. Давай-давай, поворачивайся, мужичок, зарабатывай гроши, благополучие, ну и ласку тех же женщин...»

Широкий проход разделяет клеточный городок на две части. Справа клетки стоят низко, почти на самой земле, а слева они подняты на высоких сваях.

— Вот эти, свайные, называются шеды, в них песцы зимуют. А низкие — летние, зимой их сплошь заносит снегом.

— Куда же песцы деваются? Уплотняют их, что ли?

Осенью забиваем. Оставляем только производителей.

Из-за клеток появилась девушка в цветастом платье и танцующей походкой пошла им навстречу.

Тоня Рагтына, заведующая,— представил ее Пилипок. Нежно-розовое лицо девушки зарделось, черные раскосые глаза робко глянули на нас. Какая же она заведующая? В пятом классе учишься? — так и подмывало меня спросить. Но когда она заговорила гортанным голосом, сразу стало ясно — специалист. Толково рассказала о делах зверофермы, получении приплода, рационе зверей, специально разработанном так, чтобы мех стал пышным и крепким.

Приняв меня и Вадима за высокую комиссию, она рассказала, какая беда постигла звероферму. Половина самочек в нынешнем году не принесла приплода — произошло так называемое саморассасывание плода.

В биологии это явление хорошо известно. Каждый вид животных внутренними методами борется против собственной перенаселенности, нехватки кормов и других коммунальных неудобств. У кроликов, крыс, белок в обычные сроки не появляется потомство — плод рассасывается в организме. Но самый трагический метод у леммингов. Раз в несколько лет они идут неудержимой многомиллионной лавиной по тундре к морю и топят в холодных волнах. Мне не приходилось этого видеть, но очевидцев встречал, и от их рассказов мороз продирает по коже.

На выходе из фермы я остановился. Мучила одна мысль.

— Вы упомянули, что скармливаете зверькам пушновит, который способствует росту волос... — я окинул красноречивым взглядом розовую проплешину в кудрявой шевелюре Вадима, о таких говорят: на чужих подушках вытерся.— Если его будет потреблять лысый человек, вырастут у него волосы?

Вадим напрягся. Она ответила деловито:

— Я бы не советовала это делать.

Он разочарованно вздохнул.

Некоторое время шли молча. Окрестиллов мечтательно противрал очки.

— Прелестна, прелестна,— проблеял он.— Как тундровый Цветок. И депутат! Замужем?

— Побаловался один механизатор и — в кусты, хотя кустов тут нет. А Тоня нянчится с ребенком.

— Что механизатор?

— Растворился. Даже алиментов не платит.

— Надо привлечь стервеца! — закипятился Вадим.

— Местные, как правило, на алименты не подают. Гордые. тому же считается что ребенок благо, чего же из-за блага судиться? Обычай!

— Для таких стервецов такой обычай действительно благо.. '

Я молчал, лихорадочно соображая. Несколько дней напряженной работы над бумагами, оставленными моим предшественником, не пропали даром. Там я обнаружил один листок, исписанный заказами, цифрами, адресами клиентов. Со стороны обычная бумажонка, а для меня это был ключ. Шифром, известным каждому толкателю, на листке была выписана цепочка преступных связей. Несколько фамилий, характеристики, предположения. Там значилась и Тоня Рагына, депутат, застенчивая заведующая зверофермой наша знакомая. Правда, против ее фамилии стоял знак вопроса.

Видимо, Петрович уже подбирался к загадке рекламационных актов, но что-то его остановило. Навсегда.

Вот почему я отправился в поездку по побережью, но отнюдь не в увеселительную, как полагали мои беззаботные друзья, с пенью, у рта обсуждавшие сейчас достоинства местных девушек.

Вдруг вдали раздались крики:

— Кит! Кит на берегу!

— Ага,— оживился директор.— Наконец-то вытащили. Китобоец «Звездный» шлепнул и бросил на якорь у берега — волна гуляла. А сегодня спокойно, вот и приволокли.

Туша кита аспидно-черным лоснящимся холмом возвышалась на желтом песке берега. В спине ее зияли продольные бело-розовые разрезы. Сделаны они для того, чтобы внутри не образовывались продукты гниения, газы: морская вода прополаскивала и промывала мясо кита, пока он качался на якорь. Кожа усеяна глубоко вьезшимися круглыми раковинками баланусов, морских желудей, ошибочно называемых иногда китовыми вшами. Они сидят поодиночке и целыми стадами. Подойдя ближе, видишь, как они раскрывают и закрывают свои створки, обеспокоенные отсутствием воды. Могучее животное, на котором они поселились, причиняя ему тяжкие мучения, мертво, а они еще живут. Но часы их сочтены. Такова участь всех паразитов, примазавшихся. А выбрали бы на дне камешек поскромнее, жили бы весь свой ракушечий век. Нет, лихой езды захотелось, изобилия и блаженства придворного лизоблюда! Доездились...

В ушных отверстиях копошатся и вши — бледные, плоские, когтистые твари, словно привидевшиеся в приступе «белочки». Хорошо, что они мне так ни разу и не привиделись...

Китов я не раз видел издали, плавая на судах, но для того чтобы понять все величие этого зверя, нужно увидеть его вблизи. Невольно возникает ощущение могучих стихийных сил — тайфунов, землетрясений, северных сияний.

Раздельщики в высоких резиновых сапогах орудуют широкими, похожими на алебарды кривыми ножами на длинных рукоятках

Сначала делают множество поперечных разрезов у хвоста с обеих сторон. Острые лезвия в умелых руках двигаются легко, со скрипом разрезая упругую кожу с середины туловища. Подсрочным в сантиметр слоем — нежно-желтоватое сало. Раздельщики ступая по разрезам, как по ступенькам, поднимаются на спину кита. Отделяют полупудовые куски красного, волокнистого, пористого мяса, цепляют их крючьями и бросают в кузов стоящей рядом автомашины, которая издали у туши кита кажется игрушечной.

Из села идут и идут женщины, дети, старики, у каждого за спиной на лямках, словно ранец, либо деревянная коробка, либо большая консервная банка. Они срезают острыми ножами наиболее лакомые кусочки и укладывают в свои «ранцы». Дети несут прямоугольники китовой кожи, словно деловые папки,— ручка прорезана в самой коже.

— Для чего это?

— Деликатес! Срезай скорее вот тут,— Вадим засуетился.— Лучшая закуска в мире.

Сам же и вырезал добрый шмат черной кожи.

— Газетку, газетку!

Из портфеля я достал смятую газетку и с опаской завернул в нее деликатес. Директор подошел и стал загибать пальцы.

— Звероферму посмотрели, кита посмотрели. Так, что еще? Остальное — потом. А теперь — на Горячие ключи!

По его команде подошли снова автоцистерны и самосвалы. Цугом, как раньше купцы на тройках, мы выехали по разбитой ухабистой дороге за село.

— а на Титьке! — донесся из передней флагманской машины могучий голос Пилипка.

— Титька — это что? — спросил я сидящего рядом коренастого русского шофера с могучим и волосатым и руками.

Тот сбил кепчонку на глаза, почему-то подумал:

— Это наша сопка.

Открылась даль. На зеленой равнине серебрилась речка, далее полукругом поднимались сопки с пятнами снега в распадках.

Машина дребезжит и стонет на ухабах. Одолевают думы.

— А вот и наша Титька.

Круглая сопка издали напоминает изящную женскую грудь — на вершине ее торчит тупая скала-останец. Все машины тормозят. У останца, и Пилипока вылезает из кабины с бутылкой и пластассовым раздвижным стаканчиком.

— Кто не выпил у Титьки, тот не жилец в наших краях, — изрекает он глубокомысленно, наливая. Традиция! Даже вертолеты тут садятся.

Вадим опрокинул первый и вытер бороду.

— Сколько ни мотаюсь по Чукотке, все традиции почему-то жидутся на сивухе.

— А как же? — удивился Пилипок. — Не воду же тут хлебать

Дальше ехать стало веселее. Даже немногословный мой шофер Иван Зацепин разговорился и поведал, что пять лет назад прикатил сюда из-под Чернигова.

— Ну и как, не тянет назад?

— А что я дома видел? Голова колхоза кричит: давай-давай. А как давать — сам ни бум-бум. Из учителей бывших. Начальство ублажает, приговаривает: пятьдесят лет крадем и до сих пор колхоз не разворовали, простоит еще. Ну и... А тут жить можно, — говорит он с будничным и несокрушимым оптимизмом истинного славянина, который то же самое сказал бы и на Венере. — Вот только машины — барахло, — он отечески-ласково хлопает по приборному щитку. — Проволочками все скреплено. Да ведь и дороги какие... не асфальтированные.

Горячие ключи открываются вскоре за очередным перевалом. Зеленый распадок, словно лежащий в больших теплых ладонях рыжих скал. Ковер мха и густых трав. Легкое марево стоит над маленькими белыми домиками, над рядами выгоревших палаток, над прозрачными сверкающими крышами теплиц. Мы уже были проинформированы Пилипком, что тут большая птицеферма, которая поставляет свежие яйца всему району, теплицы, где выращиваются огурцы, помидоры, салат, лук. Летом — пионерлагерь для детворы всего района, а осенью, когда школьники разъедутся...

Осенью здесь отдыхают и механизаторы с приисков, и олениводы греют кости, но также и разная подозрительная публика. Это уже информация Окрестилова. Кто именно гостит здесь сейчас, нам и предстояло выяснить.

За постройками блестело озерко, над которым колыхались прозрачные струйки пара. Плеск, смех, тот особый беззаботный гогот, какой издают купающиеся люди, — на миг показалось, что мы где-то на теплом пляже.

— Купаются?!

— А как же, — широко ухмыльнулся Иван. — Тут и зимой купаются. Сугробы выше головы, а вода-то теплая, парит...

Ну что ж. Быстро раздеваемся в дощатой кабине и прыгаем в воду, где уже нежится с десяток людей. Без мыслей отдаюсь той особой неге и теплоте, какие возникают, наверное, только в сновидениях. А подплыв к тому месту, где в озеро вливается прозрачный ручей по ложу из косматых длинных водорослей, чувствую мимолетное касание обжигающих струй — то идет вода источника.

Окрестиллов купается в очках, но не протирает их, а просто

окунает в воду и потом вздевает на нос. Мы лежим в воде из мягком отлогом дне у берега и вроде бездумно переговариваемся. На самом деле Вадим кратко характеризует каждого купающегося, незаметно указывая на него головой с проплешиной.

Вон тот гогочущий малый, который хватает за ноги двух девиц с телевидения,— деятель местной культуры. Рядом крутится оператор Акуба, тот, что с мочальной бородкой. Наверное, приехали что-то снимать — экзотики море! А поодаль с рыжей бородой и в очках сычом сидит и с завистью наблюдает за ним» Бессмысленный — местная достопримечательность, филолог с липовым дипломом.

— Что, разоблачили его? Отобрали диплом?

— Как же его отберешь, если он настоящий?

— Ничего не пойму. Ты же говоришь: липовый.

— Ну, ездил каждый год на сессию с торбой мехов и красной рыбы, сдавал... не экзамены, а торбы, конечно. И в конце получил диплом. Раньше корова через четыре «а» писал, теперь через три. А сам работает не то кочегаром, не то плотником.

— А диплом ему зачем?

— Сам спросишь. Однажды в пургу остановил меня на углу пьяный и стал жаловаться, что не знает, как расставлять абзацы. Дальше — толковый мужик Борисов, наш первопроходец с прииска «Отрожный». А вон оленевод Степан Ренто, бригадир. К нему и буду проситься в бригаду. У него характерная особенность: если приезжаешь к нему брать интервью без портфеля, он говорит, что русского языка не понимает. Наши знают, всегда к Степану с портфелем ездят.

— А в портфеле...

— То же, что и у тебя,— кивнул Вадим.— Дальше — еще один герой — начальник угрозыска капитан Рацуков в штатском. Его тут все знают. И не только тут — портрет напечатали на обложке какого-то журнала.

— Если кто-то кое-где у нас порой...

— ...честно жить не хочет. Попробуй повоюй с таким: кое-где, кто да еще порой... икс, игрек, зет. В микроскоп электронный не разглядишь. А он таких кое-где имеет, не один обезвреженный злодей на счету, потому как не кто-то ворует, а все. Пытались ухлопать из-за угла, да он всегда с овчаркой ходит, свирепая зверюга, без масла сожрет. Дальше — два местных начальника соревнующихся коллективов,— видишь, и тут друг друга торопят. Живописная группка. А вон у бережка невзрачный тип... вон, видишь?

— Тот, что глаза закрыл?

Ага. Это Касянчук, злодей из злодеев. Всегда с портфелем ходит, только в портфеле не то, что у тебя. Однажды пьяный за-

был в гараже, один шофер надыбал, раскрыл и глазам не поверил...

— Порно?

— Пачки в банковской упаковке. Не меньше ста тысяч. Ну шофер скоренько закрыл его и бросился...

— В милицию?

— Не такой он болван. Разыскал Касянчука и вернул. Так тот, гад, даже полфедора ему не поставил.

— И все знают?

— Деньги законные. Он заместитель председателя артели, ездит, выбивает горячее, списанную технику, закупает продовольствие. И платит не чеками, а наличными артельными деньгами.

— Вроде толкателя. Только методы северные, местные.

— Каждая артель так выкручивается. Кто-то горбатится, а кто-то раскатывает, добывает все. Для этого юркость нужна. Пошли тухтю, вахлака — он или прогорит, или растеряет все. В любой артели свой добытчик.

— Ну а почему злодей?

— Втемную работает, не как остальные. Людей толкает на преступление, а сам выходит сухим. Уже по трем процессам проходил свидетелем, когда его законное место — на лавке. Не один хозяйственник по его вине рыбкин суп хлебает многие годы.

— Честного человека не толкнешь...

— Как сказать. Честность тоже разная бывает. У одного на рубль, у другого — на тысячи. Потряси перед стоим носом таким портфелем со стегаными пачками, что закукуешь?

— Я руководствуюсь простым экономическим расчетом: красть нерентабельно. Даже если украдешь сумму, при раскладе на годы отсидки будет пшик. Сам знаешь, стеганные пачки во мне дрожи не вызывают. Иначе давно бы уже чулок натолкал...

— Да, это верно,— легко согласился Вадим. Он всегда легко соглашался, когда улавливал правоту собеседника. А правоту он умел улавливать с лету, схватывая суть.— Такие уж мы непутевые... Вон тот чернявый, юркий — Альберт, гельминтолог.

— Специалист по паразитам?

— Он самый. Каждый раз при встрече спрашиваю: много ли тут паразитов? А он говорит: много, и все за полированными столами сидят, никакой химией не вытравишь

— Ты забыл представить толстопузого дядю в черных очках, который залез прямо в струю. Но удовольствия, похоже, не испытывает, физиономия кислая.

— Его я оставил напоследок. Потому как местная достопримечательность номер один. Это и есть Верховода. А морда у него всегда кислая — наверное, считает, что так должен выглядеть великий человек.

М-да... Публика разношерстная. Всегда тут такая или собралась по поводу какого-то события?

Окрестилов заперхал, как овца.

Нимфочек из ансамбля ждут. Они вот-вот должны быть. Телевизионщики, наверное, съемку проведут, а эти... полюбоваться. За исключением, конечно, передовиков — они тут сами иа милости. Осенью пускают отдыхать. Степана как-то в Крым занарядил и по горячей путевке, так он на третий день — на самолет и удрал. Говорит, такой жары не выносит. Дело, правда, было в декабре.

-Ну-у...

Вадим пополз на оерег, а я сквозь прищуренные веки продолжал наблюдать за собравшимися. Для себя я сразу выделил троих: Касянчука, Рацукова и Верховоду. Все они фигурировали в зашифрованном послании Петровича, а последний так был подчеркнут даже двумя жирными чертами. Какая между ними связь? На озерке они образовали как бы незримый треугольник. Рацуков наблюдает за теми двумя? Но почему делает так открыто — ведь его все знают? Или давит на психику? А может, только своим присутствием пытается предотвратить очередное темное дело?

Мысли мои все возвращались к саморассасыванию зародышей у самочек песцов. В обязательствах, вывешенных прямо у входа на звероферму, я отметил, что тут собирались получить по 5,5 щенка от каждой самочки. А получили по 2,4. От этих цифр веяло мистикой. Как можно получить половину и даже четыре десяти х щенка? Конечно, я понимал всю эту плановую казуистику — одна самочка принесет пять щенков, другая — шесть, вот и получается на двоих по пять и пять десятых. На взгляд непосвященного цифры выглядели странновато.

И еще. Заведующая-девчушка с розовым смуглым лицом. Против ее фамилии стоит знак вопроса. Что хотел сказать Петрович? Посмотрев в ее чистые глаза, я вдруг решил для себя, что она не может быть замешана. Разве по неведению.

Рядом плюхнулся Вадим.

— Сюрприз...

— А что такое?

— Нимфочки будут здесь только пролетом — для съемок... Искупаются и летят дальше, в Лаврентия. Там конференция какая-то, вот они и должны вечером выступать.

— Откуда узнал?

От Филиппа. У него рация, связь держит.

Для кого сюрприз? — я подумал, что в первую очередь то сюрприз для меня, — как теперь поговоришь с Уалой? Для того нужны обстановка, настроение...

— Кое-кто надеется, что нимфочки здесь заночуют.

— А те... так уж склонны?

— Беззащитны, совершенно беззащитны! — с бороденки Окрестилова сорвалось несколько капель.— Видишь, какие волки-схватил и поволок козочку. Что она мекнет?

— Но Пилипок!

— А он что мекнет? Искать себе новую работенку и ему не хочется... Во, летит!

В мареве над тундрой возник крохотный воздушный силуэт -«стрекозы», потом донесся легкий стрекот. Головы в озерке, как по команде, повернулись на звук. Стрекот перерос в гром, тяжелая машина, приминая траву и мох воздушным потоком, осторожно опустилась рядом с озерком. Замолк мотор, остановились медленно крутившиеся винты. И тишина стала еще более звенящей, напряженной.

Распахнулась дверка, пилот выбросил трап. И по нему, как в сказке, стали одна за другой спархивать (все-таки танцовщицы, не грузицы!) невообразимо красивые девушки. Вспомнился фильм моей юности «Женщины Востока». Нет, эти еще красивее, если можно красоту как-то сравнить.

Тоненькие, миниатюрные, изящные, одетые в свои расшитые легкие наряды для танцев (прямо с концерта или специально оделись для съемок), они сначала сбились стайкой, ожидая своего руководителя — коротышку с красным лицом, а потом танцующей ритмичной походкой пошли к озерку. Из него, как водяной дух, выметнулся оператор Акуба в пестрых плавках, подхватил с травы свою тяжелую аппаратуру и прямо так, голышом, заметался вокруг, снимая, командуя, что-то выкрикивая. Он заставил девушек не один раз пройти от вертолета до озерка, а потом по его указанию прямо на берегу они начали танцевать. Красноликий колобок дирижировал, взмахивая коротенькими ручками.

Меня всегда умиляли такие сцены. И раздражали. Почему-то операторы всех студий снимают танцующие или поющие ансамбли обязательно на траве-мураве, в тени берез или на берегу речек. Хотя в жизни такого никогда не бывает. Но кто и когда свернется с жизнью, если нужно показать танцующих пейзазов или потемкинские деревни?

Уалу я интуитивно узнал сразу. Среди робких и застенчивых местных девушек она выделялась, словно олениха среди косуль,— сравнение неуклюжее, но оно почему-то пришло на ум. Не по-сезонному высокая, с дикими раскосыми глазами, смелыми движениями, она как-то мгновенно входила в ритм танца, вся отдавалась ему, жила в нем. Все другие, хоровод девушек, служили ей как бы фоном. Солистка, прирожденная солистка...

Наконец голый, уже обсохший от усердия Акуба закончил съемки, обмяк, махнул рукой девушкам и поплелся со своей ка-

мерой; к строениям. Девушки, весело смеясь, раздевались и тут же одна за другой прыгали в воду. Уала оказалась еще красивее, чем ожидал. В ярко-синем купальнике она влетела в озерко, окутанная хрустальными брызгами, самой первой. И почему Вадим сказал что она «на грани»? Блестели смуглые тела, взлетали иссиня-черные косы. Я тут же ринулся в гущу смуглых тел. Два-три гребка — и я очутился рядом с Уалой. Крепко схватил ее за руку.

Ой, кто это? — она повернула ко мне смеющееся лицо, но не особенно удивилась. Вблизи я поразился, какие у нее глубокие, без блеска глаза. «Как омуты», мелькнула мысль.

— Уала? — спросил я.

— Да. А что?

— Тебе сообщение, — каждое слово было продумано, выверено, действия рассчитаны до секунды. За мной наблюдали с берега, все должно быть естественно.

— От кого? — она могла спросить и «какое сообщение», хода событий это не изменило бы. Но она сказала «от кого», чем облегчила мне задачу.

— От Петровича.

Улыбка угасла, но она не отпрянула, как я ожидал (потому и держал за руку).

— Сволочь!

Рука ее поднялась для удара. Отчаянная деваха. Она мне сразу понравилась несмотря на все, что я о ней слышал. А может, благодаря этому.

— Говорю правду. Меня прислали на его место. Ну-ка, нырни, я тебе что-то скажу.

Несмотря на нелепость этих слов — что можно сказать под водой? — она тотчас нырнула. Я нырнул вслед за ней и увидел ее распахнутые глаза, зыбко черневшие в зеленоватой глубине. Вода тут изумительно прозрачна — на это я и рассчитывал. Вплотную приблизив свое лицо к этим глазам, я обхватил ее за шею и сильно прижался своей щекой к ее щеке. Сразу же оттолкнулся и вынырнул.

Она появилась рядом, вид у нее был немного растерянный.

— Что? Что это такое? — двумя руками она откинула волосы со лба.

— Ты должна знать. На языке твоего племени это означает: У нас одно дело. Отомстить за его смерть. Я тебя искал. Если можешь, останься.

И, сильно брызнув ей в лицо, я беззаботно поплыл обратно. Иадим окунал очки в воду, чтобы получше меня разглядеть.

— Ну, соколик! Развлекся? Учти, все ляжет в твою папку.

— Знаю, — от напряжения мне немного сводило руки. Все-таки "Ровести такую блиц-операцию и чтобы никто ничего не понял.

— Идем.

Он провел меня в строение, где раздавался зычный голос Пи¹, липка: «Огурцы еще не нарезали? Быстрее, быстрее поворачивайтесь!» Мы зашли с заднего хода. В маленькой комнатке все оказалось заставлено водкой, минеральной водой и даже пивом. Вадим по-хозяйски открыл одну белую, поискал глазами:

— Все стаканы уже уволокли на стол...

На подоконнике стоял еще один, запыленный. Вадим выдул из него пыль и засохшего овода.

— Уже причащаетесь? Вон там в углу коньяк.

— Белая лучше,— Вадим тоже хлебнул полстакана, вытер бороденку.— Разморило в воде.

Мы вышли к озерку, и как раз вовремя. Руководитель ансамбля, краснолицый колобок, орал на Уалу, которая невозмутимо вытиралась полотенцем. У ног ее стоял чемоданчик.

— А как я без тебя полечу? Как выступать будем, ты подумала? Там же конференция районного масштаба!

— Плевать мне на масштабы,— громко и отчетливо ответила она.— Остаюсь, и все.

Она напоминала ленивую кошку, прихорашивающуюся перед самым носом разъяренной цепной собаки,— прекрасно знает, что той не достать.

— Опять за свои фокусы? — кипятился колобок.— Ну, я тебя... я тебя...

— Только не ты,— дерзко бросила Уала, поворачиваясь к нему гибкой спиной. Колобок зашипел от злости. Неизвестно, на что бы он решился, но тут негромкий звук, словно цоканье, привлек его внимание. Цоканье раздалось из воды, где лежал с кислой гримасой Верховода. Из колобка будто разом пар выпустили. Он послушной рысцей подбежал к Верховоде, наклонился над ним в классической позе угодника.

Мы стояли вообще-то -далеко, но то ли звуки по воде хорошо разносятся, то ли настал момент затишья (позже я понял, что он-таки настал: говорил Верховода!), а только слышно было все, что изрек, не разжимая губ, толстяк:

— Чего там. Если девушка хочет... незаменимых у нас нет...

Наверное, решил, что она из-за него осталась, а может, еще что...

Колобок будто и не орал только что, синяя от злости,— вот чем меня восхищают приспособленцы: не тягаться с ними в мгновенных метаморфозах даже очень заслуженным артистам! Тут же он стал деловито распоряжаться и погнал стайку робких деvушек к вертолету.

— Пообедаем в Лаврентия... там уже ждут!

Видимо, боялся, что еще кто-нибудь из танцовщиц проявит

непокорность. Уала, перекинув полотенце через плечо и подхватив одежду, своей ритмичной походкой прошла мимо к домикам, метнув на меня короткий, ко обжигающий взгляд диких глаз..

Видал, видал? — зашипел рядом Вадим, протирая пальцами очки.— Чего ж она вдруг осталась? Ох и фокусница... Выпрут ее когда-нибудь из ансамбля.

Выпереть легко... А где такую найдешь?

Наконец Пилипок вышел из домика и зычным голосом пригласил «дорогих гостей» к столу. Все торопливо оделись и потянулись на зов.

Стол был действительно богатый: на тарелках зеленели только что снятые с грядок огурцы, пышные стрелы лука, широкие листья салата, атели помидоры. Золотились целиком поджаренные куры, краснели пласты нарезанной рыбы, сочившиеся розовым жиром, в центре пламенела в большой миске икра с воткнутой по традиции деревянной ложкой. Умел подать Пилипок!

«Дорогие гости» рассаживались вроде бы случайно, вразброд, но как-то так оказалось, что во главе стола сел Верховода в темных очках, с неизменной кислой гримасой, ошуюю, то есть слева,— капитан Рацуков в штатском, далее примостился культурный работник районного масштаба.

Одесную Верховоды, то есть справа, оказалась... Уала, уже усиевшая переодеться в джинсы и полупрозрачную кофточку. Я минуту остолбенело смотрел на нее, в сознании на миг все будто перевернулось: неужели она заодно с матьее?

Но вдруг я снова поймал ее короткий взгляд и такой же короткий, почти неуловимый кивок. Да ведь там она и должна сидеть, маскируя подлинную причину того, почему осталась. Если маскировала...

Но я знал и другое: местные девушки никогда не предавали. Их можно было обвинить в чем угодно: в легкомыслии, замкнутости, импульсивности, отчужденности, но только не в предательстве, не в коварстве. Более присущи им были доверчивость и простодушие, чем холодная расчетливость, а уж говорили они, как правило, то, что думали. Я немало поколесил по Северу и предмет изучил.

За столом меня ожидал еще один сюрприз: здесь оказалась и Тоня Рагтына, заведующая зверофермой с нежно-розовым липом. А около нее — злодей Касянчук, нашептывающий ей что-то на ухо и тщето пытавшийся придать своим незначительным чертам лихость сердцееда. Она хихикала, отталкивая его ладонькой.

«Волки» расселись кто где, алчно поглядывая на немногочисленных девушек. Специально уронив вилку (старый, избитый, но Действенный прием), я прытко нагнулся и увидел красноречивую икру ног.

Никто не заметил этого маневра, а Уала заметила. На ее губах заиграла чуть заметная улыбка, хотя она и не смотрела в мою сторону.

Зато прямо в упор на меня уставился сквозь толстые очки сидящий напротив Сыч с липовым законным дипломом и многозначительно гладил бороду как-то по-особому — от шен к подбородку. Зачем он-то здесь?

— Дорогие гости! — поднялся с полным фужером коньяка Пилипок, и на миг воцарилась тишина — первый тост. — Мы рады приветствовать! Пьем за! Ура!

— Ура-а! — подхватили все, опрокидывая фужеры, рюмки, стаканы. Зазвенели вилки, тарелки, началась всегда добросовестная работа — тут зажмурясь можно было ставить знак качества. Кто с треском разрывал курицу, кто зачерпывал ложкой красную икру, кто хрустел огурцом.

Я дал зарок не перебирать, хотя и чувствовал, что сегодня меня не возьмет. Но одно дело — крепко держаться на ногах, а другое — наблюдать и анализировать. Поэтому первый фужер выпил до дна, а потом стал половинить.

— Предлагаю выпить за хозяев этого прекрасного уголка природы, где нас встретили так щедро и гостеприимно! — поднялся, воинственно выставив вперед мочальную бородку, Акуба. — Мы бывали в разных краях, но здесь... Ура!

И за это выпили. Потом пошли тосты за прирост поголовья, успехи в личной жизни и за счастье в труде, за молодого растущего товарища Пилипка, за скромных незаметных тружеников, а Сыч вдруг предложил выпить за мир и дружбу, хотя совершенно не пил, только поднимал фужер.

Но остальные с воодушевлением выпили за мир и дружбу.

— Слушай, а почему Сыч не пьет? — шепнул я Вадиму.

— У него торпеда! Боится коньки откинуть, заячий хвост. А какой толк от того, что небо коптит? Когда пил, хоть человеком был, а теперь дурак дураком.

Курили прямо за столом, женщины, за исключением Тони Рагтыны, тоже смолили вовсю. Уже к тому времени, когда закурили первую, можно было подбить итоги. Все пили истово, осторожничали Рацуков, районный работник культурного масштаба, Касянчук, Уала и Пилипок. Не считая меня. Осторожничает ли Верховода, было трудно определить — все знали, что он мог влить в себя бочку и еще куролесить.

Следовало тут же проанализировать обстановку. Культурного работника можно исключить — хроническая трусоватость, свое допьет под одеялом. Пилипок хозяин. Уала ждала разговора со мной. Оставались Рацуков и Касянчук. Незримый бой? Может быть, открыться Рацукову, показать ему зашифрованное сообщение

Петровича? Тогда моя задача упростилась бы, точнее, облегчилась.

Но я уже давно привык избегать легких путей. А также отделять форму от содержания. Это только в творениях бездарных сатириков (а порой и серьезных писателей!) достаточно герою зайти к прокурору или начальнику милиции и открыть им глаза, как злодеев выводят уже в наручниках. Сразу же возникает закономерный вопрос: а чем занимались до этого прокурор или милиция, почему сидели с плотно зажмуренными глазами? Сколько мне! приходилось видеть бесхребетных прокуроров и бездельных милиционеров! И в такое время снимается многосерийный фильм о бравом полковнике милиции, который во время своего отпуска, презрев отдых, больные гланды и молодую жену, рискуя самым дорогим — карьерой, ловит злодеев. Хотя все знают, что он в служебное время их не ловит... Кто-то назвал этот фильм клеветой на нашу действительность.

Веселье набирало обороты. Включили магнитофон. Чьи песни самые любимые? Того, кого клеймят со всех трибун или делают вид, что вообще неизвестен. Парадоксы нашего двуличного бытия. Шум, гам, дым коромыслом. Пилипок кричал через стол Окрестилу:

— Пью за тебя, дорогой друг! Помнишь, как мы таскали бревна, подкладывая их под вездеход, когда заблудились?

Начались танцы, вернее вихляние в твисте. Чем хорош этот твист — целый гурт мужиков может плясать с одной женщиной. Так что наличного прекрасного пола хватило на всех — выбивали каблуками так, что, казалось, щепка летела от половиц. Я влез в гурт, стараясь не упустить из виду всех интересующих меня особ. К моему удивлению, Верховода тоже пошел выплясывать — Да как! Он напоминал кабана, вошедшего в раж. Но была в нем какая-то тяжеловесная грация и экспрессия.

Я все пытался подобраться к Уале, чтобы шепнуть ей, когда и где встретимся, но напротив упорно выплясывал трезвый Сыч, сверля меня глазами и всякий раз преграждая дорогу. «Сбить его под шумок, что ли?» — подумал я и вдруг заметил, что Касянчук, а вслед за ним Рацуков незаметно исчезли. Значит, злодей взят под жесткий контроль. Рацуков упорно не выпускает его из виду, капитан свое дело знает.

Добравшись до выхода, я вывалился наружу в распахнутые Двери и сразу очутился в прекрасном мире северной ночи, уже посенному холодноватой, хорошо отрезвляющей.

емноты не было. Над тундрой стояло зыбкое сияние, в котором хорошо различались строения, блестела гладь озера, слегка ярившего в холоде ночи.

Нигде никого. Но когда я вывалился, то краем глаза заметил

смутно мелькнувшую тень у одинокой дощатой кабины-парилки. Закурив, я беззаботно направился туда, ступая как можно тише.] Впрочем, эта предосторожность была излишней — мягкий мо* пружинил под ногами, словно поролон.

Пройдя тем же беззаботным шагом мимо дощатой кабинки я увидел, что за ней никого нет, но изнутри слышались тихие го' лоса. Быстро метнувшись в сторону, я прижался к тонкой доща- той стенке. Слышимость стала отличной.

— ... а чего с собой-то не взял? — спросил чей-то голос.

— Как передашь, кругом глаза. Кто знал, что подвернется та- кой момент...

— Ладно, в городе. Сколько?

— Как всегда, десять кусков. Дело-то будет закрыто? Концы не высунутся?

— А кто ведет. Ты меня за дурака не держи.

— Но заявление Уалы...

— Кто ей поверит? Истеричка... Она...

Послышались чьи-то тяжелые шаги, фыркание. Голоса смолк- ли, а я как можно быстрее отбежал от дощатой будки, стал, по- куривая, будто любовался северной ночью. «Вот тебе и Рацуков, вот тебе и железный ловец злодеев», — бухало в висках.

— Сейчас я вам покажу, — раздался сзади сиплый голос, и, обернувшись, я увидел подхолившего Сыча, умудряющегося то- пать даже по мху. Сообщник? Следил за мной, а что видел? — Сейчас покажу.

И, неожиданно взяв меня под руку, он повлек куда-то в тем- ноту. Пройдя несколько шагов, остановился. У ног что-то булькало, и я разглядел деревянный колодец, в котором бурлила и густо парила вода.

— Вот! Кладем десяток яиц в сетку и опускаем — через не- сколько минут готовы вкрутую.

— А для чего варить-то здесь? — тупо спросил я.

— Как для чего? — очки его восторженно блеснули. — А леген- ду вы слышали?

Я понял, что передо мной редкостный остолоп. Сразу отлегла от сердца — если кто и мог усыпить подозрения тех, кто засел в парилке, то только этот балбес. Я дружески взял его под руку, как он меня до этого.

— Ну-ка, ну-ка! Это интересно, — и повлек его к парилке, а по- том вынудил остановиться рядом с ней. И добровольный экскурсо- вод, захлебываясь, поведал мне длинную историю о том, как ранен- ный охотниками олень прибежал к источнику, лег в него и тад исцелился. Окрестный народ был настолько поражен чудом, тоже стал окунаться в озерко, — и что же? Параличные восстав- ли, слепые прозревали...

g терпеливо слушал эту белиберду, злорадно представляя, как Сливаются потом в парилке злоумышленники — от страха, бес- сильной злобы и от душившего их пара, какими словосочетаниями обладывают энтузиаста. Это была моя маленькая месть. Большая еще предстояла.

В домике распахнулась дверь, и донесся мужественный не- повторимый голос любимого барда:

Мои друзья хоть не в болонии,
зато не тащут из семьи...
А гадость пьют — из экономии,
хоть поутру — да на свои!

Мы сразу же пошли назад. В домике для гостей обстановка резко изменилась. Все рассыпались вдоль стен, а посреди тесного залячика под визжащую магнитофонную музыку и хриплый рев плясала Уала. Закрыв глаза, устремив вверх лицо с блуждающей сомнамбулической улыбкой и сплетенные руки, она летала по кругу, смуглая, с рассыпавшимися воронова крыла волосами. Она то замирала на мгновение, то в бешеном порыве устремлялась куда-то, будто хотела взлететь, и с последними тактами бурного финала взлетела-таки на стол, прошла по нему, а потом, оста- новившись на краю, вдруг рывком устремила в угол тонкую руку с напряженно вытянутыми пальцами:

— Убийцы! Убийцы! Убийцы!

А в углу как раз стоял Верховода со своей всегдашней кислой, но в то же время блаженной улыбкой, окруженный свитой. У него от неожиданности отвисла челюсть и сами собой свалились тем- ные очки. Я увидел его закисшие глазки-щелочки и вдруг понял, кого он напоминает: капитан-директора плавзавода Винни-Пуха, сннемордого, опухшего, с такими же глазками-щелочками, где ничего нельзя прочитывать. Только тот никогда не носил черных очков, вот почему сходство не сразу бросалось в глаза.

— Убийцы! Убийцы! — продолжала кричать Уала, топая но- гами. К ней сразу бросились Пилипок, культурный деятель и еще кто-то, схватили и, отбивающуюся, унесли.

Наступила неловкая тишина, как всегда после скандала. Кто- то подбирал с пола бутылки и разбросанную закуску, кто-то рас- ставлял опрокинутые стулья.

— Не надо было давать ей пить,— благодушно вещал жирный голос. Как хлебнет да пойдет танцевать, что-нибудь да учудит. Верховода, нашарив очки на полу, тут же повернулся и ушел, за ним потянулись прихлебатели. Под шумок появился Рацуков — на него было жалко смотреть: мокрый, будто в одежде плюхнулся в озерко. Зыркнув глазами туда и сюда, тоже исчез. Остались не многие.

— Видал? —дохнул на меня сбоку Вадим.— Уалу в работе видал? Во-от... Она такая. Все ей нипочем.

— Куда ее поволокли?

— В палатку. Пьяная в дупель. Ничего, в палатке быстро проспится, там свежий воздух.

Странно, когда она успела нахлебаться? Ведь я видел: держала себя в узде. Значит, кто-то спровоцировал, пока я слушал дурную лекцию Сыча об умирающем олене...

Под бравурную музыку оставшиеся зашевелились, пересмеиваясь, снова рассаживались. Вадим поднял наши опрокинутые стулья, и опять напротив меня очутились блестящие очки Сыча. Повинуясь внезапному порыву, я спросил:

— А вы чем тут занимаетесь?

— Как чем? — он даже удивился.— Работаю директором этого комплекса. Приступил к обязанностям.

Я с чувством пожал через стол вялую ладонь директора комплекса:

— Рад был познакомиться. Вашу лекцию никогда не забуду. Ее нужно отпечатать в типографии самым крупным петитом.

— А вы знаете,— он сразу оживился,— мы и планируем...

— Итак, дорогие гости, приступим к своим обязанностям. Сейчас пьем только за дружбу! За друж-бу! — раздался зычный голос Пилипка.

Я был озабочен только одним: где же найти Уалу. Если отключилась, то придется теперь ждать утра.

Ну что ж, нам не привыкать ждать.

Переночевали с Вадимом тоже в какой-то палатке, а утром, пронятые дрожью до костей — за ночь все тепло вытекло наружу,— вылезли.

— Скорее к озерку,— процокотал он.— Там согреемся.

На дне еще непотревоженного озера виднелся каждый камешек, каждая прядь изумрудных водорослей. Вода густо парила. И опять это удивительное погружение в сон — плывешь невесомо и оглядываешь четко-нереальный мир таинственного дна.

Раздался сильный плеск, рядом прорезало воду чье-то стремительное тело. Меня обхватили за шею, чье-то лицо прижалось к моему. Совсем близко я увидел дикие раскосые глаза...

Мы вынырнули разом и услышали гогот Окрестилова:

— Уалочка-а! Не утопи моего друга. Он и так утонет, если ты захочешь...

Я сильно плеснул несколько раз, чтобы заглушить свой тихий вопрос:

— Что случилось?

— Сорвалась... Гады! — она быстро поплыла к берегу.

Вадим уже вылез из воды и дрожал на утреннем холоде.

девственной прозрачной глади озера остались плавать окурки и размокшая пачка из-под «Беломора».

Вадим,— я с омерзением выбросил все на берег.— Тьфу! Небуду больше купаться с тобой.

— Ну какая зануда! — вызверился он.— Нигде покурить нельзя... Сам ведь куришь?

— Но не сую окурки в душу... Кстати, брось сюда мою «Стюардессу».

Уала лежала рядом в том же ярко-синем купальнике, положив; мокрую голову на берег и закрыв глаза.

— Дай,— не раскрывая глаз, сказала она.

Я вытер руку о береговой мох, прикурил сигарету и осторожно вложил в ее синеватые, красиво очерченные губы. Она затянулась так, что сигарета застреляла. Вадим куда-то исчез, но тут же вернулся.

— Вы чего здесь купаетесь? — над нами стоял Сыч с полотенцем через плечо.— Идите вон в закрытый бассейн. Закрытый,— повторил со значением, ведь это слово означало для него неземные блага, которые обычным смертным недоступны.

Он указал на парилку. Уала стрельнула своим коротким взглядом:

— Иди, иди... Мы следом.

Сыч поплелся, оглядываясь через плечо. Никогда не видел, чтобы человек мог поворачивать голову на сто восемьдесят градусов,— это умеют только совы. Не зря он показался мне сычом...

Уала лениво поднялась, бросила окурки в воду (Вадим красноречиво зыркнул на меня, но я промолчал), и мы вдвоем отправились за Сычом.

В дощатом строении свет выбивался из-под воды в квадратном бассейне, и зеленоватые блики играли на мокрых потемневших стенах. Вадим прыгнул в бассейн, и тотчас его с ревом вынесло на узкий полук:

— Кипяток!!! Обварился...

Уала села и стала болтать в воде ногами. Я перегнулся через полук — не знаю, чего искал, но нашел совсем не то, на что надеялся. А может быть, и то. Вадим даже охнул, когда я выволок початую бутылку коньяку и хвост гольца.

— Кто-то жировал... Ну и нюх у тебя! А стакан там есть?

— И стакан оставлен заботливо, а может, спьяну.

Сыч вдруг подмигнул нам:

Это городская одна тут была... с одним... тс-с!

Сыч стал бриться безопаской, глядясь в круглое карманное зеркальце.

— Устал вчера, ох устал! — жаловался он.— Понимаете, утром проснулся одетый на койке, хватать за галстук — а галстука нет.

— А вы что, всегда в галстук спите?

Уала захохотала и упала в бассейн.

— Ох и водичка...— застонала она, сладостно раскинув руки.

— Это я еще послабже накануне воду сделал, подвел специально для гостей холодный ручей. А иначе только я могу высидеть — вода-то прямиком из колодца идет, где яйца варят.

Мы беззаботно резвились, брызгая на ежившегося и взвизгивающего Сыча. Он вдруг выскочил, и через минуту мы почувствовали, что в воде уже не высидеть.

— Чтобы знали! — с торжеством объявил Сыч.— Отвел холодный ручей, теперь я купаться буду.

И он, зажав нос и закрыв глаза, прыгнул в кипяток будто с вышки. Да еще и взвизгнул протяжно.

— Все-таки рождает русская земля богатырей,— одобрительно заметил Вадим.— Ну, кажется, согрелись.

Я подмигнул ему, и он сразу все понял. Уала тоже поняла.

— Идем, покажу свою палатку,— просто сказала она.

Ее палатка стояла крайней в длинном ряду, и, проходя мимо соседней, я заглянул туда — пусто. Значит, в ее палатке можно разговаривать без помех. И все же я сел у входа, пока она в глубине растиралась полотенцем и одевалась. И говорил, не особенно повышая голос. Кратко рассказал о зашифрованном послании Петровича и о том, что веду собственное расследование. О результатах его пока умолчал, даже тут не следовало балабонить и расслабляться: интуитивно я чувствовал незримую опасность, да и не хотел преждевременно раскрывать все карты. Хотелось посмотреть «а ее реакцию».

Она сидела в глубине палатки, уже одетая, обняв колени в джинсах и мерцая раскосыми глазами. Странно: на свету ее глаза не блестели, а тут прямо светились. И к тому же косили,— мне стало не по себе.

— Чего ты хочешь от меня? — вдруг резко спросила она.

— Правды,— спокойно ответил я.

— Зачем?

Она задала трудный вопрос. Но правомерный. Ей хотелось знать, что двигало мной: боязнь за свою шкуру, приказ начальства «ли желание возникнуть. Нельзя было не восхититься ее проницательностью, и я был вынужден ответить. А если бы заговорил вдруг высоким штилем и стал блять о борьбе за справедливость, она плюнула бы мне в глаза и ушла.

— А ты подумай.

— Не хочу думать! Сам скажи! — отрубила она с прямотой, присущей людям ее племени.

— Ну что ж, если настаиваешь... можешь верить или не верить. Просто я такой.

Она молчала, испытующе глядя. Ее глаза совсем скосились, будто перед ними подвесили блестящий шарик гипнотизера.

— И всегда был таким.

Верю,— вдруг сказала она.— Так я и думала. Потому и осталась. Но не знаю, скажу тебе что-нибудь или нет.

На том и порешили,— я встал и вышел из палатки. Быстро обогнул ее — за торцом никого не было. От домика уже доносился голос Пилипка, скликавшего всех к кормушке. Когда я направился туда, меня догнала Уала и пошла рядом. Пилипок посмотрел на нас мутными глазами, но ничего не сказал.

Завтрак начался в тягостном молчании. На столе стояло всего две бутылки белой и одна шампанского, а закуски по-прежнему было в изобилии, правда холодной. И хотя под конец завтрака обстановка разрядилась, стало предельно ясно: забавам пришел конец. Пора было расплзаться по домам и весям.

Уала все время держалась рядом со мной, даже за столом, и я угрюмо спрашивал себя, зачем она это делает, стараясь не обращать внимания на косые взгляды и кривые ухмылки. Дорогих гостей значительно поредело — не оказалось Верховоды и иже с ним, Касянчука и других деятелей, наверное, укатили рано утром. Так и было: уехали на рассвете первой очередью самосвалов и автоцистерн, которые должны ввт-вот вернуться и забрать остальных желающих.

А вот Рацуков тут, и я пару раз поймал пристальный взгляд его белесых ледяных глаз. Видимо, капитана озадачил мой внезапный союз с Уалой, который она так старательно афишировала, и навел на размышления. Преемник Петровича — и тут преемник? Должно озадачить. А мне до сих пор было неясно, зачем она решила вызвать огонь на меня. Предстояло выработать новую тактику...

После завтрака я завалился в палатке, вроде подремать, а на самом деле лихорадочно анализировал обстановку.

Вчерашняя сцена и сегодняшняя замкнутость Уалы говорили явно в ее пользу, и я сразу ее исключил. Прорисовывалась связь: Касянчук — Рацуков. Ай да гроза жуликов! Когда же он сломался? Водили-водили под носом приманкой, и он наконец не выдержал, хапнул. Касянчук сказал: «Как договаривались, десять кусков». Из этого трудно что-либо заключить, в первый раз или не^в первый. Рацуков упрекал своего сообщника, почему тот не привез^{вез} деньги сюда, на Горячие ключи. Значит, в городе он не чувствовал себя в безопасности, боялся. Кого, чего? Видимо, работал се-таки в одиночку, опасался, что его либо продадут сообщники, ибо накроют во время передачи взятки.

- это только в кино да в некоторых детективах взятки дают и берут, как пирожное в кафе. На самом деле передача взятки — про-

цесс трудоемкий и чрезвычайно опасный. Почти то же самое, что убить человека,— и срок дают подходящий. Крупную взятку йотом нужно прятать, перепрятывать, словно тело убиенного, и то еще при условии, что все пройдет гладко. На сберкнижку не положишь, это то же самое, что крикнуть по секрету всему свету. Тайна вклада раскрывается по первому требованию работника милиции. и тогда возникает законный вопрос: «Откуда сумма?».

А передача и прием? Оба, и датель и братель, никогда не уверены до конца, что во время этой операции па их запястьях не сомкнутся наручники. Идут-то на это не под влиянием родственных чувств, а в силу жестокой необходимости, под давлением. И оба смотрят друг на друга с ненавистью и подозрением: что там на уме у партнера? Чужая душа потемки, а в том мире, где они подвизаются, царит один закон: сожри или задави другого.

У меня было много возможностей ступить на этот легкий, такой приятный (только гребни деньжата!), но весьма скользкий путь. Но я никогда не становился. Помнится, одна добрая женщина, которой я помог, под видом «дополнительных документов» сунула конверт с купюрами, и я носил его в портфеле, не раскрывая, два дня. А когда раскрыл... сел на междугородный автобус и помчался к этой женщине.

— Вы хоть понимаете, что делаете? Я помог, а вы за колючую проволоку толкаете...

— Но ведь я от души... никому, даже перед смертью,— растерянно бормотала она.— Никто не знает и не узнает.

— Верю, верю. Если бы узнали, уже повязали бы. Но дело в другом. Возьму у вас, у другого, у третьего. И привыкну. А в конце все одно — полированная лавка. Это как наркотик. Нет, вы мою душу не трогайте...

Вернул, но не убедил. Видать, решила: мало дала. Как это — все берут, о душе никто не думает.

Первая затяжка у Рацукова или не первая? Вопрос имел не столько принципиальное, сколько практическое значение. Для меня. Если брал раньше, то технологию отработал, застукать будет трудно. А если не брал, то будет поступать по-дилетантски, долго ходить вокруг да около, делать ошибки. Все взятовики по-немногу дилетанты, учатся в основном на собственных ошибках, соответствующих курсов нет. А самое главное: почему оба здесь очутились? Имеют ли отношение к саморассасыванию зародышей у самочек песцов? Два и четыре десятых щенка... Эти четыре десятых представлялись мне то с хвоста, то с головы. Как мюнхгаузенская лошадь...

Кажется, я все-таки задремал, потому что разбудил меня голос Вадима. Надо мной качались его запотевшие очки, полуседая борода. За палаткой слышался рокот моторов.

— Едешь или останешься?

А что мне здесь делать? Пилипок едет? Мне позарез нужно выяснить у него кое-какие вопросы.

— Конечно, едет.

Взяв портфель, я направился к знакомому мне «ЗИЛу», открыл дверцу и... на секунду замер. На губах Уалы играла насмешливая улыбка.

— Садись, садись,— кивнула она.— Поместимся.

Почти всю дорогу до селения мы проделали молча. По временам я закуривал, и тогда она протягивала руку за сигаретой. Иван тоже за компанию выуживал из-под щитка «Приму», и кабину тотчас завлакивало дымом. Впрочем, через многочисленные щели в кабине дым тут же выдувало.

В молчании доехали до селения. У конторы шофер остановился, я вывалился из кабины и стал смотреть, как подъезжают остальные самосвалы и автоцистерны. Сзади хлопнула дверка. Уала уходила по середине дороги своей ритмической походочкой, словно под неслышную музыку. Чем-то она напоминала Ларису, только походка Ларисы сразу вызывала мысль о постели или смятой траве, а при взгляде на Уалу возникал образ стремительного танца.

После делового торопливого обеда в сельской столовой в конторе началась планерка. Именно на ней мне надо побывать, потому что по моему наущению Вадим должен был задать там пару вопросов, а я хотел посмотреть реакцию.

Пилипок снова преобразился. За столом сидел строгий начальник в окружении нескольких телефонов, половина которых не работала, в углу хрипела рация. На столе — бумаги, толстая тетрадь, о которую он выжидательно постукивал авторучкой. Кабинет заполнен людьми, мы с Вадимом примостились в уголке, он шепотом комментировал.

— Как там у нас дела? — спросил директор рыжевато-го мужчину в брезентовой куртке и зеленых штанах (главный зоотехник, только что вернулся из тундры).

— В целом хорошо,— ответил тот.— В июле овода было много. Через недельку летовку можно будет кончать. Сейчас грибы пошли, мученье...

Осенью, когда наступает пора темных ночей, туманов и грибов,— трудный период для пастухов. Олени — лакомки и, как найдут грибное место, так и растекаются по тундре. За светлое время нужно собрать стадо вновь, иначе — откол в сотни голов, и бегай по тундре...

Сколько времени потребуется на ремонт кораля?

Недели две.

— А переносные корали где? Только точно.

— За Куускуном, километров двенадцать. Щиты, площадки камеры... Брезент только натянуть.

— Две с половиной забьем?

— Забьем,— почесав в затылке, отвечает зоотехник. Но директор не успокаивается, значительно постукивает авторучкой:

— Основная задача: забить две с половиной тысячи.

Он смотрит в окно, будто надеется увидеть эти две с половиной тысячи оленей, обреченных на заклание.

— Сколько осталось добыть моржей? — заместителю по добыче.

— Почти всех уже добыли...

— Молодцы Выписать премию зверобоям,— бухгалтеру.— По десятке там... или пятерке.

Распоряжение записывается.

— Вчера отвезли молоко? Сколько там скисло? — заведующему молочнотоварной фермой.

— Литров шестьдесят. Подвели смешторговцы... фляги плохо вымыли.

— Опять? Паразиты! Детишки в райцентре ждут, больные...

— ...и начальство,— добавляет тихо Окрестиллов.

— Отвезите на ферму щенкам или там... самцам,— он снова смотрит в окно.— Как наши рыбаки?

— Голец у них идет,— снова отвечает заместитель по добыче.— Радируют: облачно, дождь. Вторая бригада просится в баню.

— Вывезти! — командует Пилипок так, словно отдает распоряжение вывести воинское подразделение из-под обстрела.

Зоотехник докладывает, что из тундры привезли сто пятьдесят туш оленей, забитых для нужд жителей.

— Сдавать мясо в торг?

— Вы что? — директор аж подскочил.— Оно на прилавках и не появится, Анна Петровна тому тушку, тому тушку... Знаю торговашей! Мясо только через столовую. Пусть люди едят. А?

Он словно бы ждет, что ему скажут ободряюще: «Молодец директор! Так держать!» Присутствующие переглядываются, то ли осуждая, то ли одобряя. Пилипок суровее.

— С заготовкой сена не управились. Косить придется до Нового года, это уж точно.

— Как — до Нового года? — вырвалось у Вадима. Директор мутно посмотрел на него — добавил или вчерашнее?

Вадим шумно, по-лошадиному вздыхает — ох, набрыдло критиковать горе-хозяйственников, которые работают по извечной схеме: сеют летом, убирают зимой, а убранное бросают... И заготовки неизменные, хоть в рамку вставляй: спячка, раскачка, накачка. А Васька слушает.

Пилипок читает в своем талмуде, шевелит губами:

Значит, намечено строить в будущем году один двенадцати-квартирный дом, кормокухню для зверофермы, три коралей... — Прорабу: — Включай это в титул, чтобы не тянуть, попасть в план. Может, поставим в титул два дома, а? Там,— он возвел очи к потолку, срежут, один останется.

Наконец вроде мимоходом останавливаются на вопросе, который меня больше всего интересует, и я невольно подбираюсь. Вадим красноречиво толкает меня коленкой.

— Выяснили, почему произошло саморассасывание? — поворачивается директор к Тоне Рагтыне. Та почему-то заливается краской.

— Вот,— перед ней лежит белый лист, густо исписанный.— Комиссия из управления прислала акт. Из-за минтая.

— Мороженого? Того, что весной получили?

— Да, пятьдесят тонн на корм песцам. А специалисты определили, что на корм песцам он не годится.

— Порченный?

— Нет, рыба кондиционная. Но каким-то образом влияет на плодовитость зверей... отрицательно.

— Вот те раз,— откидывается назад Пилипок.— В прошлом году я был в отпуске на материке, там за минтаем очереди, драки. А тут звери не едят.

— Они едят, но...

— Не давать больше! Куда же эти пятьдесят тонн денем?

— Может, курам его? — спрашивает кто-то.

— Ну тонн пять или десять курам можно... А остальное?

— В тундре разбросать, песцам на приманку.

— Ну еще тонн десять максимум. А остальное?

Повисло тягостное молчание. Я зашептал Вадиму:

— Узнай, кто подписал акт, что за комиссия. Вроде бы из любопытства...

Он понимающе кивнул бородой.

После планерки я вышел на невысокое крыльцо и тотчас увидел Уалу. Она стояла, прислонившись к стене конторы.

— Идем,— сразу же позвала она. Не задавая лишних вопросов, я поплелся за ней. Напротив магазина шаг мой замедлился. У голове от этих гольцов, коралей, моржей слегка гудело, надо было ее прояснить.

Постой минутку. Или вместе зайдем?

Иди один,— она отвернулась.

Во всех селениях Севера действует сухой закон. Лишь раз в неделю выдают (то есть продают) по бутылке на каждого брата — юоое пойло, что в магазине. Но на гостей этот закон не распространяется, им делают поблажку. Зайдя, я сразу увидел большие Утылки с характерной наклейкой. Бренди, совсем неплохо, пода-

рок братской страны. Взяв одну, кое-какую закуску и с десяток сырых яиц (помогает!), я с чувством облегчения защелкнул портфель. Теперь можно хоть к черту на рога.

Уала встретила меня коротким настороженным взглядом и быстро пошла вперед. Я думал, что она поведет меня в какой-нибудь дом, к своим близким или дальним родственникам (тут все повязаны родством), но она вышла из селения и направилась по длинной песчаной косе лагуны. Ее ножки в джинсах и спортивных кедах быстро мелькали впереди, оставляя в слепящем песке на диво маленькие следы. Скоро коса кончилась, пошли неровные камни, а потом и вовсе валуны, по которым пришлось прыгать, и я заботился о том, чтобы в портфеле не образовалась яичница. Куда Уала ведет? Но не стоило мельтешить, задавать ненужные вопросы. Да и не в моем это характере. Куда бы ни вела, все равно приведет. Не в дом, так в тундру, и, может быть, что-то расскажет. Это самое разумное — в тундре не подслушаешь.

И все-таки она привела меня в дом.

Но такого дома никто и нигде на земле не видел. Едва мы повернули за мысок, в глаза сверкнуло радужным сиянием — в первый миг я подумал, что это глыба нерастаявшего льда, выброшенная на берег. Но уж очень нестерпимо и необычно она сверкала и переливалась разноцветными огнями. Я так и застыл.

— Ну что же ты? — она повернулась ко мне с ясной улыбкой.— Это дом Вити Семкина. Он сам построил.

Дом из бутылок. Они были уложены одна к другой горлышками наружу и скреплены цементом. Медленно приближаясь, я во все глаза рассматривал дивное сооружение, потом обошел его со всех сторон. Тонкая, продуманная работа. Фундамент из подогнанных один к одному гранитных обломков. Фронтон из прозрачных бутылок, боковые стены из зеленых, задняя из коричневых. Остроконечная крыша из тяжелых «бомб», уложенных на толстые доски,— виднелись их короткие торцы. Дверь арочная, изнутри висят обрывки моржовой кожи — видимо, закрывалась как полог.

— Что же это, а? — ошарашенно бормотал я.— Что?

Она взяла меня за руку и ввела внутрь. Там царил разноцветный полумрак, играли блики — солнце светило в заднюю и боковую стенки. Грубо сколоченный топчан, у входа чернело давнее кострище, донышки бутылок на стенах кое-где закопчены.

Она стояла у задней стены, и на лице ее лежали опаловые отсветы. Я без сил опустился на топчан.

— Рассказывай,— еле выдавил.

— Говорят, ты уже не раз бывал на Севере...

— Жил.

— Помнишь, в шестидесятые годы бутылки не принимали в ваших магазинах. Их просто выбрасывали где попало.

Как не помнить. Тогда еще в городах были стеклянные ватки. Когда я околачивался в Певеке, в общежитии, уборщица каждое утро лаялась, выволакивая корзины бутылок.

Вот-вот. И у нас тут была стеклянная свалка. А в это время в Лорино бичевал один веселый парень Витя Семкин, бывший архитектор. А может, художник. Сколько его помню, он всегда улыбался, никогда не унывал. Как-то привезли цемент в мешках "и свалили на берегу, оказался не нужен. Вот Витя и решил построить дом. Сначала один носил сюда цемент и бутылки, а потом, когда увидели, что он делает, все ребяташки стали помогать ему носить бутылки. И я тоже носила... Он говорил, что строит дом для нас, веселый стеклянный дом. И построил. Все лето каждый день мы прибегали сюда и слушали, как Витя рассказывает нам сказки и разные веселые истории. Когда дул ветер, горлышки бутылок свистели на разные лады, и он говорил, что дом поет. Мы называли его поющим домом. Приходили и взрослые, приносили вино, пели, танцевали... Слушали, как поет дом. Иногда он пел страшно.

Она замолчала.

— Где же он? Этот Семкин?

— Исчез куда-то... — в ее голосе явно чувствовалась горечь.— В стеклянном доме зимой не проживешь. Нарисовал много плакатов для совхоза и подался с последним пароходом. А мы все прибегали и ждали, что он вернется...

— Ты любила его? — пораженный неожиданной догадкой, спросил я. Она вздрогнула, будто ее стегнули. Потом опять светло улыбнулась.

— Да, любила. Только я тогда была маленькой... Он первый, кого я полюбила.

Мы прислушались. Поднимался ветерок, и дом загудел, вроде зашевелился. Орган... невиданный орган. Стало жутковато.

— Смотри,— она нашла в углу тряпку и стала протирать заднюю стену. Кое-где в ней оказались вкрапления белых бутылок. И эти белые образовали слова: «Берегись благополучия».

— Он говорил: вот это запомните. И я запомнила...

Я подошел к ней, и она сразу же прислонилась ко мне чуткой Длинной спиной, прижалась тесно-тесно. Потом, закинув руки, как тогда в танце, обхватила меня руками за шею и подняла лицо с закрытыми глазами. Наш поцелуй длился долго, потом она рывком отстранилась и глубоко вздохнула:

— Идем, идем отсюда скорее!

И мы пошли в тундру. В последний раз я оглянулся на дивный стеклянный дом, сверкавший в лучах солнца. Потом сияние исчезло за холмом, но долго еще слышалось низкое разноголосое гудение, словно под землей стонали души алкашей.

Остановились на самой вершине — тут обдувал ветерок, уносил прочь назойливых и свирепых северных комаров. Из веток-стланика и мха разожгли небольшой дымокур, и я выложил из портфеля все, что там было. Два яйца все же раздавились, я осторожно выбросил их.

Уала села, вытянув ноги, и я вновь поразился перемене в ее глазах: теперь взгляд их был ласковым, даже нежным. Раз-два или три, пока мы раскладывали закуску, она своей смуглой крепкой рукой накрывала мою руку и так некоторое время держала будто пыталась передать что-то сокровенное, что нельзя и словами выразить. И совсем притихла, словно и не была никогда дерзкой, отчаянной и колючей.

— Ой,— сказала она беспомощно.— А стаканов-то нет. Я из горлышка не умею...

— Велико умение,— проворчал я, надломил одно яйцо, выпил, потом то же проделал со вторым. Протянул ей:

— Рюмки небольшие, но емкие. Пить можно.

Она повертела в руках «рюмку» и заискрившимися глазами взглянула на меня:

— Чем всегда нравились мне настоящие мужчины... найдут выход из любого положения.

— Ты не видала меня в понедельник утром,— пробормотал я смущенно.— Вот тогда действительно приходится искать выход...

Издали донесся рокот мотора, и в небе показался вертолет с красной полосой на борту. Он тянул в сторону Эгвекинота. Нефтеразведчики, очередная смена. Давно ищут тут нефть и газ. Какому-то начальнику не терпелось прогrometerь, и к празднику был зажжен факел газа, полетел цветастый рапорт: «Есть северный газ!» Но едва телетайпы отстучали рапорт, как факел потух,— газа оказалось на баллон или два... Сколько таких рапортотвчиков отсверкало...

Хорошо было лежать вот так и бездумно глядеть в глубокое небо, и слушать легкий замирающий стрекот вдаль. Наконец вокруг снова сомкнулся океан тишины.

Я наполнил «рюмки».

— За Витю Семкина!

Она благодарно кивнула головой. И, только выпила, я снова налил:

— За Петровича!

Она выпила и сломала рюмку. Сжала пальцы так, что костяшки побелели.

— До сих пор стоит в глазах все. Мне сказали, не помню, как я бежала. На лестничной площадке уже дежурили... я растолкал всех, ворвалась в комнату и увидела... — она крепко зажмури-

за — А они стоят, смотрят — сытые, благополучные... Я закричала: «Это вы его убили! Убийцы!» Схватила что-то, но меня вытащили из квартиры.

Я молчал.

Ты не думай, у нас с ним ничего. Он это... болел чем-то, припадки...

Это мне уже было известно.

И ему нельзя было жениться, нельзя иметь детей. Я его жалела... и любила, он был настоящий мужчина. Если бы предложил, пошла бы за него с радостью. Но он не предложил, а те просчитались...

— Кто?

— Ты знаешь кто. А если не знаешь... Сказали мне: окрути Петровича, он до девушек падок. Если женишь на себе, увези подальше, а мы тебе дадим... на обзаведение. Потом, дескать, и развестись недолго, а поживешь в свое удовольствие. Мне стало интересно, очень-очень я любопытная. Что такое, думаю? Узнакомили нас, он сразу же пригласил к себе. Пришла, раз, другой, ничего. Эти вот сразу норовят... Меня еще больше разобрало любопытство, думаю, чего же сюда другие бегали? А они просто жалели его — очень одинокий человек, но сильный, мужественный. Сколько мне рассказывал — все вечера напролет слушала бы... голос мягкий, глаза смотрят прямо в душу. Сначала стеснялся меня, выпроваживал под разными предлогами, когда это у него начиналось. Но однажды я уперлась: не пойду, и все. Тогда он сказал: только не пугайся, это скоро пройдет. Лег на постель, глаза закатил, стал биться... я тогда сильно испугалась, хотя и не такая пугливая. Но я пересилила себя, помогала, поддерживала его голову... Потом все прошло, он снова посмотрел на меня ясным взглядом, взял мою руку и поцеловал. И тогда я поняла, что люблю.

Она отсутствующим взглядом смотрела вдаль. Я быстро налил из бутылки и поспешно, воровато выпил. На душе было по-прежнему мутно.

— Как зверь... как раненый зверь уползает в чашу и там один, молча, без стонов... со своей болью... а вокруг люди, много людей... они всегда готовы посочувствовать... тому, кто далеко, за тридевять земель... так спокойнее, не надо ничего делать... — фразы шли обрывками, словно она размышляла или удивлялась. Потом коротко, остро взглянула на меня, — О делах ничего не говорил, только предупреждал иногда: остерегайся такого-то, это недая. И тех называл, которые подбили на знакомство с ним... се встречали и спрашивали: когда же? А я отвечала: нет предложения сама в жены набиваться не могу. И когда это... случилось, поняла, что он был им чем-то опасен. Пошла в милицию и все

рассказала Рацукову. Он предложил написать, говорит: дадн». делу ход. И до сих пор...

Теперь стало ясно, как Рацуков использовал показания Уалы. Оценил неплохо! Эх, простодушная головушка...

Она сразу уловила.

— Что, сделала не так?

Под ее чистым взглядом невозможно было изворачиваться.

— Откуда ты могла знать... Рацуков — один из них.

Она глядела недоверчиво.

— Откуда знаешь?

— Уала,— я взял ее за руку,— прошу тебя, не вмешивайся больше. Только спутаешь... Обещаю тебе... впрочем, сама увидишь.

Она вдруг оттаяла, стала беззаботной.

— Дай-ка твою «рюмку»!

Я сделал новую. Выпив, она стала есть, осторожно брала маленькими кусочками оленью колбасу, хлеб, копченый сыр.

Нам было почему-то радостно. Первозданная природа без пакоостей и гнусностей человеческих действовала умиротворяюще. Мы беззаботно разговаривали, она рассказала о последних гастролях за кордон — как и везде, их принимали за японок.

Я и в мыслях не держал ничего подобного, но вдруг понял, что ее охватило желание. Закрыв глаза, она сладостно раскинулась на мху, и тундра приняла нас в свои пахучие мягкие объятия.

Вдруг издали стал нарастать стрекот вертолета. Сначала я старался не обращать на него внимания, но потом понял: машина идет прямо на нас. Еще минута, и сомнений не оставалось. Я поднял голову: вертолет с красной полосой на борту низко шел над нами по кругу, пилоты махали нам руками. Или они разглядели нас в бинокль (у вертолетчиков в кабине всегда бинокли), или засекли еще по дороге туда и теперь решили посмотреть, чем же занимается та одинокая парочка.

— Покажем им? — шепнула она.

— Самое время.

Она не зря была танцовщицей, гибкой, как змея, и тугой, словно пружина. Да, именно это. Ей не нужен был аккомпанемент — музыка и ритм всегда жили в людях этой земли и готовы были вылиться в пляску, древнюю, как эти скалы вокруг.

Под рев вертолета, медовая в лучах заходящего солнца, она плясала вокруг костерка, распущенные волосы вороньими крылами реяли в воздухе. Так самозабвенно плясали ее предки, когда еще тут не было ни вертолетов, ни бюрократов с их полированными столами и бессмысленными указаниями, и предки были счастливы. Это была ее стихия — видно с первого взгляда, и я вжался в мох, замороженный небывалым зрелищем. Старое и новое, мелькнула мысль. Не вездеход и собачья упряжка, которые так

чуют снимать бойкие репортеры, а вот такой фотоэтиюд по праву мог украсить любую, даже самую большую газетную страницу: первобытная девушка, пляшущая под нахрапистым вертолетом.

Наконец она бессильно распласталась на мху, а я упал рядом, и мы смотрели, как вертолет сделал прощальный круг и покачал лопастями, а пилоты в это время дружно показывали большие пальцы в знак одобрения. Вдруг открылся люк, и что-то вылетело, блеснув на солнце. В иллюминаторах махали руками, как при отлете дружественной делегации.

Я поднялся и подобрал — это была бутылка питьевого спирта. Даже с такой высоты не разбилась — упала на мягкий пышный мох.

— Вот черти,— растерянно сказал я.— И плату не забыли.

Она повернулась на живот и, болтая в воздухе смуглыми длинными ногами, покусывая травинку, задумчиво смотрела на удаляющуюся стрекозу.

Я хотел разбить бутылку о камень, но вовремя вспомнил, что Вадим любит неразведенный.

Мы допили бренди и, тесно обнявшись, пошли по вечеряющей тундре.

В селение вернулись, когда сгущались сумерки. И первым, на кого наткнулись, был Окрестиллов. Он выскочил, поводя очками, как стереотрубой.

— А я кругом ишу! Все в ажуре. Даже выписки из акта сделал — сплошная липа, невооруженным глазом видно.

— А кто подписал?

— В том-то и фокус! Никакая не комиссия, проставлены лишь фамилии, а подпись всего одна. Специалист, растак его, знаю как облупленного. За бутылку такой акт состряпает — мать родную спишешь.

— Надо срочно выбираться в- город.

— Завтра придет вертолет за Верховодой. Я уже выяснил.

— А он возьмет? — с сомнением спросил я.

— Как же прессу не возьмет! — выпятил Вадим грудь со значком... — Такого еще не было... А вы со мной.

— На... получи,— я вручил ему спирт.

Откуда? — в уголках рта у него даже слюна закипела.— это же...

Нашли залежи в тундре.

Идем, идем, квакнем! — он споро зашагал впереди.

На следующий день к вечеру мы прилетели в город.

Дальнейшее было делом техники. Хотя и не только ее. Вадим связался со своими друзьями-журналистами в областном центре.

Те порекомендовали ему одного розысника — майора, четверть века протрубившего в органах, ожесточенного идеалиста, воюю-

щего с гидрой преступности, не взирая на лица и посты. Таких на Севере мало. Майор прилетел первым же самолетом с различной специальной аппаратурой: жучками-микрофонами, магнитофонами, рацией, приборами дневного и ночного видения — много же техники нужно, чтобы ухватить мерзавца, действующего голыми руками!

За Рацуковым и Касянчуком было установлено первым делом жесткое наблюдение, и если бы нашелся кто-то, кто решил их предупредить, то сразу же попал бы в поле зрения: майор свое дело знал. Плотный сбитый, немногословный, с хронически подозрительным взглядом, но энергичный и толковый, он, казалось, успевал всюду и неизвестно, когда спал. Со мной он провел два часа, подробно расспросил обо всем (снял показания), внимательно изучил зашифрованное послание Петровича — оказывается, и этот шифр был знаком ему, пояснений не требовалось.

Накрыл он соучастников в нужный момент лишь через неделю. Бравый капитан угро под видом ночного дежурства обездвижил город и остановился у гаража. Неслышная тень скользнула в его «уазик». Весь разговор был зафиксирован на пленку, через приборы ночного видения операция сфотографирована. Злодея взяли сразу же, едва машина отъехала, а за действиями капитана продолжали наблюдать. «Объект направился к морпорту», «объект направился к милиции», — поступали сообщения.

На некоторое время Рацуков озадачил наблюдателей. Зайдя в кабинет, он положил пакет с деньгами в свой служебный сейф.

Несмотря на поздний час, начальник отдела задержался словно бы по срочным делам, а на самом деле выжидал, чем все кончится. Он зашел в кабинет Рацукова, и тот доложил, что в городе все спокойно. «Больше ничего не имеете сообщить?» — дал ему последний шанс начальник. «Нет, все в порядке», — повторил капитан, не уловив в этом вопросе грозových (а может, наводящих?) ноток. И тогда в кабинет вошел майор со своими помощниками. Увидев их, Рацуков, и без того хронически бледный, побелел как стена.

— Откройте сейф, — без лишних слов приказал майор.

На следующий день прилетел начальник областного управления, генерал. Топая ногами и матерясь, он самолично сорвал погоню с капитана, который со вчерашней ночи находился в камере предварительного задержания. А через четыре месяца состоялся суд.

Но еще до этого мне и Вадиму пришлось пережить великое разочарование. Несгибаемый майор сделал всего одну ошибку. Злодея освободили почти сразу же, а на суде он выступал в качестве... свидетеля. Оказывается, на следующее утро после задержания Касянчука (темь, микрофоны, приборы ночного видения) в областное управление поступило его заявление, что капитан милиций

раиуков, шантажируя его, принуждает к даче взятки. Указываю-сь даже, когда и где это произойдет. Не будучи уверенным, что у Рацукова нет сообщников в городском отделе, Касянчук посылает свое заявление прямо в областное управление почтой. Вот тебе и невзрачная личность!

Штемпеля на конверте дивно четкие: письмо отправлено из города на три дня раньше, пришло очередной почтой. За три дня до дачи взятки! На языке юристов это называлось алиби, что полностью освобождало Касянчука от уголовной ответственности. Ну, а на нашем языке...

— Все-таки они оказались проворнее,— задумчиво проговорил Вадим, когда мы тупо обсуждали происшедшее.— Вишь, даже майора с его аппаратурой обскакали, оперативнее сработали.

— Механика, конечно, простая,— уныло поддакнул я,— Письмо заранее проштемпелевали тут на почте, кто-то отвез его в область — самолеты ходят каждый день — и затаился. Или еще проще: тут передали, там встретили. А когда получили сообщение о захвате Касянчука — тоже просто, позвонить и сказать: «Бабулька приехала»,— тут же кинули письмо в ближайший почтовый ящик. Обошлись и без приборов ночного видения...

— Читал недавно статейку об ужасах мафии,— заговорил снова он после недолгого молчания,— Стреляют, убивают, пытаются... Да ведь это просто болваны! Нет, ты сработай вот так: без единого выстрела, в условиях вечной мерзлоты.

— Может, на суде что откроется?

Но на суде ничего не открылось. Рацуков, видимо, до последнего на что-то надеялся и утверждал, что действовал в соответствии с разработанным им лично планом оперативных мероприятий. Положив пакет с деньгами в сейф, он хотел на следующий день оформить протокол, выявить преступные связи взяткодателя, проследить, разоблачить и тэ дэ. Даже ссылаясь на головную боль после дежурства. Но это звучало как детский лепет. И ему было понятно, что даже о готовящейся, а не о полученной взятке он должен был незамедлительно поставить в известность начальство и, если хотел разрабатывать какой-то план, то мог это сделать только согласовав, получив санкцию и в содружестве с могучим коллективом. А иначе все это называлось уже не оперативно-розыскными, а преступными замыслами. И главной уликой преступных замыслов служило то, что он даже на дополнительно-наводящий вопрос начальника: «Вы ничего больше не имеете сообщить?» не заикнулся о полученной взятке.

Касянчук бойко и уверенно барабанил свою версию об угрозах капитана угро, его постоянном терроре, препятствиях, чинимых нормальной работе артели, в результате чего он, бедолага, вынужден был поставить в известность органы и пойти на взятку, чтобы

вывести на чистую воду «темную личность, окопавшуюся в Стройных рядах нашей милиции».

— Мог ли я после этого не думать, что он всех купил? — во прошал законно задавленный террором свидетель.

Суд выглядел странно. Если бы какой-то свежий человек с матерпка иопал на него, у него возник бы правомерный вопрос: ну чего бояться Касянчуку, каких угроз, какого террора? Но никто даже судья, не задал столь правомерного, но риторического вопроса — все знали о полузаконных сделках, совершаемых и Касянчуком, и другими толкателями артелей (не зря ведь платят наличными!), о жалкой зависимости старателей не только от всемогущего капитана милиции, но даже от какого-то клерка, который вдруг откажется подмахнуть нужную бумажку, и приходится его ублажать через ресторан или еще как. Считалось, что все необходимое артель получает от прииска, за которым она закреплена, но это была фикция. Прииск порой не мог обеспечить свои участки даже гвоздями, кто уж будет заботиться о каких-то рвачах, которыми считали старателей. «Рванут свой кусок, а там хоть трава не расти!» И «рвачи» обеспечивали себя сами.

Все знали легенду (читай: действительный случай) о провалившемся под лед приисковом бульдозере. Пригнали автокраны, тягачи, несколько дней орудовали, пытаясь достать затонувшую единицу со дна речного. Но так и не достали, махнули рукой и списали.

И едва был подписан акт, на берегу появилось звено одной из артелей. Рыжий старатель, хватанув стакан спирта, нырнул на дно, зацепил петлей стального троса машину, и два других бульдозера, таких же списанных, выволокли ее на берег. Вся операция заняла не больше десяти минут, а на следующий день бульдозер уже рокотал на участке старателей.

Потому на суде и не касались многих щекотливых вопросов, в них можно утонуть, как утонул тот бульдозер. Все внимание сосредоточили на действиях капитана. И тут произошел инцидент, который всех развеселил. Рацуков вдруг жалобно возопил:

— Я столько лет старался, служил, а меня заперли в какую-то грязную камеру и хлеб дают такой черный, что моя собака жрать не станет!

Судья Удальский оживился:

— А вы думали, там пирожными кормят? Черный хлеб... я вот ем только черный хлеб и считаю, что он более полезен.

— Так идите туда вместо меня! — злобно бросил бывший капитан.

— Нет уж, каждый из нас пойдет туда, куда он заслужил! — так же злобно отпарировал Удальский.

И дали сердешному двенадцать лет со всеми поражениями.

Касянчук все-таки через полгода попался на другой крупной взятке (что-то или кто-то, видать, не сработал или был допущен роковой просчет). На этот раз ему приплюсовали все и дали ровно столько же, сколько и проданному им капитану.

Но еще до этого события мне пришлось начать с другого бочка — проехать по приискам, проверить все акты рекламаций, добиться аннулирования части из них как несостоятельных, но главное показать, что завод не отступится, перестреляй хоть всех его толкателей. И поток актов стал хиреть.

Там я видел много женщин, щеголявших в голубых песках, и по временам появлялась смутная догадка, откуда такое изобилие и почему с легкостью необыкновенной подписывали акты их мужья. И куда утекли нужные приisku запчасти.

Но догадки к делу не подошьешь. Загадки так и остались подернуты мраком неизвестности: и смерть Петровича (на чем же его подловили?), и саморассасывание зародышей. Север хранит много таких тайн...

А потом мне дали квартиру — ту самую, в деревянном доме на улице Партизанской.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Пили зелье черенах, ели пуляники,
танцевали на гробах, богохульники!
Страшно, аж жуть!!!

В. Высоцкий

— По слухам, это моя квартира,— нагло сказал Матвей. Лицо рыжего не выразило никаких эмоций, он снова воззрился на донышко «бомбы», словно пытался вызвать из бутылки духа.

— Ну проходи, коль твоя,— равнодушно бросил он. Потом ВДруг спохватился: — А? Твоя? Братцы, отец пришел!

— Отец местного прохвостизма! — откликнулся кто-то из глубины квартиры ликующим пропитым тенорком.

Квартира была небольшая, хотя и двухкомнатная,— одна из комнат предназначалась для представительского пункта как рабочий кабинет. Но сейчас он никак не напоминал таковой, впрочем, вся квартира являла собой удивительное зрелище.

Несмотря на отсутствие хозяина, она жила напряженной жизнью. На кухне, сплошь заставленной порожней стеклотарой, Двое ожесточенно кричали,— судя по обрывкам фраз, спорили о литературе. У газовой плиты хлопотал некто в подтяжках над Целым противнем жареных уток. Еще двое, отключившись, лежали

вняхлест на разложенной тахте. Еще кто-то лежал прямо на полу в соседней комнате, в дверном проеме виднелись ноги в рваных носках, из которых высовывались большие сизые пальцы с желтыми каменными ногтями. За рабочим столом Матвея сидел некто и печатал на его машинке. За этим же столом с другого края сидел другой некто и малевал похабные карикатуры, которыми уже были увешаны все стены. В углу дремала сложенная фигура с затрепанным детективом на коленях. Работал цветной телевизор, но его никто не смотрел.

Матвей абсолютно никого не узнавал, будто свалился вдруг в Мурлындию, где ходят коты с человеческими лицами. Такое уже бывало. То есть он знал каждого — все это были родные, милые лица, но не мог вспомнить, «гу есть гу», чем занимаются, как зовут. Однажды он прилетел в аэропорт после трехнедельного штопора и тоже вот так здоровался с людьми, разговаривал с ними, стараясь ограничиться общими темами и не называя никого по имени, потому что не помнил. Через лиман его вез знакомый шофер, которого он назвал Колей, а только в городе вдруг что-то щелкнуло в голове, и он вспомнил, что шофера зовут не Коля, а Петя.

Но сейчас некогда было ждать, действовать приходилось стремительно и напористо, волевым усилием восстановить память. Только что он получил сообщение неизвестно от кого, что в его квартире обосновался агент Верховоды с заданием в удобный момент условленным сигналом вызвать группу захвата.

— Отец местного прохвостизма! — повторил тенорок, и тогда-то в голове Матвея щелкнуло. Он сразу всех узнал и вспомнил.

Посреди большой комнаты, приветственно раскинув руки, стоял худой как щепка сторож-поэт Андрюша Гаранжа — он-то и кричал. На его крик из другой комнаты выплыл, словно медведь на дыбах, взлохмаченный метранпаж местной газеты Куканов, или «наш миллионер», как его ласково называли. Он тридцать лет протрубил на Севере и ежедневно выпивал минимум две бутылки водки, а максимум страшно даже подумать. Как-то подсчитали с карандашом в руке, что в итоге он пропил более ста тысяч (старыми — миллион). За ним — работница агиткультибригады Ванда Куховарова с неизменной дымящейся папиросой во рту. «Крепкий мужик», — говорили о ней, потому что она пила наравне с мужиками и даже некоторых перепивала, хотя здесь это дело было-трудоемкое. Она только что вернулась из нарко, где прошла краткосрочный курс поддержания — всего три дня. Дольше обслуга ее не терпела.

— Принес? — загомонили «оставшиеся в живых», с надеждой глядя на портфель Матвея.

— Куницын вон уже стал чертей допивать, — прогудел Куканов, кивая на рыжего мужика, который потерянно стоял с порож-

„ей «бомбой». Сам он никогда не пил остатки, суеверно считая, что это «чертей допивать».

Окрестил и его друг в кожанке все еще стояли на пороге, озираясь с одобрительными улыбками. Потом неизвестный полез в боковой карман, вытащил пачку денег в банковской упаковке, хмыкнул, засунул в карман, вытащил другую, потом третью.

— Ага, синенькая,— удовлетворенно пробурчал он. Разорвал корявыми пальцами обертку и фуганул пачку в воздух. Разворачиваясь, трепеща в воздухе, пятерки густо усыпали пол синим ковром.— Так надо праздновать новоселье, рублевочки чертовы!

— Вот это по-нашему,— Матвей старательно вытер мокрые торбаса об импровизированный ковер.— Разоблачайтесь.

— А пошло? — тревожно спросил Куканов.

— Должно быть,— Матвей скинул меховую куртку в угол, туда же бросил шапку, которая оказалась собачьей, лохматой, величиной с подушку.

— Мы же все обыскали! — с отчаянием взмолился Куницын.

Матвей быстро обрел уверенность, как только узнал всех и припомнил обстановку. По какому-то наитию он взял стул, взобрался на него и заглянул на самый верх высокого, до потолка, стеллажа с книгами. Так и есть. Чудесное зрелище лежащих рядом, уже слегка запыленных белых и темных запечатанных бутылок открылось перед ним. Значит, не зря прятал.

По примеру одного известного местного алкаша, войдя в штопор, он начинал прятать бутылки в самых неожиданных местах, чтобы и самому не сразу дотрагаться. Потом, естественно, наступал провал памяти, а когда утром било и морозило так, что не только в магазин выйти было невозможно, а и подумать о том страшно, он начинал искать. Искал долго, упорно, обливаясь потом и дрожа, зато какая радость и умиротворение охватывали его, когда находил!

Вот и сейчас, подав в растопыренные руки одну за другой три бутылки вина и две водки, одну он все-таки оставил — бывало так, что и среди ночи поднимало.

— Мы по углам да закоулкам шарили,— в мистическом восторге шептал рыжий Куницын.— А оно вон где...

— Осквернил литературу,— воздел вверх руки поэт-сторож Гаранжа.— Над такими авторами...

— Они что, не пили? — прищурился Матвей.— Ну, этого пока хватит, а потом сообразим. Кто там балабонит на кухне?

Голоса на кухне смолкли, и некто в подтяжках внес противень шипящих, жаренных целиком уток. За ним, все еще ненавидяще поглядывая друг на друга, но в то же время радостно потирая Руки, вползли и спорщики. Матвей пристально вглядывался в каждого.

Некто в подтяжках оказался диктором местного телевидения Валерием Хоменко. Насколько он был обаятельным и разговорчивым на экране, настолько мрачен и молчалив в быту. Однако имел отменный, временами казалось, будто он с экранов телевизоров видит, где собирается компашка: сразу же после передачи надевал армейский пуленепробиваемый лакированный тулуп до пят, купленный по дешевке у вояк, возможно списанный, и "прямоиком по сугробам чесал туда. Однажды чуть не схватил строгача по службе: в прогнозе погоды с похмелья сообщил, что завтра ожидается не дождь, а снег. Это в июле-то! Готовили уже приказ о «репрессиях», как вдруг на следующий день повалил снег, да разлапистый, как на Новый год! Приказ срочно заменили благодарностью — ведь он единственный во всем восточном секторе Арктики правильно предсказал погоду. Такое могло случиться только на Севере. «Сам господь бог заступился,— самодовольно поглаживал себя по плечи диктор.— Вон даже где я в почете...»

Двое других, оравших на кухне, оказались маститыми начинающими литераторами. Один, со странной фамилией не то Лейпциг, не то Гамбург (еще не вспомнилось точно), вот уже много лет вынашивал творческий замысел хвалебного очерка о передовой бригаде быткомбината, но поскольку там передовых бригад не только не появлялось, но время от времени и существующие за различные махинации привлекались или разгонялись, то замыслу никак не удавалось воплотиться в жизнь.

Другой, тоже со странной фамилией не то Овин, не то Клуня, никаких замыслов не вынашивал, он просто считал, что в нем умер великий русский писатель.

Они вошли, не прерывая дискуссии.

— По-моему, новая книга нашего корифея Маднюка свидетельствует...

— Маднюк го-го,— безапелляционно прервал его Овин.

Оба в очках. Глазки у Лейпцига маленькие, темные, словно перепуганные, личность лодочкой. У Овина анфас лягушачий с ши->роким ртом, кудрявая шевелюра с залысинами, глаза сонные, с перекосом.

Противень поставили прямо на пол, на рассыпанную деньгу, вокруг расположили бутылки, стаканы и возлегли — так было удобнее пить и отключаться. Иноземцев, который недавно притащился вслед за Матвеем на Север и теперь жил у него в углу, преврал наконец свое печатание и подполз к противню.

Сейчас он занимался научными исследованиями причин органической тяги человека к алкоголю.

Матвей с сочувствием относился к его изысканиям. Он же и принес ему вырезки из газеты, где рассказывалось о японце, в организме которого любая пища превращалась в алкоголь, и он.

ходил вечно пьяный, пока хирурги не вырезали ему «алкогольные» железы.

Мне бы эти железы! — мечтательно рассматривал тот газетную вырезку. — С ними ведь никакие указы не страшны...

В противоположном углу жил некий Шутинис — это он спал в другой комнате в дырявых носках. Но звон стаканов и бульканье его разбудили, он появился на пороге, бессмысленно озирая комнату выпученными мутными глазами.

Матвей ничем не мог объяснить подобное странное явление, но его по каким-то неувимым признакам находили всякие шизики, прибывали к нему, присасывались и подолгу жили, пользуясь широтой и безалаберностью его натуры. Во Владике у него в углу жили сначала изобретатель кукурузосажалки Иващенко («Десяток агрегатов может засеять всю страну!»), потом анализатор перемещения кадров Букин, потом вождь мирового преобразования Тимофей. Все это были люди не плохие, безобидные, но с какой-то уж очень дивной судьбой.

Изобретатель, например, пил мало, зимой и летом ходил в сандалиях без носков, чем жил — неизвестно, но каждый день аккуратно являлся в ресторан и заказывал салат из капусты. Если официантка, раздраженная таким мизерным заказом и вообще его странным видом, делала ему замечание, что являться в ресторан без носков неприлично, он тотчас вытаскивал из кармана пару новых носков, даже с ярлыком, и хлопал на стол: «А я с носками!»

Анализатор пил крепче и тоже жил неизвестно на что, но каждое утро покупал пачку свежих газет и внимательно их прочитывал, изучая всякое смещение и перемещение кадров. Почему-то именно в этом деле он обладал феноменальной памятью и мог называть руководителя любой области и края не только в данный период, но и в любой отрезок времени. Сегодня ты великий чин, а как полетел с постов, то упоминание о тебе хлорофосом из всех энциклопедий вытравят, и если где и останешься, то разве по недосмотру. Бывало так, что где-то спор возникал до мордобития и требовалось его разрешить. Слово анализатора в таком случае считалось крепче архивной справки с печатями и вознаграждалось бутылкой, которую он торжественно приволакивал в комнату Матвея.

Тимофей был передовым бригадиром еще в те времена, когда Матвей работал в «Амурском воднике» и не раз писал о нем. Падение его началось, когда одна центральная молодежная газета напечатала о нем большой очерк «Тимофей — горячее сердце» и его избрали делегатом какой-то конференции. Дали ему слово — передовой бригадир, рабочая косточка, железный стержень. А железный стержень как вылез на трибуну да пошел брякать не

по шпаргалке, а от ума, который за разум зашел, о мировом преобразовании — еле с трибуны его стащили. Тут же отвезли, про верили — вменяем, но порет ахинею и стоит на своем. Подлечили немного и выпустили, и пошел бродить по белу свету Тимофей горячее сердце, пока Матвей не подобрал его аж во Владивостоке у какой-то урны, привел домой и отогрел. А с виду парень хоть куда, можно снова на конференцию, только через каждые полчаса глотает нитроглицерин — посадил горячее сердце на горькой — да глаза разъезжаются и лихорадочно блестят: сразу видно, на трибуну выпускать нельзя даже со шпаргалкой.

А теперь вот жили Иноземцев и Шутинис. Иноземцев как приехал по вызову Матвея, сразу на полмесяца закатил голодовку, все сидел в углу и сосредоточивался. Потом стал печатать талмуд «Звезды и мы», в котором подробно рассказывалось, под какой звездой кто родился, каким характером обладает и что его ожидает за поворотом. Так Матвей узнал, что родился он под знаком Блиźnieцов, то есть воздуха, покровитель у него Меркурий, бог торговли, искусств и жуликов, знаток тайн магии и астрологии, что Близнецы умны, схватчивы, имеют разносторонние интересы и среди них обретаются великие люди и гении.

До чего же хитрая наука астрология! Как ни примеряй, а что-нибудь подойдет, особенно если очень хочешь поверить. А кто не верит в глубине души, что он гений?

О работе Иноземцев не заговаривал, но в перерывах между голодовками ел и пил исправно. Правда, он подрядился вылечить гипнозом и голодовкой не то от артрита, не то от радикулита одного местного бюрократа, заставил беднягу поститься и ходил регулярно морочить ему голову сеансами гипноза, в результате почти убедил его, что тот вылечился. Позже больного с сильнейшим приступом уже не артрита, а целого букета болезней увезли в больницу, но и тут Иноземцев выкрутился, объяснив все происшествиями межзвездных сил.

Сейчас, жадно пожирая утиную гузку, он доказывал, что нужно питаться только сырой крупной или пшеницей.

— Утром две морковки, на обед горсть распаренной крупы, на ужин яблоко, и проживешь двести лет. У меня статья есть.

— А если тебя кормить отрубями? — заинтересовался диктор.— Сколько протянешь?

— Еще спартанцы питались так! — размахивал обглоданной костью Иноземцев.— После целого дня военных упражнений они получали по горсти зерна и удовлетворялись этим.

— Кстати, спартанцы жили в среднем до тридцати лет,— вставил Матвей.

— Потому что воевали! Они не умирали своей естественной смертью.

И не оставили после себя никакого культурного наследия,— добавил Вадим.— Были, как говорится, и сплыли.

Шутинис прибежал сюда еще осенью в дождь, как мокрая бездомная кошка, удрав от своего работодателя, известного куркуля Билька. Тот ловко воспользовался новым постановлением, поощрявшим личным инициативу в решении продовольственной проблемы, и в районе рыббазы основал целую свиноферму. Ему отпускали по льготным ценам корма, выделили списанную доходягу лошадь, и он объезжал столовые и ресторан, собирая объедки в молочные фляги, и привозил все это на ферму. Для ухода за свиньями, самой грязной работы, нанял двух бичей, совсем уж опустившихся и бесправных, живших где-то на чердаке,— Шутиниса и Харчева. Платил он им по сто рублей в месяц. Этого еле хватало на прожитие да еще иногда на пару бутылок.

Бичи терпели-терпели и взбунтовались. Получив зарплату, решили смыться в областной центр, но куркуль в аэропорту перехватил их и пригрозил выдать милиции. Й бичи покорно вернулись на ферму сгребать навоз и разливать помои отъевшимся хрякам, которые в будущем обещали куркулю баснословные прибыли.

И все-таки они сбежали в конце концов, и Шутинис прибежал к Матвею, о котором слышал от какого-то алкаша.

Матвей сказал просто: «Живи пока здесь», хотя совершенно не знал его. Потом ему пришлось жестоко раскаться, как уже раскаивался не раз, но уроков не извлекал и снова привлекал проходимцев.

Из угла появился с видом сомнамбулы Петя Шрамов, хороший, открытый парень. К Матвею он пришел с проектом мотоциклетного пробега с Крайнего Севера через Магадан, Иркутск, степи Средней Азии, Талды-Курган, пустыню Каракумы с победным финишем на киевской улице Крещатик. Он разложил географическую карту с тщательно вычерченным маршрутом, список участников (нашлись и такие), смету расходов, график движения и просил зажечь проектом кого-нибудь из журналистов, чтобы те выступили в его защиту,— местные бюрократы зажимают. Самое странное, что Матвей действительно зажегся проектом, убедил Окрестилова написать такую статью и ее даже опубликовали. И лишь когда они протрезвели и на статью стали поступать отзывы специалистов, пестревшие ругательствами, оба поняли, что этот мотопробег может соперничать только с атомной кукурузосажалкой Иващенко.

Растолкали спящих на тахте. Первым очнулся бородатый — землепроходец Старухин, что в штопоре, в кошмарах, все гонялся за снежным бараном. Почесал всклокоченную бороду и сказал глубоким басом:

— Опять снежный баран снился...

Оклемався и второй — руководитель кружка юных столяров

Чужаков: маленький, с черными хитрыми глазками, с торчащим в разные стороны реденькими светлыми волосенками, напоминающий пьяного воруна в очках. Он сразу же стал в позу и запел: — Доро-о-га-а-а... вдаль ведет...

У него был приятный голос, правда, сейчас осипший, и он постоянно выступал в самодеятельных концертных бригадах, отправляющихся в глубинку, даже солировал, сам себе аккомпанируя? на баяне. Мало того, он написал множество песен о Севере на стихи местных поэтов, которые исполнялись самодеятельными коллективами. Он уже считался корифеем, местным композитором-самородком, и не раз даже поднимался вопрос об издании его песен отдельным сборником — они действительно звучали хорошо. Но каждый раз сборник с треском проваливался: стихи, на которые самодеятельный композитор писал свои песни, не выдерживали никакой критики.

Матвей удовлетворенно оглядел присутствующих. Все убежденные перекаати-поле, легкие на подъем, застрельщики, как он их называл, позаимствовав определение из какого-то крикливого газетного заголовка: «Застрельщики славных дел».

— Эти любое славянское дело застрелят...

«Застрельщиков» ничто не держало на земле, вот и несла их словно бы центробежная сила все дальше и дальше от осередка земли, пока не выносила наконец на берега Северного Ледовитого, а дальше некуда, не то понесло бы и дальше.

Хотя у некоторых были семьи и даже не одна, удерживающей силы они тоже не имели, а иногда играли и роль дополнительного стимулирующего фактора в их бесконечном бегстве по земле: подальше, подальше от надоевших будничных забот, пеленок, распахонков.

И хотя они, бывало, и оседали надолго на Севере, все равно чувствовали себя тут временными. Каждый, как диктор Хоменко, назначал себе какой-то там срок «отбыть свое», а потом податься либо в заработанную кооперативную квартиру на материке, либо просто в родные края. И это накладывало на каждый северный город или поселок своеобразный отпечаток не благоустроенности, временности. Летом кругом лежали кучи мусора, угля, валялись пустые консервные банки, порожние бутылки, ветер гонял по улицам обрывки бумаг. Зимой снег засыпал всю эту непотребность белоснежными сугробами, которые быстро покрывались налетом чугунной сажи от работающих котельных, — их в городе были десятки, каждая фирма строила свою, не желая делиться теплом с соседями. Подлетая на самолете или вертолете, можно было явно видеть висевшую в воздухе шапку темного смога — и это на Севере, где чистейшие пространства раскинулись на тысячи километров!

Но это никого не заботило. В городе уже десятки лет строилась крупная ТЭЦ, которая должна была аннулировать все котельные периодически и торжественно назначались, но так и не выполняюся крайние сроки пуска ее: то материалов недозавезли, то гвоздей не хватало, то оборудование недопоставили...

Даже и то, что было построено на вечной мерзлоте (казалось бы на века), быстро разрушалось в результате безалаберности и чувства временности пребывания здесь. Все постройки стояли на деревянных или железобетонных сваях, забитых глубоко в мерзлоту. Но она не держала, плыла — из котельных, жилых домов, предприятий отработанная вода спускалась прямо в землю, хотя на всех домах аршинными буквами было написано, что кубометр теплой воды может растопить до десяти кубометров вечной мерзлоты, а струйка воды толщиной с карандаш опаснее мины-фугаски под домом. Но сотни кубов уходили в землю, и не толщиной с карандаш, а толстыми шланговыми струями. Сваи отрывались и тонули, по фасадам домов змеились зловещие трещины. Когда назревала аварийная ситуация, и тут шли по временному пути: постройки скрепляли различными стяжками, балками, поперечинами, в результате чего они выглядели фантастическими сооружениями. Между предприятиями то и дело возникали тяжбы и споры: кто сливает теплую воду в землю?

Кое-кто из «застрельщиков» уезжал все-таки, в отчаянии или спьяну решив «рвануть», но потом неизменно возвращался. Поэт-сторож Андрюша уезжал дважды, столько же — Куницын, а Матвей даже трижды, но все неизменно возвращались на Север, как магнитная пуля. Пряча истинную причину, шутили, что привыкли к длинным рублям, а на материке, дескать, нужно все время слюнить пальцы, чтобы копейка не сорвалась и не закатилась. На самом же деле — и Матвей это особенно остро почувствовал во время отъезда — их неудержимо тянуло назад, в мир простых открытых душ, безоглядной взаимопомощи по первому зову.

Однажды Матвей застрял из-за пурги в аэропорту на две недели, «высох», и его кормил и поил совершенно незнакомый нефтеразведчик, а потом его и нефтеразведчика кормил и поил художник о котором они только и знали, что его зовут Юра. Сказочная страна в наш век холодного расчета и первой заповеди: «Урви, или Урвут у тебя!»

А еще эта сказочная страна полонила души чем-то неуловимым, в каких цветущих городах не пожил Матвей — и в Ленинграде и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в Полтаве, даже скромный Магадан выглядел в сравнении со здешними селениями европейской столицей, а все равно тянуло именно на эту неухоженную, замусоренную, какую-то обиженную землю, вызывающую шемящую любовь.

У него навернулись слезы на глаза («Становлюсь плаксив», машинально отметил он), и, пряча их, он скомандовал:

— Нацеживай!

Каждый по северному обычаю нацеживал себе сам: сколько хочет и может.

— Ну, будем! — Куницын высосал первым. Не выпуская из руки папироску, опрокинула Куховарова.

Поднеся ко рту стакан с водкой, Матвей явственно ощутил запах этилового спирта — первый признак начинающегося штопора. Значит, организм уже переполнен им и обмен веществ идет по сивушной схеме. «Сколько теперь продержусь? Ведь агент еще не раскрыт...»

Матвей нагреб около себя копну пятерок:

— Кто на копытах шататься может?

Вызвались Гаранжа и Куканов, вооружились авоськами, сумками.

— Шампани, коньяку, сиводрала, бормотухи весь ассортимент, на все вкусы, и так, чтобы больше не бегать, наставлял их Матвей.

— Все равно не получится,— радостно ухмыльнулся Андрей, ша.— Еще не раз побегим.

Матвея всегда изумляла его способность выстоять в любой шторм. Худой, в чем только душа держится, но, бывало, все полягут, а он один бредет в магазин, потом растаскивает «павших» по домам. Он объяснял, что сивуха придает ему силы.

— Держитесь,— сказал он, окидывая всех широко расставленными серыми глазами, в которых светились ум и тоска.— Не улетайте!

— А куда мы улетим,— сказала Куховаров.— Уходите, но возвращайтесь.

Когда хлопнула за гонцами дверь, Вадим оживился:

— Для полного кайфа нужно высвистать бабеч.

Он потянулся к красному телефону, который стоял на столе, и обнаружил, что тот разбит. Кряхтя, поплелся в прихожую, где стоял параллельный черный телефон,— тот тоже был разбит. Поставил в недоумении.

— Неужто отрезаны от мира? Оба не работают?

Матвей злорадно наблюдал за ним.

— Почему? Оба работают.

Вадим хмыкнул, рассматривая аппарат, из которого вылезали внутренности:

— А как...

— Придерживай вилку коленом, а говори туда, где слушают, и слушай там, где говорят.

— Меха-а-аника... Ну ладно сейчас наберу для тебя заветный.

Прикрывая диск телефона, чтобы не подглядели (публика хват-кая!), Вадим набрал номер.

— Але! Танюша? Что, котельная? Тьфу...

Снова набрал — не то. Задумался.

— Надо же, вылетело из головы...

Из угла кто-то бухнул:

— У Таньки восемьдесят девять двадцать два.

— Что? Точно! А ты откуда знаешь? — он растерянно блеснул очками.

— Кто ее телефон не знает...

Вадим сконфуженно набрал номер.

— Танюша? Але! Да, Вадим. Только прилетел. Ну, долго рассказывать. Приходи. По дороге подруг захвати — чем больше, тем лучше. Точнее, чем лучше, тем больше. Что? К Матвею.

Та возмущенно застрекотала в ответ.

— погоди! — крикнул Вадим. — Придешь, за бутылкой разберемся.

Он с треском бросил трубку и повернулся к Матвею.

— Отец! Ты уже там побывал.

— Она сама меня высвистала. Только я закрутился и пришел не в точно назначенный срок.

А точнее, он пришел не только не в назначенный срок, а в совсем неудобное время — уже за полночь и пьяный. Танька открыла дверь на щелку и зашипела:

— Сейчас нельзя, у меня гости. Приходите завтра, — и тут же захлопнула.

Гости или гость, если они были, не высовывали в коридор носа, и Матвей, плюнув на порог, ушел. Видимо, об этом сейчас стрекотала по телефону Танька.

— Все справедливо, — кивнул Вадим, выслушав. — Чего ж она возмущается, не пойму.

— Женские капризы. А я не в унисон сработал... Ты бы сказал ей, чтобы марафет навела. Открыла мне — лахудра в стереокино. А после марафета смотрится.

Танька происходила из «неблагополучной семьи» (отец пил запоями) и рано пошла вразнос, познав прелести общения с мужиками, сивухой, и даже, по приглушенным слухам, баловалась наркотиками. Тогда все слухи о наркотиках были приглушены. От какой-то несчастной любви резанула себе вены, ее спасли, вылечили — заодно и от несчастной любви. Поняв, что все мужики на одну колодку, беспутную жизнь продолжала, — правда, до бичей не опускалась, общалась в основном с интеллигенцией, потому что была начитанной сметливой девчонкой с живым тонким умом — могла даже участвовать в теоретических диспутах о любви и дружбе.

«Может быть, агент — она?» — вдруг подумалось Матвею. Он не помнил четко, как его предупредили: то ли появился на квартире, то ли еще появится. Перебрал в уме всех присутствующих зорко следя в то же время за их поведением.

Федор отпадал сразу: не посадят же его на льдину, чтобы забросить таким хитроумным способом. Куканов вообще не жаловал «шишек» — всех посылал в бога и мать, открыто и закрыто. Старухин для этой роли не подходил — кроме снежного барана его ничто не интересовало. Куховарова ненавидела и презирала Верховоду: ведь она тоже хаживала к Петровичу и коротала у него вечера. Лейпциг при всех его недостатках обладал чисто интеллигентской щепетильностью и на такое дело не согласился бы. Овин не подходил по техническим причинам: в любое время мог впасть в депрессию, и тогда хоть трава не расти, плевал он и на десять Верховод.

Куницын хотя и казался авантюристом до мозга костей, но превыше всего ставил законы дружбы и товарищества — Матвей видел, как он однажды бросился на нож пьяного рыбака, закрывая собой товарища.

Онегов тоже конфликтовал с Верховодой — тот увел у него когда-то красивую натурщицу, а потом выжил ее из города.

Об Андрюше и речи не могло быть, настоящие поэты на такое дело неспособны, а Матвей был убежден, что он поэт настоящий.

И все же каждый из них мог оказаться...

Чужая душа потемки. В прошлом какое-то пятнышко, а Верховоде только того и надо: зацепится и всю душу человека вытащит и вывернет наизнанку. В здешнем фольклоре есть образ темного злодея: Владеющий Железным Крючком...

Больше всего подозрений вызывали у Матвея Шутинис, Чужаков и, как ни странно, Вадим.

Хотя Шутинис оказался очень уж гнусной личностью, но среди вот таких опустившихся, грязных типов Верховода и вербовал себе агентов, готовых продать любого друга даже не за лишнюю сотню рублей, а за бутылку любимой бормотухи. Он жил у Матвея уже около месяца без документов, прописки, и никто его почему-то не потревожил, хотя все знали о его местонахождении, даже куркуль Билык однажды приходил под окна и долго грозил кулаком. Жаль, что Матвея тогда не случилось дома, а Шутинис спрятался под тахту и там дрожал, ежесекундно ожидая громового стука в дверь.

Чужаков страдал всеми известными комплексами неполноценности: и маленького роста да невзрачный (носил ботинки на высоких каблуках и со скрипом) — о таких говорят: «Маленькая собачка до старости щенок», и сборник песен задробили, и выразить без мата свою мысль не может... Но очень хитрый, о таких еще говорят: «Выгадывает — в одну дырку лезет, в другую загля-

дывает». Несмотря на доброе отношение Матвея, Чужаков в глубине души почему-то ненавидел его. А может, благодаря этому: ни одно благое дело не остается безнаказанным в нашей жизни.

Ненависть прорывалась у него во время штопора, когда отказывали тормоза. Он ложился поудобнее и начинал на все корки костерить Матвея. Тот удивлялся, разводя руками:

— Ну смотри, какой гнусный... Даже лег поудобнее.

И все-то его вроде невинные замечания были с издевочкой, с подковырочкой.

— Вот ты борешься за справедливость,— говорил он, и глазки его становились колючими.— А сам? Оглянись во гнев: пьянь беспробудная, за все время пребывания здесь ни дня в трезвые не выбился, потому что алкоголь из организма выходит три недели, а ты столько ни разу не протянул.

— Если ты думаешь, что за справедливость борются светлые во всех отношениях мужи, то ты просто несчастный ушибленный. Светлые мужи бьются за свои кресла, потому они и светлые.

— Омар Хайям сказал по сему поводу,— вступал поэт-сторож и декламировал, размахивая костлявыми руками:

Упрекают Матвея числом кутежей
И в пример ему ставят непьющих мужей.
Были б столь же заметны другие пороки —
Кто бы выглядел трезвым из этих ханжей?

— Он так сказал? — недоверчиво спрашивал Чужаков, с трудом припоминая: вроде бы есть такой поэт, что-то где-то слышал.— Про Матвея?

— Мы с ним познакомились на встрече в одном подшефном совхозе,— небрежно пояснил Матвей.— И одно из своих стихотворений он посвятил мне.

Чужаков угрюмо умолкал. Действительно, у Матвея черт знает сколько знакомых и даже с поэтом Хайямом встречался. В его библиотеке много книг, надписанных лично ему авторами, стихи посвящены, сам видел. И надписи теплые, прочувствованные.

Овин и Лейпциг тут же затевали длинный теоретический спор о справедливости, истине, правде. Лейпциг приводил высказывания классиков, Овин доказывал, что понятия «правда» вообще не существует.

— У каждого человека, общества, периода она разная. Где же истинная? И вообще человек придумал слово «правда» себе в утешение.

Чужаков мог пойти на сговор с Верховодой просто для того, чтобы насыпать Матвею наконец-то перцу на хвост, унижить его и почувствовать свое превосходство.

А вот Вадим... Внутренне Матвей чувствовал, что его подозре-

ния беспочвенны, но достаточно было выстроить цепочку фактов и они выглядели зловеще: он первым случайно (случайно ли?) встретился в городе, повел его на квартиру Петровича, давал пояснения, потом сопровождал на Горячие ключи, стараясь быть все время в курсе и незаменимым, а в результате кто-то совершенно точно предупредил матеее о готовящейся секретной акции в отношении капитана Рацукова. Того, видать, подставили или он зарвался в своих домогательствах, и его решили убрать. В матеее выживают не самые сильные, а самые незаметные. И все время где-то мелькал или проходил на заднем плане Вадим.

«Нет! Если я стану и его подозревать, то тогда уж самому осталось посадить на подоконнике горох...

Наверное, кто-то должен прийти. Посмотрим, какая пташка запорхнет сюда».

По телевизору стали передавать ритмическую гимнастику — модное в последнее время зрелище, очень одобрительно воспринимаемое теми, кто в анкетах пишет: «пол — муж.». Особенно любили этих самых гимнасток в купальничках, как помнил Матвей, в нарко — даже «ракетчики» и кое-кто из «вертолетчиков», охая и трясясь, выбирались из своих постелей и ползли на «ракурсы», в которых показывали стройных, выделяющих разные штучки гимнасток.

Зрелище это никакого практического значения не имело — такие штучки могли выделять только профессиональные гимнастки, по восемь часов разрабатывающие гибкость сочленений. А если бы какая-то замордованная домохозяйка, следуя призыву улыбающейся ведущей «делайте с нами», попыталась «сделать», у нее тотчас же хрустнул бы окостеневший от стояния у плиты, в очередях и у детской коляски хребетик. Вот и получается, что передавали его исключительно для «пол — муж».

Тут знали всех звезд по фигурам и даже по фамилиям, которые передавались на фоне бедер или соблазнительных коленок каждой, горячо обсуждали их достоинства, выделяли фавориток. И когда одна из них исчезла с экрана, перестала появляться — чернявенькая, не то китайка, не то корейка, — возмущенный Матвей отбил на телевидение телеграмму: «Елизавету Ли верните. Матвей Капуста».

Неизвестно, что подумали на телевидении, получив такую странную телеграмму, но, видимо, все же сочли гласом народа (пришла с Севера!), и сияющая Елизавета Ли снова появилась на экране. Ее встретили аплодисментами и отметили эту маленькую победу.

Вот и сейчас разлили остатки, подняли в честь ритмичных гимнасток. В этот момент в прихожей что-то загремело, и всунулась сначала страшная авоська, набитая всевозможной стеклотарой

с булькающим содержимым, потом закуржавевший Куканов со второй разбухшей сумкой, следом Андрияша с двумя подобными авоськами, которые гнули его долу, а за ними, настороженно заглядывая в большую комнату, вошли две заснеженные и оттого по-северному притягательные девушки, похожие на снегурочек, — Таня и Яна. Они скинули шубки и оказались обе в джинсах и легких цветастых кофточках-батниках, которые как раз вошли в моду. Матвей вдруг подумал, что если бы принарядить их в такие же цветастые купальнички, как у ритмичных гимнасток, то они гляделись бы не хуже, а может быть, и лучше — все-таки красивые местные девушки.

Следом вперлась бабища в тулупе, которую все запросто называли Митрофановной, с глазами, опухшими от пьянства. Она вела за собой девчущку в клетчатом пальтишке, сначала показалось — дочку, но потом подумалось: откуда у нее дочка? У нее детей отродясь не водилось.

Митрофановна свалила с себя грохнувший тулуп, под ним был засаленный, когда-то роскошный халат, длинный до пят, распахивающийся при каждом движении и обнажавший ее пышные тела. «Это все проделки Таньки, — со злобой подумал Матвей. — Позвонила ей». Митрофановна славилась своими пьяными дебошами и редким умением порушить даже самое благопристойное торжество.

Вообще по натуре это была добрая, но безалаберная женщина из таких же неприкаянных, какие собрались сейчас здесь. Она была еще молода, крепка, только под влиянием алкоголя становилась неуправляемой. А кто здесь управляемый?

Матвей с любопытством следил за незнакомой девчущкой. Та чинно сняла пальтишко и теперь прихорашивалась перед зеркалом, оправляя ситцевое платье с оборками. Даже тоненькие Таня и Яна казались по сравнению с ней взрослыми женщинами. «Неужто из малолеток? — мелькнула тревожная мысль. — Тут тебе и статья. Вот это, наверное, и есть обещанная провокация...»

Но когда девчущка повернулась, все сомнения разом рассеялись. У нее оказалось лицо, густо усыпанное рыженькими веснушками, словно воробьиное яйцо, и совершенно порочные желтые кошачьи глаза. Она прищурила их, разглядывая компанию, вытащила из кармашка платья пачку «Примы» и небрежным жестом сунула сигарету в рот. Щелкнула пальцами, покосившись на Андрияшу, и тот галантно поднес ей зажигалку. Она глубоко затянулась и лениво отставила сигарету, держа ее двумя пальцами.

— Знакомьтесь, — возгласила Митрофановна сиплым голосом пьяного дворника, — Клава, воспитательница детского садика. Телефон восемьдесят один тринадцать. Бежит по первому зову.

На пятерки, валявшиеся под ногами, никто не обратил внима-

ния. Эти и не такое видели — у каждой был солидный северный стаж.

Матвей пригласил девиц в комнату, попутно облапив новенькую: действительно, цыпленок. Она сразу же умело обвисла в его руках, подставила для поцелуя губы, крашенные бантиком.

— Бордельеро потом,— сказал он.— Сначала жажнем.

Он взял бутылку шампанского, отошел в угол, снял проволоку и нацелился в лоб Вадиму. При хлопке тот инстинктивно пригнулся, пробка застряла в его кудрях. Он тут же ловко выстрелил в Матвея — свистнуло у виска.

Вадим принялся разливать пенную струю, а диктор побежал на кухню поставить противень с новой порцией уток. Матвей тоже вышел на кухню и, разняв кричавших маститых начинающих литераторов, открыл фрамугу. Так и есть, не зря мела поэмка. В глаза хлестнул сильный порыв ветра со снегом — пурга. Что ж, скоро можно начинать проверку-эксперимент.

В большой комнате шел горячий спор об НЛО — неопознанных летающих объектах. Затеял его, конечно, Иноземцев.

— А вот, а вот,— потрясал он обветшавшими вырезками из разных газет,— над Украиной пролетел, над Прибалтикой, а в Петрозаводске над главной улицей прокатился. Сообщают — и тут же опровергают.

— Да зачем опровергают? Давно признанный факт.

— Как его признаешь? У начальства при одном намеке судороги: как так, значит, не мы самые главные? Выходит, что и мы под наблюдением, колпаком? Кто дозволил?

— Народ-то видит. Да не скоро скажет.

— А они над нами — наблюдают, наблюдают... — проблеял Овин.

— Ну а нам плевать. Мы привыкли. Кто только нас не наблюдает.

Яна рассказала, как несколько лет назад над их селением пролетело огненное тело, и все высыпали из домов: думали, с той стороны пролива закинули какую-то бомбу.

— Прямо ужас охватил всех, собаки выли...

— Во! — поднял палец Иноземцев.— Необъяснимый ужас — характерный признак приближающегося НЛО. Иди-ка, запишу твои показания. Я собираю официальные свидетельства очевидцев.

И он торопливо повлек ее в соседнюю комнату, совсем не официально обнимая за осиную талию. Все, осклабясь, смотрели им вслед: Яна орешек не по зубам. Она сама выбирала себе возлюбленных, и чуть что не по ней — хлестала по мордасам. Особенно не выносила тех, кто подъезжал к ней на ярко раскрашенной тележке, старательно маскируя свои гнусные намерения, а Иноземцев был именно из таких. Яна же любила прямоту и искренность.

По знаку Матвея все приглушили разговор, прислушиваясь, что дается в соседней комнате. Ждать долго не пришлось: раздался такой звук, будто хлестнули мокрой простыней по столу, и влетела хохочущая Яна. За ней, потирая побагровевшую щеку и пряча глаза, вполз Иноземцев со своими подшивками.

Что, подлец, делает! — указала на него Яна. — Одной рукой записывает, а другой... Очевидец! Сказал бы прямо: раздвайся, ложись.

Веселье становилось неуправляемым. За окном уютно гудела пурга. Матвей взял из угла кожух и шапку. Никто не обратил внимания, лишь Вадим встрепенулся.

Пурга сразу поглотила его — вытянутой руки не видать. Спустившись с крыльца, постоял, дожидаясь: кто же выскочит следом. Под полушубком ладонью грел тяжелую гантель. Но никто не выходил, со стесненным сердцем он пошел, ориентируясь в непроглядном воющем мраке присущим лишь северянам шестым чувством направления, с трудом вытаскивая торбаса из плотных сугробов.

Пурга в этом городе не просто пурга, а кара божья. В глаза летят смерзшиеся куски наста, угольная крошка, песок, мусор. Хорошо, хоть бутылки не летят... За несколько минут на бровях и ресницах намерзли ледяные колтуны, так что уже и глаз не открыть. Впрочем, в этом не было никакой надобности — все равно ничего не видно. На зубах скрипели песок и угольная крошка.

Город не так уж велик — в хорошую погоду из конца в конец три скока. Но в пургу и в жестокий мороз продвижение казалось нескончаемым.

Под ногами чувствовалась твердая дорога — она-то и вела. Матвей миновал здание райисполкома, потом Дворец пионеров, который оставался где-то в стороне. В ревушей мгле слабо обозначились светлые пятна. Он ввалился в пятый магазин и долго отдирал колтун с ресниц. Наконец проморгался и встретил улыбчивый взгляд продавщицы Любы. Она коротала время, сидя у прилавка и пересчитывая скудную выручку, — покупатели в такую погоду забредали редко.

Привычно потянулась к полке с водкой.

— На этот раз шампанского и коробку конфет. — Она всегда без слов давала ему водку, зная вкус Матвея. Он так и говорил, протягивая деньги: «Без слов».

— А ваши ведь набрали... половину полок сгребли.

— Не хватило.

Она лукаво покачала головой, но ничего не сказала.

Снаружи было по-прежнему свирепо, но в этом вое улавливались уже стихающие нотки. Пурга вроде отбушевала, задув мимоходом на просторах тундры несколько жизней, и теперь налета-

ла порывами, хотя могла снова загреть в полную силу и длиться потом несколько дней и даже недель. А стихала, как правило на нечетный день — третий, пятый, седьмой и так далее. Почему никто не мог объяснить, но все это знали.

Теперь направо. Тут должен быть закоулочек, потом тянете короб — бесконечная деревянная коробка, в которую заключены коммуникации: водопровод, паровое отопление, силовой и телефонный кабели. По коробкам ходили как по тротуарам, даже ступеньки там и сям сделаны, чтобы легче взбираться.

Мерзлый короб поскрипывал под ногами, справа и слева прощупывались глубокие сугробы. Вот и дом. Светится ли ее окно? Вроде бы темно, ну да ладно.

Она встретила его, будто ждала, — в нарядном платье, завитая, подкрашенная, — хотя с того памятного похода в тундру к стеклянному дому они ни разу не виделись. То есть виделись на улице, здоровались и — проходили мимо, оба с легкой затаенной улыбкой, словно вспоминая о какой-то общей тайне. «Представляю, как визжит сейчас стеклянный дом. Впрочем, в пургу бутылки сразу же забьет снегом...»

— А я уже спать собралась, — сказала она просто. — Пурга так убаюкивает...

Он вошел, сбросил полушубок и шапку, отряхнул их разом от снега и сунул в угол. Обнял ее и почувствовал, как она часто-часто задышала, словно вынырнула из воды. «Подлец я. Ведь она ждала...»

Чем ему всегда нравились местные женщины — никогда ни в чем не упрекали, не устраивали сцен со слезами и битьем посуды. Ее прерывистый вздох — вот единственный упрек, но он сильнее всякого битья посуды и многочасовых толковищ. «Как они мудры, дети природы...» — подумал Матвей.

Отстранился, заглянул в ее глаза. На тахте валялось смятое одеяло, горел слабый ночник, лежала раскрытая книга — свидетельство долгого одинокого ожидания. Он подхватил шампанское и конфеты, которые оставил у входа на табуретке, прошел к тахте. Она молча пододвинула низкий журнальный столик, принесла с крохотной кухоньки, отгороженной тяжелыми шторами, бокалы и поставила на стол. Матвей сорвал пробку и наполнил их. Шампанское оказалось красным и заиграло в бокалах рубиновыми отблесками.

— Не держи камень на душе...

Подняли и выпили. Она осторожным знакомым движением тонкой руки взяла из коробки конфету и слегка надкусила.

— Не держу. Думала: когда же позовешь? А ты сам пришел?

— Но почему ты не пришла?

— Сама никогда не прихожу...

Он чуть не брякнул: «К Петровичу-то приходила...», но вовремя прикусил язык. Тот ведь ее приглашал, и, наверное, в изысканных вежливых выражениях, как делал это обычно.

Говоря откровенно, мне стыдно перед тобой. Похвалился, вышел... пшик. Сама знаешь.

И тут понял: Петрович до сих пор стоял между ними. Потому не встречались, избегали друг друга.

Она была на суде над Рацуковым и позже — над Касянчуком. Он помнил ее недоумевающий взгляд, когда судебное следствие уходило в сторону, все дальше и дальше, тонуло в каких-то подробностях, не имевших значения. А он чувствовал себя оплеванным с ног до головы.

— Ты сделал... сделал все, что мог,— крепкая рука легла на его пальцы.— Но тут... лбом стену не прошибешь.

Спокойные, разумные слова. Насмехается, что ли? Но глаза ее казались печальными и мудрыми. Как будто посмотрела на него сама тундра, смирившаяся уже со всем.

Он снова наполнил бокалы, потушил ночник и увлек Уалу на тахту.

— Теперь над нами нет вертолета,— прошептала она с коротким смешком, и это были ее единственные слова.

Только сейчас он вдруг ясно понял, насколько она одинока. Да, у такой женщины только два выхода: или пойти по рукам, или запереться в жестоком одиночестве. Муж? Но где его возьмишь, понимающего... А иного она не хотела.

Матвей ощупью нашел сигареты и почувствовал, что она тоже протянула руку. На миг огонек спички выхватил ее разгоревшееся лицо с опущенными ресницами. В темноте затлели вспышками Два красноватых огонька. Слышно было, как стихают порывы пурги.

Она легко поднялась, походила по комнате, чем-то шурша, и вдруг вспыхнул яркий верхний свет. Матвей зажмурился, потом повернулся; она стояла перед ним в расшитом красными и синими Цветами халатике.

— Вставай, лежебока,— весело сказала она,— Сейчас ужина-

ушла на кухню, там зазвенела, забрякала посуда.

Матвей снова погасил свет и осторожно приподнял оконную штору, снег, летевший почти горизонтально, поредел, и внизу на тротуаре

Различил темную фигуру, прислонившуюся к столбу. «Ага, значит, они задействовали наружное наблюдение...»
-Зачем выключил? — она остановилась на грани света
тмы с тарелками в руках.

У тебя что-нибудь покрепче есть?

Конечно, найдется. Кажется, виньяк. Остался еще...

— Неважно,— он снова включил свет, взял из ее рук тарелку.— Неси.

— Только все холодное. Или разогреть что-то?

— Зачем? Красная рыба, оленьи языки, моченая брусника Царский ужин!

Он бросил зловещий взгляд на окно. Померзши там, овечий хвост, отработай свои иудины серебряники! Рыцарь...

Она пила шампанское, а он виньяк. Даже в этом изысканном напитке явственно чувствовался запах этилового спирта. Штопор набирал силу... Чем он кончится?

Матвей снова погасил свет и подошел к шторе. Темная фигура прохаживалась по тротуару. «Упорный, гад...» Вернулся к тахте, на которой смутно смуглело ее тело,— из кухни пробивался слабый свет и рельефно обрисовывал его таинственными полутенями, Лег рядом и закурил, она тотчас прильнула и положила голову на грудь. Рассыпавшиеся волосы зашевелили лицо, но он не отстранился.

— О чем ты думаешь?

Этот вопрос под занавес — лишь бы что-то сказать — всегда раздражал его. О чем думаешь? Разве выразишь словами ураган пролетающих мыслей? Обычно отделялся коротким ответом: «О судьбах России»,— и больше к нему не приставали. Но сейчас почувствовал, что ее действительно что-то тревожит.

— Поздно.. — прошептал он.

— Что поздно?

— Слишком поздно приходит к человеку все: мудрость, слава, богатство и любимая женщина. Конечно, ни славы, ни богатства ко мне так и не пришло, да и мудрости кот наплакал, одни банальные истины...

— А любимая женщина? — шепнула она.

— И она пришла поздно... — сразу почувствовал, как окаменело и почужело ее тело.

Она молчала.

— Ну, когда-нибудь объясню... — он потянулся к бутылке, поболтал в ней — только черты остались. Взглянул на светящиеся штурманские часы: закрыт уже и пятый. Но дома должно быть, не вылакали же все, да и запастись должны, две-три светлые головы дальновидности не потеряли.

Она сидела рядом, свернувшись в комочек, обняв колени. Чужая и далекая. Вот только что и ее потерял.

Приподнялся и приблизил лицо к ее глазам. И удивился: всегда темные, как омуты, в сумраке они сверкали сухим злым блеском.

— Эх, станцевала бы сейчас, да не перед кем! — вырвалось вдруг у нее,— Нет общества!

Он понял. Допил чертей и взвесил бутылку в руке. Что ж, придется пробиваться с боем. Правда, для рукопашной он сейчас почти не годится, предательская слабость подкашивала, сковывала руки. Но на одну вспышку хватит...

Будет тебе и общество. Одевайся.

Они молча оделись, выключили свет, за ними коротко шелкнул замок, отрезая от тепла и уюта. Крепко держа ее, а другой рукой сжимая пустую бутылку, он спустился вниз по скрипучим ступеням. Выглянул наружу.

— Постой здесь минутку. Что бы ни увидела, не выскакивай, не вмешивайся. Мужское дело.

Сунул бутылку в карман и прямоком направился к темной фигуре сквозь рваные полосы снега, летевшие в воздухе. Подошел, глянул. Шапка глубоко нахлобучена на лицо, короткий, как и у пего, полушубок, но воротник поднят. «Прячешься, паразит?»

— Дай прикурить.

«Как протянет огонек, звездану бутылкой в висок».

Тот пошарил в карманах, вытащил, чиркнул и протянул руки, сложенные по-северному в ковшик, на дне которого теплилось пламя. Матвей выхватил из кармана бутылку и... как зачарованный уставился на трепещущий огонек зажигалки — блестящая женская фигурка из металла. Такая зажигалка только у одного человека на Севере.

Он швырнул бутылку в сугроб и от души саданул темную фигуру под ребра:

— Родион!

Тот незамедлительно саданул его в ответ:

— Матвей!

Но что-то налетело сбоку и свалило его в сугроб. Матерясь, фигура забарахталась в снегу, а Матвей оттаскивал брыкающуюся Уалу. В руках у нее невесть откуда оказался увесистый дрын.

— Я ему покажу... мужское дело. Пуст!

— Утихомирься. Расслабься...

— Я приемы самбо знаю!

Это прозвучало жалобно. Родион выцарапался наконец из сугроба, и оба от души расхохотались.

— Аника-воин! Да разве мужика приемом самбо возьмешь?

— К тому же на одного вдвоем, хоть и с женщиной, я никогда,— добавил Матвей.— На меня и вдвоем, и втроем, и черт знает сколько, а я — нет. Ты чего тут?

— Поджидаю одного... Морду набить.

В прошлом Родион обретался на столичном телезаводе «Рубин», был один если не из тысяч, то сотен специалистов, незаметных тружеников. А приехав сюда, сразу стал звездой первой величины: досконально знал свое дело, любую поломку находил

за пять—десять минут и, как правило, устранял на месте, не заставлял волочить цветную дуру весом в семьдесят кг в ателе. За это ему щедро, не торгуясь, накидывали сверх (ведь по квинтанти мизер — без учета местных условий!), и он не отказывался. Уже через полгода мотался на вызовы на собственном драндулете — «Запорожец», гонял по коротким улицам города для ускорения работы, чтобы не бегать по сугробам с тяжеленным чемоданчиком, как раньше. И хотя парень явно набивал чулок,, никто не осуждал его: не крадет, своими мозолистыми зарабатывает, может, у него детишек куча или мама больная. А если и для красивой жизни потом, кому какое дело, горбатится честно, для чего же в холоде прозябать?

Но старший бухгалтер быткомбината завидовал черной завистью работающему оборотистому малому, который в поте личности «мэйкмонил»: «бух» устраивал внезапные проверки, ревизии, опросы заказчиков — целые референдумы. И направлены референдумы были не на улучшение обслуживания населения, а на то, чтобы подловить единственного толкового мастера и выгнать с позором. Однако мастера никто не продавал, все прекрасно понимали, что такой ас для города клад: еще свежа была в памяти тягомотина с починкой, которой занимались до Родиона недоученные мастера.

— Может, он уже дрыхнет давно!

— В кино пошел, сам видел. Ну а я выждал — и сюда. А потом вспомнил, что фильм индийский, знать, двухсерийный. Все равно, думаю, дождусь гада, раз запалился,— Родион сжал свой трудовой кулак.

— Плюнь и идем,— убеждал Матвей.

— Ну ладно,— Родион махнул рукой.

— Это дело! Пойдем ко мне водку пить.

— Машина за углом.

«Запорожец» стоял, чуть подрагивая работающим мотором. Тут зимой мотор не глушили: сразу же трубы перемерзнут. И не раз во время всяких совещаний стояли стаями «газики» да «уазики», бормоча и дымя выхлопными трубами в морозном воздухе, ежечасно пережигая сотни килограммов ценного, привозимого-издалека топлива. Жители шли, криво ухмыляясь: там переливают из пустого в порожнее, а тут рубли из баков переливают в воздух.

В маленькой кабине было тепло и уютно. Уала приникла к его плечу, и Матвеем вдруг показалось, что они едут в какую-то сказочную страну. Родион ожесточенно крутил баранку, объезжая сугробы.

— Чего ты приличную машину не купишь, «жигуль»?

— Зачем он тут? «Жигуль» я на материке возьму.

«И эту жизнь откладывает на потом. А мы тут живем... Вдруг все выжрали? — мелькнула тревожная мысль.— Нет, там Андрюша, он позаботится. В крайнем случае, бутылка на стеллаже осталась».

Окна квартиры Матвея на фоне темного настороженного дома ярко светились.

— Что там у тебя?

— Гуляем...

— А со мной как раз магнитофон, новейшие записи.

Уале захлопала в ладоши. Не чувствовала, к какому веселью едет...

Квартира встретила их слаженным ревом трех голосов: Митрофановны, поэта-сторожа и Снежного Барана. Они сидели в ряд на тахте и раскачивались в такт, закрыв глаза и выпевая: «Чукотка! Это ты, Чукотка!» Везде валялись «павшие», Куницын — прямо в прихожей, уткнув лицо в затоптанный пол и вытянув вперед руки, будто ему всадили в спину нож.

— Это я, не стрелять! — сказал Матвей громко и, отодвинув ноги Куницына, с трудом захлопнул дверь. «Павшие» открыли мутные очи.

— А,— сказал Снежный Баран.

Матвей метнул взгляд — всюду пустые бутылки вперемешку с мятыми пятерками.

«Неужели все они? Прямо уму непостижимо, сколько может выжрать наш простой человек!»

— И не запаслись?

— А,— опять вякнул Снежный Баран.— Идем, покажу.

Под ногами хрустело стекло. Зашли в малую комнатку. В одном углу опять лежал Шутинис, раскинув ноги в дырявых носках, рядом — Чужаков, накрывшийся половой дорожкой, на которой белели окурки и мусор, а в углу, на полушубке, спали Иноземцев и Клава.

— Прекрасное зрелище! — воскликнул Родион. Прекрасным оно было потому, что спящую парочку густо, словно частоколом, огородили разнокалиберными полными бутылками. Матвей подошел и взял пучок бутылок.

Зашли в большую комнату. Матвей помог Уале раздеться, поискам, куда бы повесить одежду,— вешалка сорвана, даже гвозди в стене прихожей повыдерганы. «Все мешает пьяному человеку... Бросил шубку на тахту.

Митрофановна бессмысленно хлопала опухшими глазами, пытаясь что-то запеть. Но из горла вырывалось только сипение.

— Тебя муж задался,— потрепал ее по плечу Матвей. Она мвлча, но красноречиво скрутила и сунула ему под нос фигу. «Началось,— с тоской подумал он.— Надо позвонить мужу». Мигнул

Андрюше и указал на телефон. Тот понял и подался в прихожую
— А где Танька и Яна?

— Тс-с! Они на кухне с Онеговым.

— О! Культурно устроился.

Уала прохаживалась, улыбаясь. Родион собрал со стола захватанные стаканы и пошел мыть. Вернувшись, сообщил:

— Там еще один блаженствует...

Уала отправилась полюбопытствовать и взвизгнула. Матвей пошел следом и увидел в наполненной теплой ванне спящего охотника-промысловика Гену Белошишкина, голого, но почему-то в пыжиковой шапке. Впрочем, вода в ванне была совершенно непрозрачна, как и во всех трубах города,— торфяная. Приезжие с материка поначалу даже боялись ею мыться: течет из крана вроде темного пива, и все пытались переждать, когда она посветлеет. Но на самом деле это была очень мягкая и даже полезная вода, настоящая на тундровых травах, с разными целебными примесями, как уверяли эскулапы.

— Все наши люди,— вернувшись, сказал Матвей.

Родион уже разлил по стаканам, и они выпили.

— Если хотите есть — закуски море,— сказал Андрюша.— Только она на кухне.

Родион завел музыку — взвизгивающую, ревущую.

— Соседи не запротестуют?

— Наоборот. Они сами такие.

Дом стоял над обрывом — глубоко внизу чернели острые камни, о которые бились набегающие свинцовые валы. Жильцы дома не раз просили коммунальное начальство огородить обрыв хотя бы каким-нибудь хлипким заборчиком, чтобы туда не сорвался кто-нибудь из мальцов, на что им отвечали:

— Тут огородим, в другом месте сорвется. Весь берег не огородишь... Вы лучше за детьми смотрите.

Да что говорить о нетипичном обрыве! Город делился на две части — верхнюю и нижнюю. Из верхней в нижнюю вела обходная дорога для машин, а для пешеходов напрямик деревянная лестница — ветхая, шатающаяся и скрипящая. По ней и в трезвом виде пройти страшно, а для пьяного — так прямо испытательный трек. Зимой ступеньки часто заметало снегом, «трек» заледеневал, и тогда и трезвые, и пьяные срывались, в считанные секунды пролетали лестницу, заканчивая головокружительный спуск прямо у приемного покоя больницы, расположенной внизу, что было удобно для тех, кто по пути что-то себе ломал.

После неоднократных выступлений местной прессы и фельетонов Вадима на некотором расстоянии от деревянной построили более широкую и современную (бетонную) лестницу, но и ее так же заметало снегом, а чистить было некому.

Под приглушенную музыку и несмолкающий вой пурги хороша беседовалось.

Одного не пойму, почему у алкашей постоянно чувство вины — говорил Родион, обгрызая кусок валявшейся на столе юкы — Ведь ничего противозаконного они не совершают — алкоголь продается во всех магазинах, потребление его стимулируется, публикуются разные статьи: как и что пить, чем закусывать, что с чем сочетается — пиво с воблой, коньяк с шоколадом, одеколон с рукавом.

— Умеренно пить надо,— вставил Андрюша.

— Алкоголь по природе своей такая пакость, что его пить умеренно никак нельзя. Вот пастух приходит из тундры и глушит до тех пор, пока не просадит все, что заработал за год, прыгая по кочкам. Он лежит на снегу, раскинув руки, а над ним воспитатель стоит и долдонит: «Пить нельзя, нехорошо!» А он резонно отвечает: «П-почем-му нех-хорошо? Мне хорошо!» Что ему ответить, чем пробьешь такой аргумент?

— Раньше все полоскали купцов аль заморских конкистадоров: акулы, варнаки. Наскочит с огненной водой иод мышкой, споит несчастное дитя тундры и весь его заработок уволокет. Сейчас акул нет, кругом агитаторы, воспитатели мельтешат, правильные лозунги развешаны, а «дитя» заработок свой все равно спускает, просаживает на огненную воду.

— Нужно воспитывать культуру потребления, чтобы не глотали ведрами.

— Откуда ей взяться, культуре? Тут еще куда ни шло, а на материке? Еле наскреб, взял с другом, а где выпить? В ресторан с бутылкой не пускают — заказывай за двойную плату да с закусоном, в столовых дешевле, да за шиворот хватают, в парках и скверах ловят, за углом контроль, в подворотне патруль. Вот и нырнешь в туалет да ее и хватанешь, причем из горла. Тут тебе и культура.

— В дни моей юности, помню,— вставил Матвей,— везде рюмочные были. За рубль сто грамм и бутерброд с колбасой, сыром или красной икрой, тогда она еще не была позолоченной. Зашел, культурно шархнул и пошел. Не помню, чтоб и пьяные валялись.

— То в дни твоей юности. Тогда алкаш умеренный был, удовлетворялся ста граммами. Вот ты прошел все нарко и дурдомы, видел ныне таких? То-то. Ныне алкаш озверел, меньше чем бутылку зараз не выбулькивает.

— А почему?

— Просвета нет. Раньше над головами гордо реял Буревестник, черной молнии подобный, а теперь сам реешь: жажнешь — воспарись.

— Черная? Нет, не молния, а радуга. Черная радуга,— сказал вдруг Снежный Баран. Все посмотрели на него с опаской.

— То есть?

— У нормального человека житье — как светлая семицветная радуга: тут и радости, тут и горести. А у нас любые радости и горести подернуты черным туманом сивухи. Та же радуга, только в темной мгле...

Появился изрядно помятый Онегов.

— Я бы выразился конкретнее,— сказал он деловито, направляясь к столу, на свое рабочее место.— Вообще черные полосы штопора, перемежающиеся светлыми полосами относительно трезвой жизни. Это радуга сирых и обездоленных. Какие у нас радости? Плюнуть и растереть. Как сочная морковь перед носом у осла — светлая жизнь все маячит на горизонте. А сегодня вкалывай, мантуль, горбататься! И все подернуто брехней, как дымом из кочегарки...

Онегов кончил махать фломастером и поднял большой белый лист. На нем изогнулась черная полосатая подкова, словно ворота в сюрреалистический мир.

— Знаете, что это такое? Графическое изображение полураспада.

Все глядели не отрываясь.

— И ты хочешь сказать...

— Это верно. До конца еще вроде и не распались, снаружи глянуть — держимся, а внутри...

Появились обнявшиеся Танька и Яна, по-прежнему свежие, только слегка растрепанные.

— Ага,— Матвей вспомнил о своих обязанностях хозяина'.— Кухня от оккупации освобождена. Несите что там из закуси. И остальных поднимайте.

Матвея все сверлила мысль: кто же агент? Из оставшихся или из новоприбывших? Первых он «проанализировал», и если то были Чужаков или Шутинис, то они вырубались и никакой оперативной ценности не представляли. «Сюда им нужно засылать ребят с глоткой. Не каких-то цуциков...»

Из новоприбывших тоже ни один не вызывал подозрений. Танька и Яна, Белошишкин — все из местных и не жаловали Верховоду, слыша от него только ругань и «давай-давай!». Местному человеку достаточно сказать, что он плохой человек, и тот может пойти в тундру и застрелиться или зарезаться: для него нет более тяжкого оскорбления. Просто чудо, что все поездки Верховой воды в глубинку с руганью и матом не кончились до сих пор такой трагедией. А может, и охотники уже не воспринимали всерьез его болботанье. От никчемного человека оскорбление тут не считается таковым, а его уже давно считали никчемным.

Все-таки он еще раз присмотрелся к ним. Таню и Яну вызвал Вадим, значит, они отпадали. Если же Вадим вызвал их специально и сам замешан, то зачем ему прибегать к другим, когда сам мог управиться. Один из главных законов матее: не вовлекать чистых свидетелей, обходиться минимумом исполнителей. Им ведь тоже платить надо. Эти к разбухшим штатам не стремились.

Белошишкин еще тогда в зимовье ясно изложил свою позицию. Но почему до сих пор здесь толчется, или погода нелетная? Правда, все объяснял штопор, но он мог служить и прикрытием.

На кухне вдруг раздался звон, и появился Вадим — оказывается, спал там в углу прямо на бутылках, как йог.

Мысли путались. Все воспринималось какими-то пятнами: вот пятно с Уалой у стены, вот пятно с Таней и Яной — они несут консервы с кухни, вот пятно с Родионом, увлеченно развивающим какую-то мысль. Родион... А вдруг подослан именно этот оборотистый малый?

Он с трудом налил и выпил — портвейн. Черт, не надо было мешать. Пьется легко, но потом падаешь, словно подрубленный. Однако мысли немного просветлели: взбодрила музыка, резанувшая вдруг по ушам.

Уала танцевала!

Захваченные этим зрелищем, все смотрели на нее. Даже Митрофановна таращилась, пытаясь выпрямиться. Таня и Яна не выдержали: ритмы у них в крови, и они образовали три огненных вихря.

Через час-другой публика поредела. Матвей различал в тумане только Родиона, лежавшего на тахте, и Снежного Барана, сидевшего попеременно то в правом, то в левом углу, но бутылки из колен не выпускавшего. Телевизор уже работал: передавали ритмическую гимнастику, Уала стояла напротив и легко повторяла все упражнения. «Вот она могла бы стать ритмической звездой¹. Матвей, одетый в полушубок и шапку, почему-то стоял на пороге». «За сивухой, что ли? Нет, кажется, в морпорт...» Зачем и почему — не знал, но знал Андрияша, который стоял рядом тоже одетый и говорил:

— Мы скоро вернемся, из морпорта позвонили: все готово.

По пути морозный воздух постепенно прояснил мысли. Они прошли по поселочку, называемому Казачкой, и повернули к порту — Андрияша уверенно вел его.

А Чужаков-то... хорош гусь, как услышал, что контейнер грузить, сразу испарился.

М-да... Он такой.

Контейнер уже стоял на машине, шофер распахнул дверцу:

Куда ехать? Повезло вам, последний пароход завтра отходит.

В теплой кабине он снова выключился. Очнулся, когда грузили вещи, таскали книги, уложенные в картонные ящики из-под вина всем распоряжалась Уала:

— Телевизор в одеяло укутайте, положите в кресло и привяжите.

Они махали вслед контейнеру. Шофер пить не стал, взял бутылку с собой. «Оприходую после работы».

Сейчас в квартире было вольготно. Посреди стоял Шутинис и озирался. Появилась соседка Люба с маленькой мордочкой, похожей на печеное яблоко, и ее сожитель Женька, кудряш, злобный взгляд исподлобья. Они со скандалом выталкивали Шутиниса: «Паразит, пригрелся тут, всю квартиру запакостил!» Шутинис надел нейлоновую куртку Матвея: «Завтра принесу». Больше его никто не видел.

Теперь уже время шло проблесками. Компания продолжала колобродить в квартире как самостоятельное общество, а параллельно шла жизнь Матвея, мало чем связанная с этим сообществом. Вот он с Уалой сидит в кинотеатре на двухсерийном фильме (и высидел — фляжка в кармане помогла), вот оказались в ресторане, куда она затащила его поесть чего-нибудь горячего, вот снова на ее квартире — лежа рядом с ним, она жалостливо гладила его по груди:

— Когда ты выйдешь из этого состояния?

— Хрен его знает,— прохрипел он, закуривая.— А какое сегодня число?

Она сказала, он силился вспомнить начало, чтобы сделать отчет, и не смог — все мелькала хитрая физиономия Чужакова. Да, земля стремительно приближается, кустики уже щекочут живот, еще немного...

Они снова оказались на его квартире — пустая комната, по углам валяются смятые синенькие пятерки. Ни телевизора, ни даже люстры — ее унесли Люба и Женька, оставив одну только лампочку, которая тускло освещала широкую тахту.

— Ты, Матвей, не стал грузить ее,— пояснила Уала.

— Куда грузить? — не понял Матвей.

— В контейнер. Ты ведь отправил все вещи на материк.

— А разве я уезжаю? Мы ведь только что отмечали новоселье.

— Когда это было...— засмеялась.— Ты все перепутал.

Он тяжело задумался, опустив голову.

— Куда отправлен контейнер?

— Не знаю. Ты никому не говорил. Но в документах, наверное, указано, вон портфель стоит.

Из соседней комнаты доносились резкие спорящие голоса Овина и Лейпцига: «По-моему, роман Франца Кафки предельно точно отражает и указывает...»

Кто там? — тревожно спросил он.

- Никого. Я всех вытурила.

Крадучись, он пошел к портфелю якобы посмотреть документы. Все бумаги в нем оказались перемешаны, скомканы и залиты чем-то красным, характерным — «Каберне»! Под бумагами нашарил: есть. Вытащил тяжелую «бомбу», поискал глазами стакан. Уала смотрела на него с жалостью.

Потом принесла стакан. Он жадно выпил, закурил.

— Ты уже целую неделю ничего не ешь.

— Не хочется. Где-то должна быть электробритва.

Сил прибавилось, он нашел в портфеле бритву и пошел в ванную. Из зеркала на него глянула заросшая, какая-то звериная морда. «Тьфу! Надо спускаться па тормозах... на легком вине. А где его взять?» Старательно побрился, оставив свою шкиперскую бородку, густо пронизанную серебристыми нитями. «Странно, в голове седины не видно, а в бороде так и пестрит». Но он знал, что и в голове седины много, просто она русая, а борода черная, вот и видно. Умылся, хотя холодная вода вызывала дрожь и отвращение. А когда-то каждое утро, посвистывая, обливался ледяной водой. Боязнь холодной воды — явный признак завершающегося штопора. Но чем он завершится?

Утерся полой собственной рубашки — полотенца нигде не видно. Потянулся и пошел в комнату. Уала встретила его все тем же жалостливым взглядом.

Голоса заговорили злобно, напористо.

— Воображаешь, что борешься за справедливость? — подал из угла ехидную реплику Чужаков.— Да ты просто псих!

— Совершенно с тобою согласен,— это голос Вадима. Его не видно, но кажется, он снова протирает очки — на Севере они без конца то замерзают, то отпотевают.— Каждый, кто воображает, что на свете есть справедливость, какая-то правда, должен быть незамедлительно заперт на засовы. Крепкие.

— Позволь, поз-зволь, эт п-почему? — Лейпциг заикался.

— Пробовал я искать правду,— вклинился Белошишкин.— Собрался и нацарапал цидулю в Главохоту. А она и прилетела прямо в толстые руки Верховоды.

— А он?

— Кинул под лавку. Буркнул: «Хорошо, что мы тут людей научили читать. Плохо, что мы научили их еще и писать...» Просветитель!

— Мир запрограммирован на несправедливость. Она есть движущая сила прогресса и эволюции — я имею в виду эволюцию по восходящей спирали. Не будем говорить о животном и растительном мире, там все зиждется на грубой силе — «кто смел, тот "съял».

В теплой кабине он снова выключился. Очнулся, когда грузик вещи, таскали книги, уложенные в картонные ящики из-под вина всем распорядилась Уала:

— Телевизор в одеяло укутайте, положите в кресло и привяжите.

Они махали вслед контейнеру. Шофер пить не стал, взял бутылку с собой. «Оприходуя после работы».

Сейчас в квартире было вольготно. Посреди стоял Шутинис и озирался. Появилась соседка Люба с маленькой мордочкой похожей на печеное яблоко, и ее сожитель Женька, кудряш, злобный взгляд исподлобья. Они со скандалом выталкивали Шутиниса: «Паразит, пригрелся тут, всю квартиру запакостил!» Шутинис надел нейлоновую куртку Матвея: «Завтра принесу». Больше его никто не видел.

Теперь уже время шло проблесками. Компания продолжала колобродить в квартире как самостоятельное общество, а параллельно шла жизнь Матвея, мало чем связанная с этим сообществом. Вот он с Уалой сидит в кинотеатре на двухсерийном фильме (и высидел — фляжка в кармане помогла), вот оказались в ресторане, куда она затащила его поесть чего-нибудь горячего, вот снова на ее квартире — лежа рядом с ним, она жалостливо гладила его по груди:

— Когда ты выйдешь из этого состояния?

— Хрен его знает,— прохрипел он, закуривая,— А какое сегодня число?

Она сказала, он силился вспомнить начало, чтобы сделать отсчет, и не смог — все мелькала хитрая физиономия Чужакова Да, земля стремительно приближается, кусты уже щекочут жи вот, еще немного...

Они снова оказались на его квартире—пустая комната, по углам валяются смятые синенькие пятерки. Ни телевизора, ни даже люстры — ее унесли Люба и Женька, оставив одну только лампочку, которая тускло освещала широкую тахту.

— Ты, Матвей, не стал грузить ее,— пояснила Уала.

— Куда грузить? — не понял Матвей.

— В контейнер. Ты ведь отправил все вещи на материк.

— А разве я уезжаю? Мы ведь только что отмечали новоселье.

— Когда это было... — засмеялась.— Ты все перепутал.

Он тяжело задумался, опустив голову.

— Куда отправлен контейнер?

— Не знаю. Ты никому не говорил. Но в документах, наверное, указано, вон портфель стоит.

Из соседней комнаты доносились резкие спорящие голоса Овина и Лейпцига: «По-моему, роман Франца Кафки предельно точно отражает и указывает...»

Кто там? — тревожно спросил он.

Никого. Я всех вытурила.

Крадучись, он пошел к портфелю якобы посмотреть документы. Все бумаги в нем оказались перемешаны, скомканы и залиты чем-то красным, характерным — «Каберне»! Под бумагами нашарил: есть. Вытащил тяжелую «бомбу», поискал глазами стакан. Уала смотрела на него с жалостью.

Потом принесла стакан. Он жадно выпил, закурил.

— Ты уже целую неделю ничего не ешь.

— Не хочется. Где-то должна быть электробритва.

Сил прибавилось, он нашел в портфеле бритву и пошел в ванную. Из зеркала на него глянула заросшая, какая-то звериная морда. «Тьфу! Надо спускать на тормозах... на легком вине. А где его взять?» Старательно побрился, оставив свою скиперскую бородку, густо пронизанную серебристыми нитями. «Странно, в голове седины не видно, а в бороде так и пестрит». Но он знал, что и в голове седины много, просто она русая, а борода черная, вот и видно. Умылся, хотя холодная вода вызывала дрожь и отвращение. А когда-то каждое утро, посвистывая, обливался ледяной водой. Боязнь холодной воды — явный признак завершающегося штопора. Но чем он завершится?

Утерся полой собственной рубашки — полотенца нигде не видно. Потянулся и пошел в комнату. Уала встретила его все тем же жалостливым взглядом.

Голоса заговорили злобно, напористо.

— Воображаешь, что борешься за справедливость? — подал из угла ехидную реплику Чужаков. — Да ты просто псих!

— Совершенно с тобою согласен, — это голос Вадима. Его не видно, но кажется, он снова протирает очки — на Севере они без конца то замерзают, то отпотевают, — Каждый, кто воображает, что на свете есть справедливость, какая-то правда, должен быть незамедлительно заперт на засовы. Крепкие.

— Позволь, поз-зволь, эт п-почему? — Лейпциг заикался.

— Пробовал я искать правду, — вклинился Белошишкин. — Собрался и нацарапал цидулю в Главохоту. А она и прилетела прямо в толстые руки Верховоды.

— А он?

— Кинул под лавку. Буркнул: «Хорошо, что мы тут людей научили читать. Плохо, что мы научили их еще и писать...» Промсветитель!

— Мир запрограммирован на несправедливость. Она есть движущая сила прогресса и эволюции — я имею в виду эволюцию по восходящей спирали. Не будем говорить о животном и растительном мире, там все зиждется на грубой силе — «кто смел, тот и съел».

— Но разум... гуманность!

— Вот-вот. Человек изобрел такое понятие, как справедливость, и силится его достичь, но на самом деле это фантом, миф. Равенства и справедливости в обществе никогда не было. К справедливости нужно стремиться, но при этом твердо знать, что она несбыточна.

Матвей очнулся. Разноцветные волны пронизывали тело.

— Лена... — сказал он.

— Что, Петя? — едко отозвалась Уала, полагая, что он зовет другую. Женщины такого не прощают.

— Лена... одна девушка говорила... что у меня не будет ни семьи, ни детей... обречен на вымирание.

— Какая Лена? — спросила она ревниво.

— Это было давно... на мосту Поцелуев. Перед этим я выпил, а она учуяла. Тоже противница... Сейчас далеко, у нее муж, ребенок... благополучная семья... все прошло... осталась только черная радуга... черная радуга...

Он поднялся — и рухнул во мрак. Очнулся и увидел чьи-то ботинки рядом, у самого лица. Оторвал голову: на полу лужа крови. Зубы и лоб сильно болели. Чьи-то руки помогли ему подняться. Из рта капала кровь, кто-то обтирал ее с подбородка ватным тампоном. Белый халат... за ним еще два, смутные пятна вместо лиц. Ага, прибыла наконец группа захвата. За белыми халатами блестели испуганные и потому незнакомые глаза Уалы.

— Эт-то ты... вызвала? А я думал... все думал: кто? Вот и разгадка... не зря ты оставалась до последнего.

Ему закатали рукав, боль от укола не чувствовалась — алкоголь все анестезировал. Но сознание начало проясняться, он различил худое лицо в морщинах. Ясно и четко: Киссель, врач-нарколог, они не однажды вели долгие диспуты об алкоголизме. Киссель, как говорили злые языки, сам славился штопорами. Рассказывали такой анекдот. Приходит алкаш и жалуется, что по нему бегают пауки, при этом снимает их и сбрасывает на стол. Киссель сбрасывает их со стола: «Ты чего же на меня кидаешь, паразит?»

— И ты, Юра... продался... ты же сам такой.

— Не психуй, — сказал Киссель. — Мы приехали инкогнито, все в ажуре. Уала попросила.

Только тут он увидел, что два других халата — женщины, даже девушки. Они готовили новые инъекции, успокаивали его. Нежные, бережные движения. Вот так же когда-то он валялся одинокий, брошенный так называемыми друзьями в какой-то гостинице и сил не было. Но пришли три добрые женщины, херувимы из соседней конторы, — узнали о его горькой беде. Только хлопотали и нежно что-то говорили. Из ниоткуда силы вернулись...

Горячая волна благодарности охватила его, он подозревал Уалу

и молча взял за руку. Но настороженность не прошла: цепко следил за препаратами, которые передавал девушкам врач, для этого приходилось напряженно фокусировать зрение.

Они вкатили все сполна, что полагалось из поддерживающего, по привычной схеме: глюкозу, витамины, успокаивающее, сердечное. Матвей уже смог подняться и пожать Кисселю руку:

— Я твой должник.

— Выздоровливай,— кивнул тот, и все ушли. Матвей пошарил глазами по углам: пятерки исчезли. Уала прибрала. Но где-то в боковом кармане кое-что оставалось. Пошел в туалет — унитаз разбит, к чему бы? В боковом кармане нащупал бумажник с деньгами. Выйдя, стал деловито одеваться, чувствуя во всем теле звенящую опустошенность.

— Сейчас приду,— бросил Уале.

— Но тебе же нельзя!—с отчаянием вырвалось у нее.— Столбом упал — лицом об пол. Лоб разбит...

— Ничего, шапка закроет. Сама видишь, я уже нормален. Спасибо тебе. Магазин работает?

— Уже... — безнадежно выдавила она.

Лохматая собачья шапка действительно закрывала почти все лицо — очень удобно, и Матвей иногда пользовался этим, когда после штопора приобретал такой вот звериный облик.

— Лучше я схожу.

— Нет, надо пройтись.

На крыльце он остановился, полной грудью вдохнул морозный воздух, и голова закружилась. Дрожащими ногами стал осторожно нащупывать ступеньки. В это время из-за угла вывернулся автобус.

Матвей почти никогда не ездил в местном автобусе: город и так с куриную лапу, смехота — на автобусе ездить. А тут понял: сам не дойдет. Автобус затормозил у остановки, он, торопясь, побежал и — упал, ноги не держали. «Фу ты, черт!» — с трудом поднялся. Шофер, увидев его в зеркальце, терпеливо ожидал, думая, что просто поскользнулся. Матвей еле взобрался в автобус.

От магазина он побрел пешком, чувствуя, как с каждым шагом возрастает уверенность. Встречались прохожие, но почему-то ни одного знакомого, ни одного из тех, кто вереницей проходил в эти дни через его квартиру,— словно разом вымерли или их куда-то увезли вертолетом. «Вот так они хлынут и отхлынут. В конце концов остаешься один, совершенно один... Наверное, и Уала ушла, зачем я ей такой?»

Но она ожидала. Выставил на стол бутылки, оленью колбасу, консервированный салат, хлеб, консервы из красной рыбы.

— Ну, теперь приду в себя. Спущу на тормозах.

— Хорошо бы,— вздохнула она.

Выпила немного, чуть-чуть коньяку, он хватил стакан водки, но опять почти ничем не закусил.

— Ешь, тебе надо поесть.

— Потом. Ты не беспокойся.

— Мне на репетицию нужно сходить, но я скоро вернусь.

— Хорошо, только возвращайся,— он выудил из портфеля свою любимую «Одиссею капитана Блада» — единственную оставленную из всей библиотеки, мог без конца перечитывать ее, плененный не столько приключениями — он знал их наизусть, после войны даже видел трофейный фильм «Королевские пираты»,— сколько изяществом стиля и мастерством писателя, очарованием, которое никак не мог разгадать.

Растянулся на тахте. Все тело ныло и болело. В окна били яркие лучи солнца. «Значит, утро. День начался. А когда все кончится?»

Он лежал, по временам отключаясь и приходя в себя, но уже легко, безболезненно, словно постепенно умирал. Очнувшись, снова тянулся к водке, потом закуривал, читал книгу, отключался. При этом контролировал время — бесстрастно, словно врач, наблюдающий смертельный эксперимент: периоды забытья становились все дольше, веки склеивались, и приходилось разлеплять их, руки и ноги покалывало, не хватало воздуха. Никто не приходил, никто не звонил. «Вот они, даже самые лучшие из лучших... Курвины дети!»

Чувство голода пришло само, он жадно поел салата и колбасы, выпил еще — и отключился, словно упал с обрыва.

Уала трясла его за плечо. Пахнуло морозом, свежим воздухом, снегом.

— Как самочувствие?

Рывком приподнялся. За окном плотно чернело.

— Вечер или ночь?

— Вечер, вечер, успокойся.

Метнул взглядом по столу: коньяк цел, водки одна бутылка.

— Надо сходить, пока магазин не закрылся.

— У тебя же есть!

— А если кто забредет на огонек? — пытался он схитрить.— Еще никто не говорил, что у Матвея не нашлось выпить. Даже Андрюша в стихах отразил.

Лицо Уалы стало сумрачным.

— Пусть со своим приходят.

Кое-как встал, утвердился на ногах.

— Пойду...

Всклипнув, она вытащила из сумочки и со стуком поставила большую бутылку марочного вина Ну ладно. Теперь, может, и хватит до утра. А эти... пусть действительно со своим приходят.

Пока она раздевалась, он пытался вышибить пробку из бутылки, но не смог. А ведь раньше одним ударом... Протолкнул внутрь.

— Ну, садись, рассказывай. Что там гомонят?

— Стыдили меня. Говорят: что ты в этом выпивохе нашла? — она весело улыбнулась. Он налил ей полный стакан.

— В какой-то мере... это соответствует.

Она пила мелкими глотками, нервно постукивая о край стакана жемчужными зубами. Как всегда, он махнул почти полный стакан коньяка. Увидев, что он снова не закусил, она потянулась к сумочке.

— Чуть не забыла. Киссель советовал... — вытащила флакон с поливитаминами.

— Это дело, — он сыпнул в горсть и разжевал. — Тут нехватка. Со временем развивается «витаминная прозрачность» у белых людей. Знал я одного первопроходца — вколот ему полный набор, а через час в организме уже пусто — не держатся витамины. А вы как выкручиваетесь?

— Раньше выкручивались, — она скорбно улыбнулась. — Пили свежую оленью кровь, собирали корешки и ягоды в тундре. Теперь мясо мороженое... консервы... все забыли.

Потянулся и налил еще, теперь уже полстакана. Уала не стала пить, ладонь прикрыла свой стакан:

— Лучше я за тобой присмотрю.

Они легли рядом и стали читать. Незаметно Матвей отключился.

Рядом кто-то сидел. Он открыл глаза и увидел Сима Рухова, который смотрел на него сквозь выпуклые очки, поджав толстые синие губы и осуждающе качая головой:

— Нельзя, нельзя Матвей Иванович, больше пить. Весь город уже говорит... что подумают.

Матвей приподнялся на локте.

— Как проник?... Уала, вот этого гони в шею! Там где-то швабра стоит... по загровку его! От души!

Уала решительно направилась на кухню. Сим не стал дожидаться, тут же рванул.

Она вернулась.

— Чего ты так с ним?

— Презираю таких... «город говорит». Словно бы городу не о чем больше говорить. Брешет, подлец, всех по себе меряет. А сам раньше что вытворял? Свою цистерну выжрал, а теперь балабонит.

Он в волнении прошелся по комнате, снова выпил и лег, наблюдая за Уалой. Она сидела и молча курила. Ясная и простая догадка пришла еще днем, когда Матвей ждал ее. «Если придет, зна-

Не отвечая, он перевалился на живот и на подламывающихся руках пополз в ванную, оставляя кровавый след. Там, кое-как хватаясь за края ванны, поднялся и сунул голову под холодную воду. Полоскал рот — бурлящая струя выходила розовой, потом побледнела. Посмотрел в зеркало и высунул язык. На конце багровела рана, а язык был черным. «Даже не белый», — подумал равнодушно. От холодной воды немного прояснилось в голове, с удивлением почувствовал, что может шататься на ногах.

Когда он появился на пороге, Уала стояла с телефонной трубкой в руке и растерянно смотрела на него.

— Не смей, — он нажал на рычаг. — Еще напляшетесь... на моей могиле.

Одна знакомая рассказывала, как ездила из Хабаровска во Владик, «чтобы отыскать твою могилу и положить на нее цветы». Он тогда изумился: «Какую могилу?» — «Ну, я думала, что ты уже давно погиб от водки, ведь так пьешь...»

— Придется запастись терпением, — сказал он ей тогда и повторил сейчас. — Нашего человека не так легко свалить, процесс трудоемкий.

— Разреши, я снова позову Кисселя.

— Не надо. На этот раз он заберет. Ты знаешь, что такое алкогольная эпилепсия. Это значит, что конец близок.

По-прежнему глядя на него страдающими глазами, она насто-роженно присела на тахту.

— Любимый... — она впервые так его назвала. — Уезжай. Уезжай скорее! Прошу тебя! Я... я этого не перенесу.

«От души или входит в сценарий?» Он налил водки. Сильно защипало язык, горло казалось обожженным. Бросил в рот еще горсть витаминов.

— Все пройдет. Судьба. Или уеду или не уеду... останусь в вечной мерзлоте. Всегда мечтал, чтобы меня похоронили в вечной мерзлоте. Черви не грызут. Нет тут червей... лежишь спокойно. Правда, холодно. Ничего, после страшного суда в аду отогреюсь. Там ведь сивуха без ограничений... и поучений.

Когда-то за Казачкой было кладбище. Река подмыла крутой берег, и время от времени оттуда выпадали трупы — целехонькие, прекрасно сохранившиеся, будто похоронили их вчера, а не пятьдесят лет назад.

— • Перестань! Не говори... бред какой-то! — она налила себе вина и залпом выпила, зябко поежилась.

— Не тужи, — он погладил ее по голове. Она или не она — какая теперь разница? Развязка близко, а хоть какая-то живая душа рядом. — Ложись... и забудем обо всем. Потуши...

Тьма навалилась сразу и оглушила. Словно утопающий, он ух-ватился за нее — единственный надежный островок в зыбком

море. Некоторое время волны раскачивали его, потом все исчезло.

Очнулся от ярких лучей солнца, бивших в глаза. «Еще жив?» Быстро приподнялся: никого, на столе пустые бутылки. «Не может быть! Ведь вчера специально оставлял...» На столе белела записка: «Все вылила. Перетерпи до вечера, так будет лучше. Вечером приду- Боже, как ты храпел! Уала».

Словно ветром, словно могучим ураганом его снесло с тахты. Кинулся к двери: закрыта. Схватил трубку телефона: мертво, тихо. Значит, отрезали от мира, закрыли. На этот раз в собственной квартире.

«Ах ты курвочка-дурочка!»

Он стоял посреди комнаты, медленно приходя в себя. Зубы казались мохнатыми, резиновыми — так и разъезжались в стороны. Суставы болели и скрипели, будто туда насыпали песок. Глаза резало, жгло. Даже волосы на голове болели. На ладонях кусками отшелушивалась кожа...

«Ах ты курвочка-дурочка! Спешешь ускорить... Разве алкаша останавливают на полном скаку? Ведь это верный конец!»

Прислушался: как там мотор? Сердце болело пульсирующе, толчками, будто скреблось по обнаженным ребрам. Острые короткие толчки как злые уколы шилом.

«Еще и пытка напоследок! Так вот в чем состояло ее особое задание... Сволочи! Я сам уйду, но с полным стаканом в руке...»

В глубине души он знал, где его последний резерв, но то был действительно последний резерв. «Когда начнет хватать по-настоящему... А успею ли?»

Он метнулся в ванную, чтобы проверить. Резерв на месте, им и в голову не пришло. Что знают они о черном мире алкашей, их особых уловка'х?

Теперь можно проанализировать обстановку. Дверь он выломать не в силах, ноги так и подкашиваются. А ведь когда-то...

Однажды с Геней Лысаковым они пришли к нему домой и обнаружили, что ключи утеряны. Генка долго бился о дверь острым плечом, пока Матвей не выдержал:

— Отойди. Посмотри, как это делается.

Он разогнался в коротеньком коридорчике и так саданул в дверь, что даже не она, а вся дверная коробка вырвалась из гнезда.

«Все в прошлом», — с тоской подумал Матвей и начал искать. Может, не вылила? Какое имела право? Водка немалых денег стоит.

Вспомнив про деньги, пошарил в боковом, кармане пиджака — там еще оставалось три сотни. И бумажник унесла! Это уже злодейство. Впрочем, достаточно Матвею выйти на улицу, и деньги он найдет, даже продавщица даст в кредит — сколько раз давала!

Но морда была уже разбита, распухла до неузнаваемости, и шапка не спасет. Нет, на улице появляться нельзя.

Он искал долго, потом, весь мокрый, лег и закурил. Почувствовал: накатывает. Итак, придется задействовать резерв. Снова пошелся в ванную.

Лосьон, одеколон, зубной эликсир — почти полные пузырьки, стояли рядом на краю ванны. Их не стали грузить в контейнер, как и отбитое зеркало,— кто же такую дребедень грузит?

Начал с огуречного лосьона: он пьется мягче и даже закусывать не надо. Для контроля посмотрел на часы: сколько будет действовать, протянет ли до вечера на резерве? Сразу отпустило во всем теле, будто ослабили туго натянутые веревки и веревочки. Он лег и блаженно раскинулся. Надо, чтобы хоть немного восстановился нарушенный обмен, иначе — разнобой, фибрилляция сердца.

Снова накатило через полчаса. Одеколон «Дипломат», двенадцатирублевый. Он матюкнул себя в душе за пристрастие к дорогим одеколону — они пьются тяжелее. «Тройник» — вот что сейчас самое то. В Певеке он как-то заскочил в смешанный магазин и спросил тройник — электрическую вилкорозетку. Продавщица, не поняв, развела руками: «Весь высосали...»

Одеколон выпил в два приема — в один никак не шло, воротило. Еле загрыз витаминами, отдышался, вытер слезы. Но действовал он крепче и как-то жестче, по телу сразу пошла испарина. В горле долго царпались парфюмерные запахи, но в конце концов сигаретный дым их заглушил. «Хоть сигареты не унесла, стерва. Вот без них заходил бы кругаями...»

Оставался эликсир в маленьком пузырьке — его хватит на раз, поэтому нужно действовать уже сейчас. Обливаясь потом, он снова начал искать. А что тут искать? Голая квартира. Под тахтой, за батареями центрального отопления, за электрической плитой, под умывальником, ванной, за унитазом и в унитазном бачке. Не поиски, а пустой ритуал. Нет ничего.

«Главное — не сдаваться! Не сдаваться!» — твердил он, начиная очередной обход. Но его пришлось прервать: снова накатывало, на этот раз грозно, шумящими валами. Выбулькал весь эликсир в стакан, почти треть, и, когда пил, поймал себя на том, что непроизвольно отставил локоть — утерять контроль.

Шум в голове стал стихать. И зачем эта игра в кошки-мышки: эликсир, элеутерококк, туалетная вода... Все равно девяносто процентов этих пузырьков идет на корм алкашам. Если не больше. Лучше бы писали: «для алкашей» и буровили чистый спирт, не утруждаясь компонентами,— и людям и себе хлопот меньше. Все знают, что мы знаем, что они знают... Страусиные забавы.

Вспомнилось, как после одного очередного постановления, ана-

фемы алкоголикам, местные власти тоже решили ввести «ограни» ценную продажу» водки, правда, с оговоркой: в порядке эксперимента. Матвей содрогнулся — что тогда делалось...

Очереди выстраивались с полночи (мороз не мороз, пурга не пурга) — лютые, озверелые. Когда открывали — двери чуть не выносили вместе с косяком. Кто падал — пощады не ждал. Плечом к плечу бились и мужчины и женщины — джентльменов не было. Сколько обмороженных, сломанных рук и ног, простуд, радикулитов, воспалений легких, больничных листов и прогулов!

Знакомый продавец универмага сообщил, что продажа одеколонов, лосьонов и прочего вмиг выросла в семьдесят раз! Не на каких-то там жалких сто, двести процентов, а на семь тысяч! Проще говоря, на полках не осталось ни одного флакона. Пасту всю подмели — есть только детская. Даже гуталин исчез.

А начальство все посмеивалось, глядя на «эксперимент». Ему-то что: домой привозят в пакетах. В очередях обмороженных не бьется, негрозин не сосет, зажимая все органы чувств, что ему беды и горе, плач вселенский?

Но когда некоторые цифры вдруг сорвались и поехали вниз, анализ показал, что народ стал разъезжаться, а наплыв за романтикой и запахами тайги сокращаться. С кем Север осваивать, металл давать? Вот тут и забегали и мигом отменили «эксперимент».

Нужен принципиально новый подход... Откуда эта фраза? С какого-то совещания. Застряла в сознании, вертится, пританцовывает. Какие, к черту, принципы? Что тут нового? Исстари пьем и никак из шкуры алкашей не вытряхнемся...

До вечера еще далеко, можно не дотянуть. Как это будет? Сразу вырубится или перед глазами прокрутится вся жизнь, словно в кино? Что ее прокручивать... Никчемная жизнь, пусть никчемно и уходит.

А его сверхзадача?

Он снова пошел в ванную, тоскливым взглядом окинул ее. Взгляд остановился на тубике с пастой. Как же он забыл! Дрожащими руками выдавил в стакан полтубика, налил воды и размешал пальцем. Понюхал: спирт улавливался. «Иду на таран?» — подумал.

Паста действовала всего пятнадцать минут. Вторая половина тубика столько же. Неизвестно, на чем он держался, снова начинала поиски, видать, только на злобе и упорстве.

И все-таки нашел.

Сработал принципиально новый подход. Заглянув в очередной раз под ванну, он краем глаза далеко в темном уголке заметил что-то белевшее. Оно и раньше виднелось, но настроен он был на блеск бутылки, а не на белое пятно. Долго стоял на карачках,

фокусируя зрение. Так и есть — кружка. Кружка, накрытая листком бумаги. Он лег рядом с ванной, до предела вытянул руки и, едва ухватив кружку, сразу понял, что полная. «Как она-то дотянулась? Наверное, шваброй заталкивала».

Осторожно протянул по кафельному полу и сбросил листок бумаги. Синеватая, родная. Водка. Значит, ничего не вылила, коньяк он прикончил ночью, а водки столько и оставалось.

Он выпил не сразу. Сначала походил вокруг стола, потирая руки и неотрывно глядя на нее, стоящую посредине. Королева! Все эти суррогаты, которые он высосал, только отупляли разум. Но теперь он сразу обострится, и выход найдется. Найдется!

Выпив половину, опять полежал и поднялся. Расслабляться еще рано. Появился какой-то подъем и просветление духа. словно по наитию, он снова нагнулся и заглянул под тахту. Все так просто! Уверенно достал бумажку, лежавшую у передней спинки, — на нее тоже не обращал внимания. На ладони топорщилась смятая пятерка, одна из распыленных щедрым Федором. Не зря ведь уцелела и притаилась: судьба заранее все расписала.

Открыв фрамугу на кухне, Матвей высунулся и стал ждать, наблюдая. Перед глазами струились цветные ветры. Из-за угла выворачивались синие вихри, по крышам полого плыли оранжевые языки, изумрудная поэмка зализывала фиолетовые сугробы. Как лошадь, встряхнул головой, и цвета сместились, теперь поэмка стала фиолетовой. Что за черт?

Ждать пришлось недолго. По дороге с деловитым видом спешил в гору кто-то в замасленных ватных штанах.

— Житель! — крикнул Матвей, махая из окна. Тот остановился, повернул голову.— Подойди!

Проваливаясь в сугробы, житель пролез под окно, задрал голову.

— Жена заперла,— сказал Матвей.— И ключи забрала. Душа обгорела. Захвати пузырь, ежели по пути.

И, не дожидаясь ответа, бросил к его ногам смятую пятерку. Тот поднял ее, сунул в карман.

— Ладно. Они все такие!

Фрамугу он оставил открытой, хотя в квартиру валил морозный пар, и на радостях допил кружку. «А вдруг не принесет? Нет, такого тут быть не может... Север».

Читал, напряженно прислушиваясь и почти не вникая в то, что читает. И все-таки крик застал его врасплох.

— Эй, болящий! Эге-ей! Где ты там?

Матвей пташкой пролетел до окна, высунул голову. Тот стоял внизу и держал в обеих поднятых руках по «гусю».

— Спускай конец.

Матвей заметался по комнате. Про веревку он и не подумал.

Где ее взять? Взгляд упал на длинный телефонный шнур, свитый кольцами. Ага! Мигом оборвал шнур и подбежал к окну.

— Привязывай. Ты из морпорта?

— Ага.

— Вяжи!

— Да уж знаю... Волоки!

Матвей бережно вытянул обе бутылки, прикрученные за горлышки. Мужик внимательно наблюдал за операцией.

— Сердце золотое! — крикнул Матвей. — Хоть и не знаю тебя, а свечу поставлю. Толщиной с «гуся»!

— Поправляйся... — махнул тот рукой и побрел.

Одну бутылку он спрятал в портфель, из другой налил щедро полный стакан и поднял дрожащей рукой:

— За сильных духом!

С удивлением вдруг отметил, что за весь день ни разу не отключался, хотя глотал сплошной суррогат. Может, сработал до-полнительный резерв выживания?

В сознании что-то совершалось, какие-то глубинные процессы, сдвиги, оползни, иногда ударяла крупная дрожь. «Последняя, даже самая последняя стадия...»

Красивые оранжевые круги плыли перед глазами. Он лежал, свободно раскинувшись. Вот они говорят: как схватило — к нам. Да ведь я сейчас сам себе не хозяин! Она ведет — по кругу или по спирали. Ради бутылки хоть сейчас на каторгу. Только перед этим дайте стакан.

Резко, пронзительно прозвучал у двери звонок, вызвавший неудержимую дрожь во всем теле. Он даже дыхание затаил, расширенными глазами глядя в коридор. Тишина тихо выла, в ней таилось угрожающее. Снова звонок. Он не двигался, напряженно прислушиваясь. В глазок бы сейчас посмотреть... но глазка у него никогда не было. Зачем глазок, коли дверь не закрывается? А если за тобой придут, то никакой глазок не поможет.

Послышался скребущий звук, и в замке зазвякал ключ.

Она вошла, оживленная, румяная с мороза, остро пахнущая свежестью. «Мне надо бы тоже помыться», — мелькнула мысль.

— Вынюхал?! — она остановилась на пороге и по-детски всплеснула руками, увидев на столе кружку.

— Где была? — с напускной строгостью спросил он, хотя прекрасно знал где — получала инструкции у Верховоды.

Уала села рядом на тахту и с улыбкой сказала:

— Угадай, где я была.

Он сразу нахмурился.

— Тут и угадывать нечего...

— В аэропорт летала, на ту сторону! — радостно объявила она. — Взяла тебе на завтра билет. Вот.

Вытащила из сумочки и помахала перед ним длинной голубоватой бумажкой. Он взял, посмотрел.., прямой до Москвы.

— Никак не могла добудиться, взяла твои деньги,— продолжала шепетать она, роясь в сумочке.— Вот сдача, можешь пересчитать.

— Спасибо,— он положил билет на стол. Хотя и напрасно.

— Почему?

— Я путешествую иным макаром...

Она посмотрела непонимающим взглядом. Он из-под тахты бутылку, еще довольно полную:

— Ну что ж, сделаем отвальную...

— Откуда у тебя вино?

— Оттуда,— он указал на небо. Потом вдруг протянул руку и вытащил из ее сумочки коньяк.— Что, пожалела меня?

— Я ведь не знала... думала...

— Ну ничего. Хотя должен признаться, что устроила мне крепкую пытку по-чилийски. Народный герой и то говорил про таких, как ты: садисты,— он поднял стакан. За! Как Хайям?

Буду пьянствовать я до конца своих дней,
Чтоб разлило вином из могилы моей,
Чтобы пьяный, пришедший ко мне на могилу
Стал от винного запаха вдвое пьяней.

— Не нравятся мне эти... могильные мотивы, она отставила стакан, но потом махнула рукой и выпила.— Ох проголодалась!

Она стала есть, а он ласково смотрел на нее. Пропали оно все пропадом! Есть мгновение, и живи им. Как говорил его веселый югославский знакомый Мирко, показывавший туристам ночной Белград? Они ехали в затемненном автобусе, и кто-то сзади стал разводить воспитательную тягомотину, осуждавшую растлевающие ночные заведения Запада. Мирко возразил: и там люди отдыхают.

— Вы что же, проповедуете: живи одним днем? зловеще взвился заржавленный голос. Мирко ответил спокойно:

— Зачем? Живи каждый день.

Живи каждый день, и не на картофельных ящиках, как живут тут некоторые северяне-поденщики, набивающие чулок. Этот день начался трудно, но кончился хорошо. Нет, еще не кончился, нужно прожить его достойно. А потом он снова отправится в путешествие, но не на самолете, как думает сидящая напротив прекрасная женщина. Он путешествует по-другому.

Но и ей он не скажет — зачем душу тревожить? Она достойно выдержала все испытания, выпавшие на ее долю. И, наверное,

любит его даже в таком виде. Как говорил его друг Юра Абожин: «Полюби меня черненького, а беленького меня всякая полюбит...»

Налил коньяку. Задумчиво посмотрел на переливающуюся опаловым цветом в рюмке влагу. Сдвиги и оползни в сознании прекратились, он чувствовал себя хорошо, на редкость хорошо. Значит, действительно пора. Может, из нее получилась бы хорошая жена. Наверняка получилась бы. Но — не дано. Его уже ждут. А она встретилась слишком поздно...

Кто-то бросается грудью на пулеметное дуло, кто-то — в огонь, кто-то — в бушующие волны, чтобы спасти других. А он бросился на бутылочное горло и потерпел поражение. Но даже при поражении важно оставаться человеком, и тогда оно может обернуться победой. Его грудь должна закрыть от беды других.

— Я напишу книгу... — сказал он тихо. Она замерла.

— Какую книгу?

— Раньше я мечтал написать ее для своих детей. О всех этих нарко и дурдоммах, об алкашах и дуриках, о чокнутых и завернутых — обо всех, кого погубила водка. О страшных муках и черной радуге жизни, которая их ожидает, если они прикоснутся к водке. Чтобы они прочитали и ужаснулись. Чтобы никогда их руки не потянулись к бутылке. Чтобы обходили десятой дорогой лжевеселье и смеялись над лжетрадициями. Те традиции, где пьют, это не традиции, а погибель.

Теперь он стоял, подняв стакан. Она смотрела на него испуганным замороженным взглядом.

— Но у меня нет своих детей. Я напишу ее для всех детей страны. Они будут читать книгу как учебник, потому что там одна правда. Кто, как не я, напишет такую книгу? Я прошел все круги ада, не раз смотрел костлявой в черные провалы вместо глаз. Я валялся в грязи, в лужах, жил в канализации. Я видел все, испытал все. Даже две торпеды меня ничему не научили. И таких, как я, не научат. Может, кто из алкашей и прочитает книгу, но она их не испугает. Их уже ничем не испугаешь.

Он еще выше поднял стакан.

— Был такой термин: потерянное поколение. Наверное, я принадлежу к этому потерянному, отравленному поколению. Но я верю! Вырастет новое поколение, не знающее, что такое водка. Здоровое, жизнерадостное, и веселиться оно будет без всяких допингов. Просто потому, что им весело живется, что кровь бурлит в жилах — свежая, чистая, ничем не отравленная кровь. Вот моя великая цель! Она оправдает все мои грехи и все мои страдания!

Он выпил единым духом.

За окном лежал, весь в торосах, Северный Ледовитый океан. Куда еще дальше? А дурдом для него давно стал родным домом — иногда он даже скучал по его дивным порядкам. Точнее, полному

отсутствию порядка, как это пи парадоксально звучит. Конечно, там тебя могли походя огреть по шее за брошенный в коридоре окурок, но в остальном — делай что хочешь: лезь на стенку, кусай локти, лай собакой. А главное, балабонь что хочешь! И душа, уставшая в жестких тисках Большого Порядка, отходила...

— Пойди поджарь колбасы,— попросил он Уалу.— Вот на этих формочках из-под холодца.

Она послушно взяла формочки и пошла на кухню.

— Эй! — окликнул он. На пороге она обернулась. Он помахал ей рукой, в последний раз увидел ее темные раскосые глаза.— Будущее поколение все равно прочтает мою книгу.

Она улыбнулась и исчезла. Минуту он прислушивался. Она хлопотала на кухне, даже что-то запела. Тягучая мелодия ее предков...

Он снова не сказал ей всю правду. Привычка. Это уже вошло у нас в кровь — не говорить всю правду. Даже если и дурдома не боишься. Но он боялся не за себя.

Все было приготовлено заранее. Портфель стоял у тахты, там были «гусь» (хлебну по дороге — в последний раз!) и связка толстых тетрадей в клеенчатых обложках, все исписанные. Рукопись романа. Черновик, написанный почерком, понятным только ему, и кое-где далее зашифрованный. Теперь осталось переписать набело, разбить по главам и пронумеровать страницы. Работа предстоит большая. А за работой он никогда не пил. Все нужно сделать на ясную трезвую голову, и там, где Верховода его не найдет, чтобы не дотянулись длинные руки.

Булгаков прав: рукописи не горят. Горят авторы.

Где в нашем мире найдешь такой уголок? Вот он: на документах, специально залитых каберне, еле угадывается адрес контейнера. Тихое полтавское село, утопающее в вишневом и яблоневом цветении. На берегу древней русской реки. Как там в «Слове о полку Игореве»? «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве...»

Лена уже ждет его там. Огород, трое малых детей, коза... Как же она измучилась, ожидая его, непутевого! Из документов выпала фотография. Милое родное лицо со страдающими глазами... На Лену она не похожа, да скорее всего это и не Лена. Но она ждет его, он знал. Вокруг дети, они смотрят в объектив, ожидая, что оттуда вылетит птичка, но он их никогда не видел.

Теперь он положит жизнь на то, чтобы вырастить их и оградить от алкоголя. Будет всегда с ними.

Его пьяная одиссея кончилась.

Умолкла песня на кухне. Матвей быстро надел полушубок, шапку и тихо, стараясь не скрипнуть, открыл фрамугу. Морозный воздух повалил в комнату.

Боком, держа портфель в левой руке, он протиснулся в узкую

шель. Лист Мебиуса... Он должен проходить здесь, под окном. Серая бесконечная поверхность.

Ага, вот она. Кони ржут...

Шагнул и, падая, услышал пронзительный, отчаянный крик.

В коридор наркологического отделения из палаты номер семь вышел хирург Волжин и районный нарколог Киссель.

— После капельницы состояние улучшилось,— сказал Киссель.— Но «белочка» продолжается. Бредит, все вспоминает какую-то черную радугу, Лену...

— Может, Уалу? Эта чокнутая все под окном стоит.

— А впрочем, и не только Лену. Видимо, давняя любовь...

— А толстяк Верховода? Кто этот гнусный тип?

— Верховода — это я, — спокойно ответил нарколог. Волжин поперхнулся дымом сигареты, которую прикуривал.

— Удивляетесь? — продолжал Киссель после некоторого молчания,— Для алкоголиков я исчадие ада, воплощение зла на земле. То и дело грубо вырываю их из сладостной нирваны и безжалостно ввергаю в бездну черных мук и зубовного скрежета. Какие чувства испытывали бы вы к тому, кто сделал такое с вами? Да еще не раз и не два! Мало того, я назначаю и дозирую им эти муки, определяю сроки пребывания в геенне огненной! Первый, кого они видят, вынырнув из ужасающих кошмаров,— это я, и они обращают на меня всю силу ненависти и злобы, все бессилие отчаяния и безнадёжности.

— Но всемогущая мафия... или как он называл... матеев?

— Кем должен казаться человеку тот, кто приказывает его связать, когда на него несется грохочущий поезд? Конечно же, повелителем всесильной мафии, которая убивает, пытается, расправляется с людьми самым жестоким образом. М-да...

Волжин почувствовал, что голова идет кругом, и сделал жалкую попытку снова вырваться из плена фантасмагорических рассуждений собеседника.

— Он говорил, что вы толстяк в черных очках, с опухшей физиономией и багровой лысиной.

Киссель затянулся папиросой так, что его впалые щеки почти провалились. От него крепко пахло виски.

— Толстяк в черных очках — это еще куда ни шло... хотя я никогда не носил черных очков,— он снова помолчал.— Вы были в аттракционе кривых зеркал? В одном вы видите себя чудиком с необъятным брюхом, в другом — паралитиком с отвисшей челюстью, в третьем — вид вроде нормальный, только нога почему-то под мышкой. Психика алкоголика — это кривое зеркало. Один признался, что постоянно видит меня трехговым, огнедышащим, а в пасти вместо зубов острые скальпели,— он оттянул

воротник, словно тот его душил. Показался рваный сизо-багровый шрам поперек горла.— Его метка... Переломил ложку, заточил и... подстерег.

— Слава Гиппократу, что мои пациенты не видят во мне многоорукого Шиву со скальпелями! — Волжин невольно поежился.

— Иногда меня видят таким, какой я есть, а потом в образе совсем другого человека... или монстра,— Киссель слабо улыбнулся,— Для них я прежде всего символ, фантом зла и преследования, а носителем фантома может быть любая оболочка: давний обидчик, соперник в любви или... соревновании, сосед по коммунальной квартире, собутыльник, даже случайный попутчик в поезде или трамвае, чем-то поразивший болезненное воображение... Боже! — он потер виски.— Чувствовать себя постоянным героем или пьяных кошмаров и бреда и даже не представлять, каким я кажусь... этого я никогда не узнаю... что за профессия! Всю жизнь вести долгую безнадежную борьбу, в которой не будет победителей, одни побежденные...

Волжин отвел глаза и стал разглядывать свои длинные пальцы. Эта вспышка отчаяния его покорила. Он уже давно смирился с тем, что врач всю жизнь обречен вести долгую безнадежную борьбу с болезнями: одни исчезают, другие появляются, такова профессия.

— Нужна операция, и как можно скорее. Оба колена разбиты, на левом чашечка раздроблена. Голову тоже нужно просветить, подозреваю: трещина. Ведь с такого обрыва катился по камням.., И все же малой кровью отделался.

- Пьяных бог бережет.

— Наваждение! И предшественник его...

Киссель устался на носки своих ботинок.

— История с предшественником его и подкосила. Вообще, натура сильная, долго держался, но тут... мощный стресс, упавший на благодатную почву и без того отравленной психики. Стал искать каких-то злодеев, возникла стойкая мания преследования. Это все коммунальники виноваты! — с ненавистью сказал он.— Не привели в порядок квартиру — руки, видите ли, не дошли... Но кто знал, что пришлют такого же?

Волжина вдруг осенила догадка.

— И Петрович здесь лечился? — ахнул он.

— Н-ну... теперь можно сказать. Анонимно. Очень просил, чтобы не разглашали. Но ничего не могли поделать — болезнь запущена. Это у них профессиональное,— он выразительно мазнул себя по горлу.

Хирург сделал движение идти, но остановился, замаялся:

— Этот фотоснимок... он все время ищет, твердит: дети, их нужно увезти, спрятать за океаном. Семья?

Киссель нехотя пробурчал:

— Откуда у него семья? Вырезка из журнала... каждый строит свой выдуманный мирок, где можно укрыться.

«Надо идти»,— со страхом подумал хирург и торопливо бросил:

— Готовьте его к операции, дольше тянуть невозможно.

— Наркоз не возьмет,— тихо сказал ему в спину Киссель.

— Знаю,— хирург порывисто обернулся.

— Сердце не выдержит. Вконец изношено.

Они долго смотрели друг другу в глаза.

А что прикажете делать? — весь дрожа, воскликнул Волжин:— Свечу за здоровье ставить?

Он повернулся на каблуках и стал спускаться по лестнице. Внизу в полумраке он заметил чью-то поникшую фигуру.

Старая женщина. Просто старая женщина с увядшим лицом, морщинками у глаз, потухшим взором. Из-под черной шапки выбились растрепанные седые волосы. «Как они быстро стареют, местные женщины! А ведь еще недавно была примо-танцовщицей... Я не-пропускал ни одного ее выступления!» Воспоминание о тайной влюбленности заставило его замедлить шаг.

— Доктор,— сказала она тихо.— Как он?

— Через час операция,— деланно бодрым голосом заговорил врач.— Вытащим. И не таких вытаскивали. Будет жить,— и по привычке добавил: — а сколько — неизвестно.

Спихнулся, но было поздно.

— Правда? — голос ее стал звонче.

— Чудес не обещаю,— он решил хоть чем-то приободрить.— Возможно, придется ходить на костылях.

— Будет жить,— повторяла она, не слушая.— Будет жить!

— На костылях, говорю вам! — с раздражением повысил он голос.— Инвалидом!

Она досадливо взглянула на него.

— При чем здесь костыли? Он,— высоко подняла голову,— он на костылях ходить не будет!

Волжин отступил. На его глазах происходило чудо. Куда исчезли морщинки, увядшее лицо, потухший взгляд? Прекрасная, полная сил женщина стояла перед ним. Раскосые дикие глаза смутно и загадочно блистали в полумраке. На щеках играл легкий румянец, а модно крашенные в седой цвет волосы, выбиваясь из-под соболиной шапки, подчеркивали и оттеняли нежный овал лица. «Как же это, как?»

Она прошла мимо пружинистой, танцующей походкой. Не сбегала, а скользнула по ступеням и вот уже идет по снегу через больничный двор. С болезненно забившимся сердцем он смотрел ей вслед.

Она остановилась, запрокинула лицо и долго смотрела вверх, на окна палаты...

А в палате, словно повинаясь таинственному зову, Матвей открыл глаза. Зрачки разъезжались в стороны. Белый потолок, яркая лампа. Рядом висится капельница, но по трубочкам уже ничего не струится. Убрали. Думают, что теперь он заснет.

Но даже если и заснет, то проснется в точно назначенное время. В три ночи. Лена уже, наверное, достала и повесила в условленном месте робу. За пять минут он развяжется и уйдет.

Где-то там, далеко, тихое село на берегу прозрачной реки, но транспортер быстро домчит до него. Нескончаемо тянется через Вселенную серая неразличимая лента — до самых дальних звезд.

Он ждал своего звездного часа.

А там ждет она... милые родные лица... руки, протянутые навстречу...

Сердце измаялось и отгорело.

1959—1985

Нева — Беломорканал — Амур — Тихий океан — Северный Ледовитый океан

Ленинград — Хабаровск — Владивосток — Магадан — Анадырь —

Полтава — село Засулье

СОДЕРЖАНИЕ

Черная	полоса	3
Светлая	полоса	38
Черная	полоса	64
Светлая	полоса	94
Черная	полоса	1 25
Светлая	полоса	195
Черная	полоса	237

НАУМОВ Евгений Иванович

ЧЕРНАЯ РАДУГА
Роман

Редактор

Л. Н. Ягунова

Художественный редактор

В. А. Галимуллин

Технический редактор

Н. С. Ганцев а

Корректор

В. И. Огрызко

И Б № 946

Сдано в набор 03.03.89. Подписано к печати 17.08.89.
АХ—01633. Формат 60X 84/16. Бумага тип. № 1.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 16,79. Усл. кр.-отт. 17,26. Уч.-изд. л. 19,28. Тираж
30 000 экз. Заказ 645. Цена 1 р. 20 к.

Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан,
пр. Ленина, 2

Издательство Магаданского обкома КПСС, 685000,
Магадан, пл. Горького, 9

Наумов Е. И.
{-J34 Черная радуга: Роман.— Магадан: Кн. изд-во, 1989.
283 с.
ISBN 5-7581-0054-4

В центре романа судьба незаурядного молодого человека, бывшего штурмана, журналиста, а затем «толкача». Он проходит все стадии морального крушения на почве алкоголизма в обстановке всеобщего благодушия, ложных хмельных традиций и фальшивой дружбы.

Автор дает картину развернутого алкоголизма. Это безудержная тяга ко всем видам спиртного, презрение к нормам морали, деградация личности. Зыбка грань между реальным миром и видениями героя, фантасмагоричны смещения во времени и месте действия.

Герой ставит перед собой задачу искупить свои ошибки, написав книгу-предупреждение, которая предостережет молодое поколение от призрачных соблазнов пьянства и наркомании.

4702010200—027

Н 8—89

ББК 84Р7-44

М—149(03)—89

1 р. 20 к.